ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

Одесский
литературно-художественный
журнал

2(42)'2022

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Отдел поэзии
Людмила ШАРГА

Отдел прозы
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Отдел литературоведения
Евгений ДЕМЕНОК

Отдел литературной критики
Александр КАРПЕНКО

Общественный совет:
Дмитрий Бураго (Киев), Евгений Голубовский (Одесса),
Владимир Гутковский (Киев), Олег Дрямин (Одесса),
Алёна Жукова (Торонто), Олег Зайцев (Минск),
Вера Зубарева (Филадельфия), Андрей Костинский (Харьков),
Марина Матвеева (Симферополь), Юрий Работин (Одесса),
Олеся Рудягина (Кишинёв), Анна Стреминская (Одесса).

Интернет-версия журнала: ursp.org/index.php/yuzhnoe-siyanie

Ariella Publishing
Philadelphia
2022

Литературно-художественный журнал «Южное Сияние» (№2, 2022)
Literary magazine «South-lights»
ISSN 2226-647X

Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»
Founder – Public organization «South-Russian Writers Union»

Published by Ariella Publishing | Philadelphia, Pennsylvania
First printing May 2022

© «Южное Сияние», 2022

Дорогие читатели, друзья.

Перед вами очередной номер литературно-художественного журнала «Южное Сияние», вышедший в срок, несмотря на тяжелейшее время, в котором сегодня оказалась Одесса, в котором сегодня находится Украина, время войны.

Работа над 42-м номером журнала началась осенью 2021-го года, по давно существующему негласному правилу: выпуская зимний номер, редакция отбирает материалы для номера летнего.

Поскольку номер в основном был собран задолго до начала военных действий, мы решили не перекраивать содержание номера, а лишь дополнить традиционные разделы и рубрики: литературоведение, критика и т.д.

Но оставаться в стороне от событий, происходящих в нашей стране, в нашем городе, «ЮС», до этого момента подчёркнуто внесистемный, разумеется, не может, и в настоящее время идёт работа над спецвыпуском журнала, в котором будут опубликованы стихи, проза, публицистика, посвящённые войне.

Издание, призванное отражать современный литературный процесс, поэзию, прозу, таким было задумано, таковым и остаётся. При отборе материалов для публикации редколлегия по-прежнему отдаёт предпочтение современным авторам, имеющим свой голос и свою тональность, и не принимает к рассмотрению произведения, разжигающие межнациональную рознь или содержащие призывы к насилию и агрессии. Мы верим, что искусство, акт творения – от Бога и призвано ограждать нас от низменных проявлений сущности человека, не позволять нам превращаться в животных.

И в это нелёгкое военное время мы остаёмся на связи с вами, мы работаем для вас, дорогие читатели, мы любим вас.

В НОМЕРЕ

ПОЭЗИЯ

Одесса: Татьяна Орбатова. **Небо с журавликом увековечив.** *Стихотворения* 6
Одесса: Юлия Мельник. **Когда рассеется туман.** *Стихотворения* 12
Одесса: Юлия Петрусевичюте. **Тишина до стеклянного звона в ушах.** *Стихотворения* 16

ПРОЗА

Одесса – Нью-Йорк. Галина Ицкович. **Тетрадка для второго класса.** *Рассказы* 19
Монреаль: Лада Миллер. **Посылка.** *Рассказ* 27

ПОЭЗИЯ

Одесса: Александр Щедринский. **Вот твои облака, вот твоя солома.** *Стихотворения* 30
Одесса – Санкт-Петербург: Ирина Дежева. **До лёгких ангелов внутри.** *Стихотворения* 35
Одесса: Семён Абрамович. **Птиц лихие дроны.** *Стихотворения* 41

ПРОЗА

Одесса – Сиэтл: Галина Соколова. **Прошлогодний снег.** *Рассказ* 46
Одесса: Галина Короткова. **Мать троянских героев.** *Рассказы* 51

ПОЭЗИЯ

Измаил – Дюссельдорф: Наталья Хмелёва. **Привет без обратного адреса.** *Стихотворения* 64
Борнмут: Борис Фабрикант. **Остаток сладок.** *Стихотворения* 69
Феодосия: Ника Батхен. **Внезапное касанье волшебства.** *Стихотворения* 74

ДРАМАТУРГИЯ

Майами: Наталья Гринберг. **Мой любимый ганэф.** *Трагикомедия в двух актах* 79

ПРОЗА

Одесса: Андрей Никитин. **Идеальный мир.** *Рассказы* 108

ПОЭЗИЯ

Москва: Сергей Калашников. **Фауст – скука – Мефистофель.** *Стихотворения* 114
Москва: Татьяна Аксёнова. **На озере моём, на берегу…** *Стихотворения* 119
Киев: Тамила Синеева. **Расхлябанный январь, как белый скат.** *Стихотворения* 124

ПРОЗА

Москва: Елена Вадюхина. **Огненная ветвь.** *Сказка* 129

«ОКОЕМ»

«Потому что каждый достоин большего…» 135
Стихи финалистов конкурса Ежегодной Международной премии имени Игоря Царёва «Пятая стихия» 2021 года *(Олег Сешко, Наталия Прилепо, Юрий Макашёв, Андрей Крюков, Кристина Крюкова, Елена Уварова, Наталия Кравченко, Игорь Исаев, Александр Соболев, Евгений Иваницкий)* 136

ПРОЗА

Москва: Олег Ларин. **Ночь такая светлая.** *Рассказ* 144
Москва: Леонид Волков. **Поверить в чудо.** *Автобиографическое эссе* 148

‹ЛИТМУЗЕЙ›

Красноярск: Эльдар Ахадов. **Неизвестный Пушкин.** *Эссе* 156

‹СЕТЧАТКА›

Москва: Елена Толкачёва. **Образ Италии в творчестве А. Ахматовой, О. Мандельштама и М. Цветаевой.**
К вопросу литературных перекличек 169
Москва: Александр Карпенко. **«Я – жизнь, пришедшая на ужин…».**
Последнее стихотворение Марины Цветаевой 171

‹КАМЕРА-ОБСКУРА›

Одесса – Прага: Евгений Деменок. **Пасквиль на футуризм и его «стихийно талантливый» автор.**
О взаимоотношениях Давида Бурлюка и Алексея Толстого 176
Евпатория: Елена Коро. **«Век позолочённой серебронзы».** *Интервальная парадигма Вилли Мельникова* ... 182

‹КНИЖНАЯ ПОЛКА› ЕЛЕНЫ СЕВРЮГИНОЙ

Вечность и полёт бабочки. *О книге Алексея Паперного «Пьесы»* 185
Старый знакомый в новом обличье. *О романе Марианны Рейбо «Письмо с этого света»* 187
Бабочка, запрятанная в гусеницу. *О книге Нины Савушкиной «Небесный лыжник»* 189
На циферблате вечности. *О книге Андрея Костинского «L»* 192
Пыль прошедшего времени. *О книге Вадима Муратханова «Цветы и зола»* 195

‹КНИЖНАЯ ПОЛКА› АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

«Не отступает музыка». *О книге Германа Гецевича «Свой космос»* 197
Мушкетёр поэзии. О книге *Константина Кедрова-Челищева «Де Тревиль метаметафоры»* 200
Телескопическое зрении Лидии Григорьевой. *О книге «Термитник-2. Роман в штрихах, книга вторая»* 201
Нешапочные знакомства поэта Виктора Есипова. *О книге «Встречи и прощания»* 203
Неистовый неисправикинг. О книге *Вилли Р. Мельникова «Штурман железнодорожного плавания. Поэзоландшафты неисправикинга»* 205
«Время чистых». *О восьмом номере альманаха «В братстве зажжённой искры»* 208

‹ШКАФ›

Одесса: Владислав Китик. **Выйти за границы языка.** *Рецензия на книгу Татьяны Янковской «Границы языка»* ... 211
Коломна: Александр Руднев. **«Превратить свою планету варваров в планету богов».**
Рецензия на книгу Григора Апояна «Благовест от тебя. Твои вопросы, твои ответы» 212
Кан, Нормандия: Валерий Байдин. **Литература кризиса.** *Мнение* 214

ТАТЬЯНА ОРБАТОВА

НЕБО С ЖУРАВЛИКОМ УВЕКОВЕЧИВ

ВГЛУБЬ

«…Какая польза человеку,
если он приобретёт весь мир,
а душе своей повредит?..»
Евангелие от Матфея 16:26

1

Смотришь на звёзды, падаешь в свой колодец.
Дно, как аквариум, в зеркале – быт-уродец.
Нежная рыба без чешуи в рассоле
плавает рядом, время твоё мусолит.
Нежная рыба к веку плывёт и к глазу,
видит в зрачке условность, или не сразу.
Птицы вьют гнёзда, ветер доносит песни.
Смотришь на звёзды и на ладони лестниц,
что-то неладное не замечаешь сходу –
воду глотаешь, воду глотаешь,
воду.

2

Корни всех слов
силой одной сплетаются,
мирятся в солнечном слове,
но без него скитаются.
Боготворятся в нём, на языках роятся.
Так имена братаются
с небушком в святцах.
Так просыпаются с хлебушком-словом дети.

Душно в колодце, к н*о*чи холод и ветер.
Что-то болит. Глубина ли?
Камешки бренные,
стен гримуары с ятями и теоремами,
споры с собой, образ*а*ми, с альфа, омега,
Лотом, не помнящим соль и не знающим снега.

Клювом малюет лесенку чёрная курочка,
квочкой прикинется, душенькой в перьях,
дурочкой.

3

Если родился на свет, если могуч твой ор,
ключ тебе будет.
Дверь распахнётся. Или – на спор
болью распашут тело,
болью разбудят.

Ветер зашепчет, сонно тростник качнётся:
что там внутри пещерного инородца?
Если как глина речь и язык не залип,
вылепят сердце твоё –
мягкое сердце-всхлип.

Слышишь Пиндара? Всхлип он несёт,
словно знамя –
каждый распятый слог
вечный – богами занят.

4

Крылья к зиме распустил
ангел на ветке акации,
в сердце своём человека баюкает.
Сон человека – болезнь гравитации,
камень за пазухой, чудище обло сторукое.

Нежная птица – дива и солнечный свет –
нянчит чужое время на сломанной ветке.
Мира взыскует ум, суета сует,
смерч водянисто-красный в сердечной клетке.

Дети швыряют камни, к кринице бегут.
Что им какая-то птица с нездешним взглядом?
Бросят монетку «на счастье», чего-то ждут.
Дети дурачатся.
Мячик, снежки, снаряды…

5

Падает камень во тьму, лодку качает.
Падает камешек вглубь, в чьи-то печали –
всё всколыхнёт – от мечты до скорбей,
горьких и сладких позорищ,
тёмных кровей.

Мати камням всем, бело-горючий пламень
сон-Алатырь, в землю ложится камень –
ищет проросшего слова, божью пшеницу
в стане гробующих.
К месту ли им синица?..

К месту, как коконы бабочек в адовых шахтах,
там, где психеи с амурами на брудершафтах,
слова не зная, томятся предчувствием речи,
небо с журавликом увековечив.

Мысли – увечные дети, рабы сквернословия –
в головы-мячики,
в головы – шишки еловые…
Лодочка тонет, пока паладиновы внуки
глубь – журавлиным пером –
баламутят от скуки.

6

Здесь зима на подходе.
Сирены бессильны – воют в окна больничные.
Здесь нужда в кислороде
и до самого дна голос*а* обналичены.
Здесь пуст*о*ты границ освещают снаряды,
но по-прежнему блеск золотого сечения,
Здесь извечны луна и плеяды,
но их время имеет значение.

Время – плотный стежок
в сновиденье адамовом,
лигатура для ран, истекающих словом.
Говори, не молчи,
сколько времени жалобам
и природных законов в значении новом.

Сколько в слове опальном
несбыточных целей,
сколько истин избитых
до порванных ртов.
И какую из всех цитаделей
холод времени выбрать готов.

7

Падает звезда, собой ведома,
видит приоткрытое окно,
будничность расхристанного дома.
Будничность – судьбы второе дно.
Первое – в ноч*и* неотвратимо
мягко холодит твоё лицо –
долгий сон души, смотрящей в зиму,
словно бездны вдох над деревцом.

Долгий сон, где вопленица плачет
и остры булавки голосов,
но не имут сраму.
Что-то значат
*о*блака почти реальный шов,
нежный иней на увядших розах,
небо в блёстках, падающих вдруг.
Бросил камни дед в «Метаморфозах»
и, гляди-ка, «встаньте, дети, в круг…».

Пеночка осваивает звуки,
ботало на шее у скота.
Чьё-то имя в кожаной косухе
о полётах грезит неспроста –
ищет роль свою в мифологеме.
Видит око свет, да зуб неймёт.
Но когда у имени есть время,
кажется, что лодочка плывёт.

ноябрь 2021

БЛЕСК АМАЛЬГАМЫ

«Открытием Укбара я обязан сочетанию зеркала и энциклопедии»
Хорхе Луис Борхес «Тлён, Укбар, Орбис Терциус»

Ещё вблизи сон прожитого лета,
но слишком долог коридор затмений.
В плену зрачок и нет иммунитета –
чем призрачней узор, тем вдохновенней.

И сумрак слова в блеске амальгамы
чуть мягче тени, нежностью припудрен.
Но вспомнишь боль и – кровоточат шрамы,
но вспомнишь год и – поседеют кудри.

Что память, если нищий на пороге
вот-вот уснёт, освоив метакосмос.
Качнётся город на цепи тревоги,
но нищий – здесь, и снова безголосый.

Ему – иерархические птицы[1]
почти как шляпки древние с плюмажем.
Качнётся город, чтобы прислониться,
а ты его не опознаешь даже.

Он – сад во тьме, обугленный до камня,
пьёт зеркало мифических столетий –
там книжный дух и в свет открыты ставни,
там, кажется, играют чьи-то дети.

[1] «Иерархические птицы» – картина Марка Ротко.

14.12.2021

ЧТО-ТО ДВИЖЕТСЯ

Что-то движется в небе почти наугад.
Птица к дереву льнёт, и фронт атмосферный.
Звук летит мотыльково, но мир языкат –
пращур слово отведал в люльке пещерной.
Или брызнуло млеко, пригубил бог
чей-то слог, не успевший вылиться в реку.
Или «грека» приехал, поскольку мог
небо втиснуть в щепоть и вщепиться крепко.

Что-то движется. В чёрную книгу горл
звук слетает от дрожи космических нервов,
и ярится внезапно, рождая шторм,
и становится безразмерным.
Мир чадит городами, из дымных вод
вьётся временем жизнь в головах и чревах.
На отдельный роток среди тысяч зевот
не накинет платок Пресвятая Дева.

Что-то движется влёт – пулей в белые сны,
слово бьётся о стену в надежде выжить.
В абстинентной горячке на пике весны
кто-то – ржавчину мира напишет рыжей.

На железные нервы и глиняный лоб
мёд прольётся последний, скрывая душу,
чтоб к обедне из сердца потёк сироп,
но движения не нарушил.

9.10.2021

ОТБОЛЯТ ВРЕМЕНА

Отболят времена, пустота отмолчит,
за подкладкой плаща отзовутся ключи,
и воротятся белые птицы,
чтобы в небе твоём отразиться.
По снегам и по лужам – по миру пойдут
все, кто были, кто нужен, кто там и кто тут.
Или – просто пойдут дни за годом
с человеком, дождём, пароходом.
Не от общего к частному, не вопреки,
пусть черны оба берега тёмной реки,
или морем завещанный берег
не боится, не просит, не верит.
Скажешь имя, успевшее голосом стать,
так посмертную маску срывают и вспять
прорастают душою из плена –
из янтарной смолы, из полена.

4.01.2022

НИ КУДА НИ ГДЕ

«Чтобы правильно задать вопрос,
нужно знать большую часть ответа»
Роберт Шекли «Верный вопрос»

«Одно было уж верно:
белый котёнок был тут ни при чём»
Льюис Кэрролл. «Алиса в Зазеркалье»

Дальний лес, не обозначенный на картах
белый-белый.
Ворон бед ему не каркал.
Неисхоженные стёжки вором,
хмурым зверем от бесхлебья хворым.

Белый-белый дом в тиши,
едва часы идут.
У заимки две осины хороши и дуб.
День на цыпочках секундных повторений –
белый-белый день,
закат его сиренев.

То ли звуки в том лесу, как сталь слоённая,
то ли речи – небылицы потаённые –
поневоле не глаголется, не славится,
не лукавится,
не голосится здравица.

Ни вины там нет,
ни холода меж двух огней,
ни наречий, языков, уснувших на войне –
крепкий дух лилейного пространства –
косточка небесного гражданства.

Чем она болела,
чьей белела волей, уходя в себя
от славы митрополий…
На неё идущие полки
в землю усыхали – до реки,
до корней утробы, до густой
травяной мольбы
за упокой.

…Белый-белый хлеб, не выпеченный к ночи –
идолами рода, что до слов охочи.
Ветер снов – Равель земных равнин –
умершей инфанты господин,
речи убаюкивает звуком.
Голосом становится разлука.
И повсюду звон – до асимптоты,
с волнами играют галиоты,
«блинчиками» пляшут по воде –
ни куда скользят они, ни где.

13.01.2022

ИДЁТ ВЕСНА, ЗА НЕЮ ЛЕТО

Конец зимы у самой бездны.
Багряных лезвий дух железный
и льда синеющего даль
несёт воинственный февраль.
Густеет кровь и болен цезарь,
в грибной мицелий метит цезий,
и вопленное, племенное –
чернее угля, козырнóе
всё ищет жертвенный калач,
всё пуст живот.
Трубит трубач.
Заката пламень, heavy metal.
Идёт весна, за нею – лето,
они не могут не идти,
как время жизни и дожди.
В пространствах памяти – воздушный
привольных песен голос южный
и нежность мальвы, и ковыль –
любви молитвенная быль.

20.02.2020

ЮЛИЯ МЕЛЬНИК

КОГДА РАССЕЕТСЯ ТУМАН

***

Как там – в раю? Собирает ли яблоки август?
Или такой снегопад, что не сделать ни шагу,
И стережет тишину неулыбчивый ангел?

Как там – в раю? Здесь – по-разному, здесь – как придётся…
Счастье – когда на ладонь просыпается солнце,
Счастье – когда пролетающий голубь коснётся.

Как там – в раю? Вечно длящийся светлый Сочельник?
Слышно отсюда, как мерно скрипят там качели
И беззаботная нега листает учебник

Радужных снов… А меня – не возьмут, я – некстати…
Я позабыла бесхитростный миг благодати,
Я – лишь крючки и зигзаги – в усталой тетради…

Но иногда вдруг покажется – это оттуда
Нежность приходит – внезапная, словно простуда,
И встрепенётся душа, и поверится в чудо.

***

Стихи сочинять – что кормить голубей,
Которые в нас живут…
Как солнечный свет, что стекает с ветвей –
Бесхитростный этот труд.

Слетятся все голуби в сердце вдруг,
И снова – ни одного…
Рассыпанный корм и целебный круг
Молчания моего.

Тогда мне останется – переждать
Безмолвия времена,
И в небо глядеть, и в руке сжимать
Мир целый, как горсть пшена.

***

Как просто солнца свет лежит на всём,
Сквозь пальцы утекает – чтоб вернуться…
Чтоб захотелось поутру проснуться
И снова заглянуть в его лицо.

Как чуток свет к нехитрым пустякам,
Как наполняет каждое явленье,
Как будто Бог справляет день рожденья
В любой из дней, гуляя в облаках.

А в день бессолнечный не позабудь,
Что солнце где-то рядом, близко-близко,
И облака, стелющиеся низко,
Не преградят ему привычный путь.

И я, за солнечную нить держась,
Иду среди цветов, деревьев, арок,
Свои мечты, как дорогой подарок
Или заветный клад, к груди прижав.

***

Когда рассеется туман,
Увижу мир, как на ладони:
Вот дома дальнего стена,
Вот солнце на крыле вороньем.

Увижу тень, увижу свет,
Увижу блёстки золотые,
Увижу, как глядит рассвет
На точки и на запятые.

Когда рассеется тоска,
Пусть с тополей летят серёжки,
Пусть жизнь лежит, как горсть песка,
На детской, крошечной ладошке.

Пусть жизнь ракушкою витой
На кромке моря замирает,
И пусть никто, и пусть никто
Её у нас не отбирает.

***

Средь деревьев застыть и остаться одним из них,
Чтобы, в землю врастая, держать на ладони птиц,
Чтобы кто-то пришёл и укрылся в твоей тени,
Стать шуршаньем листвы – как шуршаньем книжных страниц.

Стыть на зимнем ветру и высокие петь псалмы,
Пересказывать сказки играющей детворе,
И почувствовать вдруг – на исходе долгой зимы –
Всех, кто раня, готов написать на твоей коре

О весне и любви… И проклюнуться в яркий день
Самым первым листом – горьким, терпким, хмельным на вкус…
И мечтать о дожде, и мечтать о таком дожде,
Чтобы мог напоить навсегда и прогнал тоску.

Средь деревьев застыть – это вовсе не оттого,
Что непросто быть человеком – спешить, дрожать…
Но поверив в своё деревянное естество,
От себя никогда ты не вздумаешь убежать.

***

Что не увидишь из окна,
Расскажет голубь одинокий,
Быть может, видит он и нас,
И мир, где созревают строки.

И всё несёт Благую весть,
Раскинув два крыла над миром
О том, что есть добро и честь,
И что нельзя творить кумиров.

Лети же, голубь, мир храня,
Шурша прохладными крылами,
Храни от горя и огня,
И от раздоров между нами.

***

Ты видишь нас, как из окна высотки,
Мы – крошечны, на нас струится свет,
А Ты молчишь, перебирая чётки
Спешащих мимо наших зим и лет.

Как щедро даришь Ты своё молчанье,
Заслышав сверху суетливый спор,
И, нашей малости не замечая,
Ты из сердец вытряхиваешь сор.

И лилипутом на Твоей ладони
Стою среди бесчисленных миров…
Ты шепчешь мне: «Тебя никто не тронет,
И ты, ты тоже никого не тронь».

***

А ведь в самом деле – идёт зима,
Если хочешь – выйди проверь…
По бесснежью рассыпанные дома,
Растворённая в солнце дверь.

То седые тучи, то – синева,
А ещё – маков цвет зари…
И в траве – сиротливо лежат слова,
Так пойди же и подбери…

Их рассыпали, как голубям зерно,
Вон их сколько – в лужах, в пыли…
А под ними – чёрное полотно
Беззащитной моей земли.

***

Как закатное солнце – никто не умеет прощать,
И так просто понять, слыша в сердце дрожащие блики –
Я уже никому ничего не смогу обещать,
Потому что шагаю сама по тонюсенькой нитке.

Если хочешь – меня отпусти, если сможешь – лови…
Как резиновый мяч – я непрочность свою ощущаю.
Мне остался лишь шаг, лишь единственный шаг до любви,
Но настолько огромна она, что её не вмещаю.

И в руках моих тающий снег, как незримый балласт,
И в ногах моих дрожь, потому что мне страшно немного,
И так ветер суров, что меня никогда не предаст,
А в ладони – ладонь безутешного, нежного Бога.

***

Я пришла бы на исповедь к старым дворам,
Рассказала бы всё обветшалой скамейке –
Как меня вечерами окутывал страх,
Как рассвет поливал из серебряной лейки.

Как упрямилась боль, как дразнила тоска…
Я ведь знаю – никто не умеет так слушать,
Так безмолвно прощать, так грехи отпускать,
Как бродячие псы и озябшие лужи.

Пусть, как колокол, ветер гудит в рукаве,
Пусть старушка ворчит и косится прохожий,
Отыщу лист платановый в жёсткой траве,
И прощенье Господне почувствую кожей.

***

Этот странный полусвет –
Между солнцем и туманом,
Как от счастья нежный след
На мгновеньи безымянном.

Привкус детской немоты
Перед елью новогодней,
Чуда тихие черты,
На плече – ладонь Господня.

Не бросай, не уходи,
Не оставь на мрак и холод…
Пусть живёт в моей груди
По любви извечный голод.

ЮЛИЯ ПЕТРУСЕВИЧЮТЕ

ТИШИНА ДО СТЕКЛЯННОГО ЗВОНА В УШАХ

***

Начинается повесть с летящего мелкого снега.
На деревья, на крыши, на спины, на шапки, на лица
Он летит и летит, и в конце засыпает страницу,
Так что с первой главы развивается тема побега.

А потом из ночной темноты вырывается поезд,
Разрезает пространство, как ножницы мойры Атропы.
Он привносит мотив надвигающейся катастрофы,
И уносится дальше, в засыпанный звёздами космос.

И тогда, наконец, среди звёзд появляется город –
Горсть огней, многоглазый дракон, притаившийся хищник, –
Он притягивает поезда, корабли и мальчишек,
И глотает. И тут ты впервые почувствуешь холод.

А в конце будет парк, будет девочка на карусели,
Снег посыплется крупными хлопьями, чище и чаще.
Ты сидишь на скамейке без шапки, и лампочки пляшут,
Расплываясь на мокрых ресницах в декабрьской метели.

***

Тёмный вечер гуляет над садом,
Зажигает в домах огоньки.
И плывут светлячки – маяки
Для души, заблудившейся в травах

У реки, а в реке острова,
И всё дальше, босыми ногами –
На неяркое тихое пламя –
Я бегу, пока помню слова.

***

Видишь – рыбы плывут за окном среди чёрных ветвей.
Серебристые рыбы уходят в зелёную воду.
Это звёзды, наверно, свою выполняют работу –
Светят там, где уже не увидишь земных фонарей.

Это звёзды плывут, шевелят плавниками во сне,
А на их чешуе поступают и светятся строки
Всех на свете стихов, чтобы мы в бесконечной дороге
Тоже видели сны о потерянной нами земле.

Или, может быть, снег удивлённо застыл,
И стоит на пуантах, и тихую музыку слышит.
Десять строчек Шекспира – и мы поднимаемся выше,
И по лестницам Данте идём среди звёзд и светил.

***

А за теми туманами снег, за туманами снег.
Он придёт и накроет ладонями город усталый,
Его серые крыши и вмёрзшие в камень кварталы,
Тротуары, сухие, как русла исчезнувших рек.

А потом всё забудется в белых лесах тишины,
Потеряются звуки и страхи, и прошлая память
Напоследок сумеет ледышкой щеку оцарапать
До крови, до ближайшей весны, до последней войны.

***

А к дому в снегу протоптали тропинку с утра –
Носили ведром из колодца холодную воду,
Варили картошку, стирали бельё по субботам,
И синюю льдинку выплескивали из ведра

В холодное серое небо на пористый лёд,
Присыпанный солью, слегка прикопчённый дымами,
И печку топили углём и сухими дровами,
И жадно глотали горячий сентябрьский мёд.

***

Был очень долгий, очень тихий день,
И город выглядел, как сказочное царство,
В котором только ты один остался,
А остальных какой-то змей горыныч съел.

И две собаки – две твои души –
У ног вертелись, недоумевая,
Откуда тишина взялась такая.
И змей весь день над городом кружил.

***

Я прошу вас – запомните эти холодные дни,
Серый воздух, натянутый так, что вот-вот разорвётся.
Из колодца двора видно донышко неба-колодца,
И плывут, отражаясь в воде, городские огни.

И ещё – тишина, до стеклянного звона в ушах,
До воздушной тревоги, до воя патрульной сирены.
Знаешь, боги не любят, когда мы встаём на колени.
Боги слушают тех, кто умеет стоять на ногах, –

Кто сумеет осилить все страхи и выйти на мост,
Защищать до утра от бомбёжек мосты на Дунае.
Как изменится мир через час – мы пока что не знаем,
И натянутый воздух звенит от движения звёзд.

***

Холодное небо звенело в ушах, как стекло,
Разбитое вдребезги, сыпались сверху осколки,
А воздух был твёрдым и режущим, острым и колким,
И зубы ломило, и пальцы от боли свело.

Разбитое зеркало – космоса тёмный провал,
Бездонная яма, глубокая чёрная рана,
А звёзды, срываясь, звенели так глухо и странно,
Как будто по небу невидимый всадник скакал.

ФРЕЗИ ГРАНТ

Как по снегу следы, так уходят по снегу стихи,
Строки пахнут то яблоками, то вином, то железом,
Тёплым хлебом, свернувшейся кровью, простуженным лесом, –
Всем, что можно засунуть в строку, не ломая строки.

Человек уходил, растворился в летящем снегу,
В головах поездов, покидающих эту планету.
Помоги мне в пути. Снег поставил печать на билеты.
Дай мне лёгкой дороги, – и я тороплюсь, я бегу.

***

Скажи мне, дорога, куда твоё время уходит?
За край горизонта из раны заката течёт,
Как в чёрную воду течёт обжигающий мёд
Холодной луны, как уходят обрывки мелодий

Из гаснущей памяти. Тени и тени вокруг.
Кого-то я помню, кого-то уже не узнаю.
Взлетает в холодное небо последняя стая,
Роняя перо на рояль. И рождается звук.

***

Последнее, что я увижу – не стены больницы,
Не этот пустой потолок и не ржавую крышу, –
Огромное серое небо над мокрым Парижем,
В которое с воплем летят сумасшедшие птицы.

Вдохнуть этот город, услышать его голоса,
Глотать его улицы, пить, как волшебную воду,
Увидеть летящую Нику – богиню свободы,
И плакать от радости, не закрывая глаза.

ГАЛИНА ИЦКОВИЧ

ТЕТРАДКА ДЛЯ ВТОРОГО КЛАССА
рассказ

Every boy in this land grows to be his own man
In this land, every girl grows to be her own woman
Take my hand, come with me where the children are free
Come with me, take my hand, and we'll run…

Марло Томас, Free To Be You And Me

Мать решила отдать Кору в школу поближе к новому месту жительства. В конце августа потащила её за покупками по списку, выданному прошлогодней учительницей, всё, как велено. Мать всегда делала как велено.

В ближайшей аптеке дороговато, но они знали хороший магазин «Всё за дайм» недалеко от старой квартиры. В скученности магазина Кора томилась, шагала лошадью от стеллажа к стеллажу; как лошадь, останавливалась от окрика. Невнимательная была и покупкам не очень радовалась. Неблагодарная потому что. Купили новый ранец, много карандашей, шариковые ручки, тетрадки «Mead» – толстые, пахучие, фирменного окраса, все одинаковые чёрно-белые, кроме одной, голубого мрамора, на которой написано «Для второго класса».

Кора читала неплохо, а письмо пока не удавалось. Но в тетрадке для второго класса были эти вспомогательные чёрточки на полпути между основными строчками. Как на пешеходном переходе: вот сюда, здесь неопасно. Заглавная строка, прописная строка.

– Скажи: «Спасибо за покупки, мама!».

Дома сразу захотелось начать выводить буквы. Кора знала все двадцать шесть, и писать их уже пробовала. Разляпистые буквищи, неуклюжие её детки, сползали со страницы. Тридцать шесть страниц на двадцать шесть букв, и ещё останется на письмо папе.

– Скажи: «Спасибо, *мамочка*».

Она непременно научится, и мамочка похвалит её.

Кору не за что хвалить. Она, во-первых, рыжая, а потому позор всей семьи. Семья – это мать и брат. Младший брат зато будет красавцем как вырастет, говорят соседи. «Как вырастет» – как будто дети не бывают красивыми. Он уже с Кору ростом, почти такой же светлокожий, как отец, светлее мамы, а глаза как будто подведены чёрным карандашом. Жаль, Коре ничего подобного не досталось: у неё серая кожа, рыжие космы, альбиноска-переросток.

Во-вторых, что-то с ней не так.

Мать сделала как велено: отвела Кору к врачу, а врач направил к другому врачу, в Сан-Франциско. К специалисту. Кора видела Сан-Франциско в кино. Там был трамвай, съезжающий по спуску прямо в море разноцветных крыш.

Специалист по генетическим заболеваниям.

Ваша девочка здорова, но сходите ещё к эндокринологу, что ж она крупная такая.

Что вы говорите, уже менструирует, это в семь-то с половиной?!

Эндокринолог отослал к гинекологу.

***

– Говори, тебя мальчики трогали там, внизу? – доктор, как в ситкоме «Сумеречная зона», который детям смотреть нельзя, заносит над ней что-то блестящее, холодно и больно шарит внутри. Она сжимается.

***

– Не сжимай так ручку, поломаешь сейчас! – это Кора изготовилась вывести первую букву на карте будущих школьных неудач. Но во втором классе учиться нетрудно. Если б не перемены…

Кору в школе не били, но дразнили иногда так сильно, что лучше бы ударили. Хотя дразнить её было неинтересно: Кора не плакала и не дралась, она даже не убегала. Поэтому вскоре всё входило в ту же колею, что и в первом классе, в прежней школе, с другими приставалами и драчунами. Мать часто переезжала – именно поэтому так важно научиться писать по линеечкам и потом написать отцу с нового адреса, чтобы он мог их найти и приехать. На конверте линеечек нет, но она будет очень стараться (Кора тоже любила делать как велено).

– Научишься красиво писать и напишешь папе своему.

***

Ей велели взобраться на узкий столик и лежать неподвижно. Столик въехал до половины в какую-то трубу, что-то там затрещало, завертелось, как в сушилке. Пока «сушилка» работала, Кора представляла себя в туннеле. Стоит автобус в туннеле и никуда не едет, ждёт. Она укачалась глядеть в потолок, и ей стало казаться, что это она туннель, а сквозь её полое тело с металлическим лязгом проскакивают блестящие холодные машины.

В конце концов Кору вынули из аппарата, сказав приехать на проверку через шесть месяцев, но больше в Сан-Франциско они не ездили. Жаль, так и не прокатились на знаменитом трамвае.

***

Возможно, «там» (мать округляет глаза) растёт киста.

Новые соседки сочувствуют, трясут головами. Бедная, бедная женщина, каково ей одной с такими детьми!

– Это всё от кисты, – говорит мать. – Лучше бы у меня была киста. Тогда бы я не беременела.

***

В выходные можно погулять на улице. Из окон слышны голос Марло Томас, банджо и пианино:

Есть земля, где свободны дети…
Вот моя рука, побежим за сияние моря…

Земля, где свободны даже лошади.
Где мы сможем быть такими, какими мы рождены.

Хорошо быть белым ребёнком, да и чёрным быть неплохо. А Кора ни белая, ни чёрная. На очередном квартале её прозвали было «Желток», но стали обижаться азиатские соседки, и так она и осталась без прозвища. Не хватило на неё прозвищ.

– Освободи кисть руки и пиши, – подумав, учительница добавляет, – детка.

Кора выводит буквы. Пунктир не всегда удерживает в безопасной зоне. Буквы соскальзывают, мать потрясает вожжами над серым лошадиным затылком, над плохо растущими волосами, похожими на заржавевшую мочалку, вечером жалуется в разрядившуюся пищащую трубку: «Вышли бы дети красивые, он не ушёл бы».

***

Ко Дню Благодарения Кора освоила скруглённые хвостики и пышные плюмажи, буквы выходили гладкие и откормленные. Особенно ей нравилось, что они все, её буквы то есть, дружно держатся друг за друга. Вместе мы семья. Она тоже хотела бы семью. Засыпая, пыталась представить неведомых ей тёток, сестёр папы.

Из жизни с ним она помнила совсем немного, хоть и больше, чем брат. Смутно помнила мягкие руки, совсем не такие, как у матери: та оцарапает, даже когда хочет обнять. Помнила голос, огромную тень на асфальте. Кажется, он покупал ей мороженое во «Френдлис». Если сосредоточиться на верхнем нёбе, можно вспомнить холод и сладость, сладкий холод.

Ничего этого она помнить не могла – мала была. Да и папа был не из тех, что тратят воскресенья на очереди в кафе-салон.

***

Новенькая, иди в кружок. У вас там что, не читали по кругу?

Вдоль привольных лугов и речных разливов,
По морям и травам, красе земной,
Побежим в страну детей счастливых,
Где ты и я вырастем тобой и мной…[1]

Ты что молчишь, как немая? Мисс, новенькая просто тормоз, скажите ей.

«Дорогой папа, (с новой строки) почему ты не приезжаешь? Я (зачёркнуто) Мы тебя очень любим и скучаем. Приезжай по адресу…». Адрес лучше печатными, чтоб без случайностей.

***

После каникул мать заявила, что зимой водить её в школу нерентабельно: пока оденешь-разденешь братика, полдня долой. Ничего, большая уже. Мы зачем в ближнюю школу перешли-то? Правильно, чтобы самостоятельной стала. Здоровая какая деваха (при этом мать горестно вздыхает, оплакивая то ли Корину таинственную болезнь, то ли собственное увядание в ходе времени).

Домой лучше автобусом. Кора побаивалась мальчишек, резких взлётов их ранцев.

«Девочку всякий может побить. Стану-ка мальчиком», – подпела Марло Томас. И мать, недовольно кряхтя (что за девчонка, вечно умудряется раскрутить её!), выдала-таки автобусные жетоны с замысловатой прорезью по центру.

Две остановки пролетали в мечтах. Кора обнаружила, что мечты можно по желанию останавливать, а потом прокручивать до нужного места, как фильм в плеере. Некоторые сладкие, до боли и щекотки в животе, их она пересматривала повторно в постели. Другие такие печальные, что Кора вынужденно отворачивала лицо от всего автобуса, чтоб не заметили слёз. Как можно плакать по тому, чего нет, тосковать по тому, чего не знаешь?

***

В классе все рисовали свою семью. Кора нарисовала трамвайчик среди черепичного моря. Теперь после уроков ей велели заходить к психологу, но не каждый день, а только по понедельникам и средам, так что время на мечты всё равно оставалось.

– Почему твоя семья выбрала наш город? Вам было бы лучше в… – психолог задумывается в поиске места на карте Калифорнии или даже целой страны, где им было бы лучше.

Мать выбрала этот город, потому что в нём их никто не знает. Но это, может, Корины фантазии.

***

Зря боялась: остановка автобуса прямо у школы, на виду, никто не посмел бы тащиться за ней с тупыми дразнилками. Водители добрые. Только однажды Кора учуяла дух опасности. Невидимый человек, тень его, остановилась прямо за ней, наваливаясь, когда автобус подпрыгивал на ухабе, но не спеша отодвинуться на гладкой дороге – совсем уже не отодвигаясь. На свинцовых ногах она попыталась было в сторону, но вжавшаяся в неё тень тоже переместилась, как сделала бы тень настоящая. Крохотный шажок вперёд, и Кора упёрлась в поручень. Кость на металле, дальше некуда. Тень всё росла, вжимаясь куда-то под поясницу. Протолкнуться бы к выходу, но почему-то стыдно было пошевелиться, обнаружив странное единение с тенью, с телом тени, от которого не избавиться, как ни искрутись. Позвать на помощь? Как? Странно было бы среди общей тишины завопить в голос, да и у матери могли быть неприятности: почему восьмилетка, хоть и дылда, без сопровождения?

Дома сразу кинулась практиковаться в прописях, делая красивый отступ между буквами, а мать ругала за выпачканную куртку, хоть бы отстиралось.

Больше обжимала в автобус не садился, но теперь она немела всякий раз, когда на остановке втискивались новые люди.

***

Хорошо устроился, «дорогой папа!». Попробуй быть дорогой мамой, когда на тебе всё. Ни тебе благодарности, ни помощи никакой (не прерывая мамин монолог, Кора про себя отмечала, что она-то всегда бросалась на помощь: и замести, и постирать за собой и за братиком). Напиши-напиши, пусть приедет

посмотреть, как он наследил за собой (это было непонятно – как можно наследить, никогда не входя в квартиру и даже адреса не зная?).

У некоторых букв круглые нежные животики, прямые пружинистые спинки, у других завитки. Страшно скривить линию или выйти за черту: вдруг случится что-то жуткое с мамой или братиком.

Рождённые ею буквы прекрасны. Как может такая некрасивая девочка выводить такое совершенство? Ей подозрителен собственный успех. Учительница недоумевает.

Элегантная «ф», стройная «т». Ночами Кора думает о них.

***

Адрес у матери был. Она надписала конверт.

– Не заклеивай, дай проверю ошибки, – Кора знала, что ошибок в письме дорогому папе быть не может, но послушно протянула листок.

Что ты так смотришь, не веришь мне? Отправлю-отправлю, не бойся.

***

Начали разучивать роли к пасхальному спектаклю. Ей достался заяц: наизусть с выражением всего две строчки, но зато скакать в костюме через весь зал. На каждой репетиции она прыгала тяжёлыми размашистыми прыжками, как кенгуру. Такой театральный приём, когда актёры выходят из публики. Как будто публика ожидалась сплошь из зайцев и кенгуру.

Предпоследняя репетиция выпала на среду, и получилось допоздна. Ещё от двери Кора услышала материн напряжённый, тонкий, перетянутой струной, смех. Войдя, увидела две чёрные тени на диване у окна, против слепящего закатного луча. Мать оборвала смех и сказала:

– Вот она.

Видно, говорили о ней.

– Кора, значит, – вступил мужской голос. – Давай сюда, Кора, подходи знакомиться.

Солнце залило её красной волной. Она боялась раскрыть рот, чтобы не наглотаться солнца, и молча шла по расплавленной дорожке, тянувшейся до окна.

– Ну, скажи что-нибудь, мадама Кора, – но даже звуки слиплись в колючий ком.

– Давай-давай, – поощрил голос. – Не робей.

Сладкий холод в животе. Кора подошла очень близко, носки её кедов почти касались гигантских двухцветных, она таких никогда не видела, ботинок.

– Так говоришь, я грязный потаскун? Вот посмотрим, кто здесь грязный, – резким коротким ударом он перегнул её животом на его колено, другой рукой спустив рейтузы.

– Ремень есть, Клементина? Дать ей, сучьей дочке, за тупорылую её наглость… Деньги, говоришь, нужны тебе? На тебе деньги! – и резкая боль.

– Не сжимайся, дурик, больнее будет, – это будничный голос матери.

Но надо было сжать, сдержать то, что так позорно вытекало с каждым ударом на отцово колено. Застыть, как в той металлической трубе, где можно только ждать, когда всё кончится.

Наконец хватка ослабла. Она сначала натянула развалившиеся трусы на горящий зад, а потом сползла на пол.

– Откуда такой ремень? – переговаривались вдалеке. – Гостей принимаешь? Ладно, я не ревнивый…

– Что ж ты наделал. Теперь ещё штаны ей покупать…

– Накормить бы тебя, обормотка, письмецом твоим, да уж ладно, – до неузнаваемости вытертый тетрадный лист пролетел перед её носом. – Велика проблема, штаны… Клем, вот на её штаны и пацану на всякое…

***

Напряжение спало, и взрослые над головой уже посмеивались над чем-то. Протянув затёкшую руку, она развернула, не узнавая, комок: «…потаскун… детей наделал, а ответственность чья… маму твою…». Чужие слова её же аккуратным почерком. А над ними выстраданное ею: «Дорогой папа, я зачеркнуто мы очень ску…».

Ночью Кора, лёжа на животе, повторяла алфавит, выводя самые удачные буквы пальцем по подушке. Зато поздней весной, когда в набитом автобусе снова прилипла к ней тяжёлая тень, буквы окружили её частоколом, отгородив от обидчика. Вышли из тетради и широкая «а», и улыбчивая «е», и многие другие. Невероятной красотищи почерк.

---

[1] *Marlo Thomas, Free To Be You And Me*

ПОЛЬША
рассказ

В школе стало модно заводить друзей по переписке. Точнее, на очередном классном собрании прозвучал толстый намёк, что без «друга» в соцстране, без тимуровской помощи родственникам космонавтов или ещё чего-нибудь такого, героического, в пионеры досрочно не примут. А Вадику очень хотелось в пионеры. Прочитанная где-то и запавшая в душу фраза «Мы, пионеры восьмидесятых…» звучала гордо и значительно. Он даже повторял её шепотом время от времени, конечно же, убедившись, что никто его не слышит.

Родственников погибшего героя космонавта Комарова, которых нашли через адресный стол и которым можно было бы оказывать помощь, у него перехватили братья-отличники Терещенко, а после школы, по дороге домой, ещё и *намекнули* портфелем по голове, чтоб не лез. Его фамилия на конверте не умещается, и вообще, какой из него помощник. А вот с социалистическим другом по переписке вышло почти само собой: учительница принесла целую стопку карточек с именами и адресами. Вадик сидел на второй парте, а у Ирины Васильевны была манера заходить подальше в проход между партами и сообщать самые важные новости именно оттуда. Ближе к детскому народу хотелось быть.

Короче, она остановилась между Вадиковой партой и следующей третьей и именно оттуда сказала, что вот тут, на прогибающихся между двумя её ладонями карточках, есть адреса детей, желающих узнать о жизни своих советских ровесников, и…

– А как же мы прочитаем, что они нам пишут?

– Русский язык – великий и могучий, его знает весь мир, – назидательно качнулся учительницын указательный палец перед носом Вадика.

Продолжая говорить, она раскрыла карточки хитрым картёжным жестом, и Вадик первым дёрнул за ближайшее к нему звено веерка. Мелькнуло девчачье имя – эх, невезуха… Быстрее, пока все не расхватали – он потянулся за второй, чуть не последней оставшейся в учительской уцепистой лапке карточкой – тут ему повезло, и попался какой-то Яцек. Короче, он оказался счастливым обладателем двух адресов. И выбрал, естественно, мальчика, Яцека из Польской Народной Республики, а когда выходил на перемену, незаметно сунул вторую, лишнюю карточку под стопку бумаг на учительском столе.

Потом уже, в ответ на Вадькино измазанное от стараний чистописание, пришло письмо в иностранном конверте. Больше всего в письме ему понравился именно этот, многократно заклеенный, словно перебинтованный кем-то сердобольным, конверт. Ещё там были марки… да, марки. Отношения с марками у Вадика были сложные, но об этом в другой какой-нибудь раз.

Для переписки с Яцеком была куплена общая тетрадь. Она только называлась «общей», а принадлежала на самом деле только Яцеку – больше никому писать не приходилось, все свои были вот они, на расстоянии крика через форточку. Яцек отвечал аккуратнее, чем Вадик, поэтому переписка их была неровной. Если изобразить временно́й её пульс пунктиром, то получились бы точки-Яцек и тире-Вадик, тире вперемешку долгие и коротенькие. Азбука Морзе. Писать потому что было очень трудно: надо было придумывать темы, за которые всей советской пионерии было бы не стыдно, а потом переписывать на двойной листок, чтобы аккуратно выглядело.

Письмам отводились выходные. Вадик вырывал из середины тетради двойной листок без полей, и начиналась воскресная агония. Встревоженные родители предлагали то погулять, то пообедать. Чтобы не терять время на ссору, он механически одевался, выходил на простуженную, слезящуюся зимнюю улицу, доходил до магазина, последней видимой из их окон точки, и заворачивал за угол. Сидя на узенькой, заплёванной голубями и пьяницами кафельной кромке витрины и наблюдая за жизнью улицы, Вадик мысленно заштриховывал ненужное и жирно обводил победное, достойное письма: «У нас зима. На улице скольз… нет, это не надо. Вчера шёл снег, а сегодня дождь и выходной. Выходной день в СССР – это воскресенье. Взрослые также отдыхают в субботу, но часто они любят по субботам работать бесплатно, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая Партия (да, заучил торжественное обещание до дыр, и теперь оно не к месту выползало из него, как морковка или зелёный лук из дырок авоськи)». Он быстро шёл домой, повторяя про себя выверенные строчки, и сразу же закрывался в своей комнате, чтобы записать, но при переписке снова обнаруживалось много ненужного, очерняющего жизнь в советской стране (надо с большой буквы – Советской Стране), где не могло быть ни работы по какому-то завещанию, ни вчерашнего неряшливого тающего снега, ни сегодняшнего гололеда, ни тёмнолицых тёток-«пьянычек» на скамейке за школьным стадионом. Стирать написанное чернильной резинкой Вадик не любил – дело обычно заканчивалось дыркой, – потому оставалось лишь зачёркивать погуще. В конце концов выходило столько перечёркнутостей, что приходилось переписывать начисто. Когда написание письма завершалось, Вадик ещё несколько дней ходил опустошённый, вылущенный, как семечковая шелуха. Письма в Польшу выпивали, выедали его.

Он никогда не интересовался у одноклассников, как проходит их переписка. Странное дело, Ирина Васильевна тоже не интересовалась. В пионеры приняли всех одновременно, в апреле, вне зависимости от приложенных усилий, и можно бы не стараться. Вадик не понимал, сколько ещё надо писать и можно ли когда-нибудь перестать убивать на пустые письма драгоценное свободное время. Хотя некоторые делились рассказами из жизни зарубежных сверстников, считая, что иностранная переписка приносит невероятную выгоду. Например, одна девочка из Пловдива (это где-то в Болгарии, шестнадцатой республике, как называла эту страну мама) вкладывала в серединку письма дефицитные переводные картинки или малюсенькие обертки жвачки «Дональд» с комиксами, а один раз даже умудрилась вложить самоё плоскую, остро пахнущую жвачку. Счастливая подруга по переписке дала понюхать всем, приближенным к ней. Вадик тоже потянулся к карману её передника и вдохнул поселившийся там запах заграницы.

У него ничего такого не было. Яцек описывал свою семью и домашних животных, двух котов и козу. Крупные буквы в завитках, квадратные все без исключения, даже «о» и «а». Вадик не всегда разбирал до конца написанное Яцеком, иногда приносил на графологическую экспертизу отцу. Отец посмеивался:

– Поедешь в гости скоро, Яцек свинью зарежет, а ты держать будешь!

Или так:

– Сейчас… – и, делая вид, что читает. – Нету мяса, ешьте серек, так сказал любимый Герек.

Вадик не очень понимал, о чём шла речь, но обижался:

– Да не свинья у него, а коза!..

Было в отцовской интонации что-то пренебрежительное, умаляющее его зарубежного друга.

Может, надо было написать что-нибудь правдивое. Например, описать их квартиру-«трамвайчик» и раскладное кресло, на котором он спал с тех пор, как себя помнил; в передней комнате, где он делал уроки и играл в дневное время, ночью спала бабушка. Кресло надо было непременно собирать с утра, иначе не протиснуться в туалет. Отец будил его затемно, кресло второпях складывалось, а он шёл досыпать в родительскую кровать, на освободившееся отцово место. Или ещё что-то о жизни написать. Но жаловаться нехорошо, да и как может жаловаться мальчик из счастливой страны без голода и войны?

Примерно через год Яцек прислал посылку. В грубом серо-коричневом бумажном пакете лежали конфеты «Апельсинные дольки» и пластиковая трубочка с козлиной головой – нажмёшь на кнопочку внизу, и козел выплёвывает белый мятный квадратик, вроде конфета, а не сладкая. Ещё там был номер неправдоподобно яркого журнала со странным названием «Бурда». Мама утащила эту бурду на свою тумбочку, и долго ещё к ней ходили знакомые разглядывать фасоны.

Вадику показалось, что дома его зауважали.

Даже папа как-то сказал:

– Та шо там, сына, интересно тебе, так переписывайся!

Подходил день рождения. На его дни рождения обычно приходился дождь. «Эти летние дожди-и», – завывало радио, и внутри просыпалось нечто тянущее, тоскливое, и боль начинала биться в полом пространстве недавно сгнившего коренного зуба. Ему всегда казалось, что гости не придут из-за дождя, и каждый год, действительно, приходило всего два-три одноклассника, а остальные застревали где-то в грязи, в размокшем бездорожье «спального района».

Дружбы ему не удавались, в основном, из-за осадков.

В подарок Вадик запросил немецкий конструктор. Он видел такой однажды у сына маминой подруги, а потом ещё раз на улице: его, наверно, несли в подарок какому-нибудь имениннику-счастливцу. Мама согласилась и впервые в жизни взяла его с собой на шестнадцатый километр. На толкучку, то есть. Встали затемно, ехали в пахнущем деревней старом автобусике. Вадик представлял себе что-то вроде карусели или танцплощадки, по которой кружатся, толкая друг друга, продавцы и покупатели, но вместо этого увидел разложенные на земле пакеты и серое море торопливых людей.

Конструктор не нашли. И японский радиоуправляемый танк не нашли. Неизвестно, откуда появлялись эти вещи. В качестве утешения мама купила ему блок жвачки, и Вадик, не разглядывая, зажал её в кулаке. Автобус качало, и его немного подташнивало. Он незаметно уснул и проснулся от маминого суетливого подталкивания: «Быстрей, проталкиваемся на выход!». Спрыгнув на землю, он понял, что жвачку выронил в автобусе. Такой бессмысленный вышел день. Вечером он сел за письмо, но не стал описывать свой день рождения, а написал, что всё хорошо и у него тоже теперь есть своя собственная жвачка.

Была ли какая-то логика в том, что Яцек перестал писать? Кто знает. Вадик хранил коробочку из-под долек и даже не клал в неё ничего, чтобы не развеялся апельсиновый аромат. В квадратный живот козла прятал «секретики». Иногда он навещал перекочевавшую на мамину тумбочку «Бурду» и тупо разглядывал людей-манекенов, сидящих друг напротив друга с узкими бокалами, ласково глядящих на играющих во что-то цветное и блестящее круглощёких светловолосых детей, пытаясь представить себе Яцека и его родителей. Нет, скорее, себя на его месте.

– Ну что, пропал твой друг? «Ярузельку» танцует, руки по швам? – вдруг поинтересовался папа.

Вадик опять не понял и не знал, что ответить. Прострадав около месяца, он обратился за помощью. Был у него в классе доверенный человек, который знал всё. Друзья Вадика были совсем дети, а Димка не совсем был – друг, но в сложные жизненные моменты приходил на помощь советом. Он и в этот раз всё знал: под столом сидел, пока родители гостей принимали, и был в курсе всех взрослых разговоров, но главное, анекдотов, и пошлых, и политических. Родители его особо не допекали, разве что однажды выгнали из-под стола, когда он, забывшись, прокомментировал:

– Ну, это старьё, этот анекдот я знаю с детства…

После школы Вадик зазвал Димку в гости «на „Бурду“» и по дороге задал все вопросы о Польше. Димка подтвердил, что про Польшу теперь все говорят и что-то там случилось в политике. Какое-то рабочее движение. Как будто и так при социализме вся власть не принадлежит рабочим.

Но дома тем временем происходил свой собственный переворот. Приходили какие-то гости, доставался коньяк из серванта и дефицитная «сухая» колбаса из запретного бокового отсека холодильника (Вадик, надо признаться, как-то провёл с ней эксперименты, чтобы проверить на неразмокаемость, и потому всегда хитренько улыбался при упоминании сего продукта), закрывали тугую дверь в кухню и проводили секретные совещания.

Уходя, гости останавливались перед зеркалом, проверяли состояние помад и усов, а Вадик ловил обрывки фраз:

– Главное, туда и графа не помеха, представляешь?.. Курица не птица, хе… Не боись, ты верный кандидат…

О какой-то зарубежной поездке говорили они и очень подбадривали папу.

Осень длилась всю зиму, а весной пришла зима. Даже школу отменили однажды. А ещё Вадику повезло, и он простудился, и мог лежать в родительской постели с утра до вечера, думая медленные, пунктирные зимние думы: вот поедет папа в свою заграницу и наймётся там моряком, будет плавать туда-сюда, а он, Вадик, будет спать на его месте, рядом с мамой, а потом папа будет привозить моряцкие вещи… было лень придумывать, какие вещи, и он начинал заново: вот пригласит его Яцек в гости в Польшу, и он самостоятельно сядет в самолёт, и пилот пригласит его в кабину, порулить… Он засыпал и смотрел повторяющийся, неестественно яркий сон, где они с Яцеком одни, без взрослых, гуляют по огромной площади, а на горизонте виднеются башни и шпили, и это Польша. Странно, что у Яцека не было лица, была же послана ему крохотная моментальная фотография, но что возьмёшь со сна.

Теперь отца готовили к какому-то вызову. Из кухни доносилось:

– Тринадцатую успею получить, и точно потянем… верняк…

– Лично мне только плащ… Вадюше на вырост... ничего, можно набрать консервов, а кипятильник я уже…

В школе всё шло неплохо: Вадик вызвался быть дежурным по раздевалке в самое горячее время, когда первая смена уходила, а вторая начинала прибывать, а за это его отсадили от двоечника Бузюка, на которого по идее он должен был позитивно влиять, и теперь можно было на уроке слушать учительницу, а не играть в принудительный «морской бой». Он разработал хук портфелем, и Терещенки тоже отстали. А ещё он решил, что станет пилотом и будет летать в страны социалистического блока. Откуда будет вылетать его самолёт, он не задумывался, а вот приземляться будет в Польше, это точно. Он представлял себе огромную стекляшку-аэропорт со светящимися буквами, видными издалека. Буквы были квадратные, совсем как в письме Яцека… нет, это он зря, буквы должны быть как в заголовке «Известий»… ну, это можно было ещё додумать, но в общем фантазия удалась на славу, её можно было смотреть как кино, и Вадик застывал иногда на полуслове или полушаге.

Так хорошо было ему в его придуманном будущем, что он даже не озаботился узнать, в какую страну и когда уезжает папа. Но однажды всё разрешилось само собой, потому что отец пришёл с работы раньше, почти одновременно с мамой и Вадиком, мама как раз поставила разогреть кашу с котлетой, а Вадик уже мыл руки, чтобы сесть за стол. Отец вошёл, сразу сел за стол и сидел, не двигаясь.

–Ну, как? – спросила мама, и сразу стало ясно, что спрашивать не стоило.

–Как? КАК?! – с нарастающей скорбью в голосе переспросил отец. – Как в Польше!

Вадик сжался у себя там в ванной и поторопился вытереть руки и выскочить на кухню. Каждое упоминание Польши, казалось, было обращено непосредственно к нему. Он головой теперь отвечал за эту далёкую страну.

– Зарубили. Сказали, что мы переписываемся с зарубежными экстремистами, с *родственниками*,– отец значительно посмотрел на Вадика. Да-да, ему не почудилось, и это действительно была его вина, что отца не пустили, и никогда уже тот не привезёт маме плащ, а ему джинсовую рубашку, чудо-конструктор, и что там ещё было у обитателей «Бурды».

– Ну что ты повторяешь эту ерунду, какие экстремисты-шмекстремисты? Ему же в школе дали адрес, в школе… – мама не договорила и заплакала.

– От байстрюк, – ни к кому не обращаясь, сказал отец, и Вадику захотелось сделать так, чтобы никогда больше не слышать ничьего голоса. Он развернулся и вбежал назад в ванную, нашёл пузырек с маминими каплями от нервов «Корвалол» (так, кажется, звали какого-то зарубежного коммуниста, некстати вспомнилось ему), ломая ногти, сорвал пластмассовую капельницу и выпил залпом, потом улегся в приятно холодящую пустую, без воды, ванну и закрыл глаза, ожидая облегчения, какого-то забытья. Он действительно заснул. Сердце в его сне расширилось, доросло до горла, затикало в глазницах, готовое выплеснуться, и было это страшно и почему-то радостно. Ванна медленно наполнялась: это Польша вытекала из его тела вместе с сердцем. Сердце шипело и лопалось колючими минеральными пузырьками.

ЛАДА МИЛЛЕР

ПОСЫЛКА
рассказ

– Артём, ну идём уже.

– Иду, иду, мам. Тяжело ведь.

– Своё не тянет, давай, давай. Не каждый день посылки от папки приходят.

Алёна раскрыла сумку, стала рыться, искать ключи.

Лифт не работал, пока поднялись на четвёртый этаж, запыхались.

Хорошо старший вымахал здоровый, всего пятнадцать лет парню, а плечи почти как у отца.

Артём свалил посылку на пол, прислонился к стене.

– Тяжеленная, уф. А что там, мам?

– Что, что, небось подарки. Сейчас посмотрим.

– Откуда подарки на войне?

– Тихо ты, – Алёна оглянулась, – Соседи услышат.

Они вошли в квартиру.

Навстречу выбежал Егорка, запрыгал вокруг.

– Ура, ура, посылка от папки!

Алёна разулыбалась, глядя на младшего.

Он был смешливый, шустрый, кудрявый, совсем как её покойный отец.

Зато Артём – вылитый Олег, серьёзный, крепкий, надёжный.

Что ни говори, повезло ей с мужиками.

Артём поволок посылку на кухню, достал нож, стал разрезать бечёвку.

– Осторожней там, – забеспокоилась Алёна, – Вдруг что ценное.

– Откуда ценное на войне, – пожал плечами Артём.

– Поболтай мне, – нахмурилась Алёна, – Папка наш – герой, мало того, что, считай, весь мир от американосов защищает, так ещё и про нас не забыл. Разворачивай потихоньку.

– При чём тут американосы? – усмехнулся Артём, но Алёна только рукой на него махнула.

– Не умничай мне тут.

Послышалось шарканье и кряхтенье, это до кухни добрела Степанида.

– Что ж ты меня не зовёшь, доча, – старуха свела густые, почти мужские брови к переносице, уткнула руки в боки.

– Вы, мама, идите, отдыхайте, – отмахнулась Алёна, – Всё, что ваше, я вам потом в комнату принесу.

– На том свете отдохну, – беззлобно прошамкала старуха, – А моё здесь – всё. Забыла, чей дом продали, чтоб квартиру-то купить?

– Завела шарманку, – пробормотала Алёна, не поворачивая головы.

Старуха оглянулась, повела носом.

– Скоро ли ужин?

– Скоро, мама, скоро, ишь, аппетит у вас, как у молодой, – Алёна развернула последний слой бумаги, теперь перед ними стояла картонная коробка, Алёна нетерпеливо потянула за надорванный край, оттуда посыпались пёстрые тряпки.

– Одежда, – Егорка разочарованно хмыкнул, – А игрушки будут?

И он забегал вокруг, заглядывая в коробку, дёргая мать за рукав.

– Отстань, – прикрикнула Алёна, – Сейчас всё достанем и рассмотрим.

Артём поскучнел, уселся на стул, вещи его не интересовали, игрушки тоже.

– А письма от папки там нет? – спросил он.

– Есть что-то, – Алёна достала из-под тряпок лист бумаги, развернула, сначала прочитала про себя, потом вслух:

«Привет, семейство! Посылаю всё, что смог достать. Тут женского много, и на двух пацанов всего полно – размеры точно как у наших, повезло, дом ихний – в хлам, а вещи уцелели. Алёнка, про мать не забудь, ей пальто подойдёт, болоньевое, почти новое. Мальчишек целуй. Олег».

– Пальто это хорошо, – Степанида пожевала губами, – Синее хочу.

Алёна наклонилась, подняла с пола выпавшие из коробки джинсы, подозвала Егорку, приложила, довольно цокнула языком.

– А где теперь эти люди? – спросил Артём.

– Какие люди?

– Ну. Эти, – он махнул рукой в сторону развороченной коробки.

– Откуда мне знать, – Алёна начала доставать вещи одну за другой, щупать, складывать в стопки, – Почти новое всё, – пробормотала она, – Здорово.

– Что нам – носить нечего? – снова подал голос Артём, – Это ж всё чужое.

– На войне чужого нет, – отрезала Алёна, – Там только враги и трофеи.

– Тихо ты, – шикнула Степанида, – Про войну-то. Соседи услышат.

– Ну и где теперь враги эти? – не умолкал Артём.

– Папка их всех убил, а вещи забрал, – Егорка был доволен, что может объяснить Артёму то, о чём тот, хоть и старший, а не догадался, – Правда, мама?

– Хватит болтать, – прикрикнула Алёна, – Разболтались тут.

Она повернулась к Артёму, поглядела на него строго.

– Ты чем-то недоволен? Ты не понимаешь, что твой отец ушёл тебя защищать?

– Понимаю, – кивнул тот, – Только не понимаю – от кого. От этих, что ли? – и он кивнул на коробку.

– И от этих тоже, – голос Алены стал колючим, – Ты новости-то погляди, погляди. Там тебе всё понятно объяснят, между прочим. И хватит в интернете сидеть. Одни неприятности от него. Скорей бы закрыли фейсбуки ваши.

Всего получилось три стопки и пальто.

Вещи и правда оказались нужных размеров, Олег прям как угадал. Артёму пара футболок, кроссовки почти новые, спортивный костюм, в олимпийке молния чуть застревает, но это ничего. Егорке джинсы, две пары, тапки и пижама с винни-пухами. Алёне платья, сумочки, костюм брючный шёлковый, в бёдрах только узковат, в обтяг будет. Степаниде пальто – и правда, синее, в кармане что-то, ну-ка, ну-ка.

Алёна достала из женского пальто кошелёк. Денег нет, только фотография.

На фотографии женщина уже сильно беременная, длинные тёмные волосы, красивая. По бокам от неё два мальчика, маленький и большой, на женщину похожи, сыновья.

А вот Олег её от третьего ребёнка отговорил. Сказал: «Куда нам»?!». А эта, гляди-ка, решилась.

Алёна вспомнила про аборт, сглотнула, во рту стало горько.

Наклонилась к коробке, не завалялось ли что ещё.

На самом дне лежала пара розовых пинеток.

– Девочку, значит, ждала, – подумала Алёна, достала пинетки, покрутила в руках, пошла к мусорному ведру, бросила в картофельные очистки.

– Ну теперь можно и ужинать, – сказала.

Вынесла пустую коробку на лестничную клетку, вернулась, вытерла стол, вымыла руки.

Принялась расставлять тарелки, задумалась, уставилась в окно.

Степанида вернулась в кухню в новом пальто.

– Красиво вам, – сказала Алёна, кинув на старуху равнодушный взгляд.

– Сама знаю, что красиво, – та оглядела голодными глазами стол, – А что на ужин?

Вечером Алёна дольше обычного мыла посуду, в голове крутились обрывки мыслей.

Егорку отправила спать без сказки, Артёму наказала закрыть компьютер и идти ложиться, сама уселась у телевизора, но звук включать не стала.

Степанида, поев, ушла в свою комнату и больше не появлялась.

Может, из-за посылки, но сны этой ночью пришли цветные, а ночь показалась длиннее, чем обычно.

Степаниде снилось, что она в родной деревне, идёт гордо, по сторонам оглядывается, а у скособоченных домов стоят соседки в платках и телогрейках, смотрят на неё, аж рты пооткрывали.

А она не идёт – плывёт, и пальто на ней новое, болоньевое, синее-синее, как небо в лужах.

Егорке снился маленький танк, сначала будто игрушечный, а потом он стал расти, расти, да и вырос в настоящий.

В танке том Егорка с папкой сидят, и папка даёт ему из пушки стрелять.

Егорка из пушки палит, да так палит, прям как взрослый, все дома вокруг лопаются, будто шары надувные, из шаров этих выбегают маленькие люди, выбегают и сразу куда-то исчезают, а папка показывает ему большой палец – молодец, Егорка.

Артёму снилась Аня из параллельного. Будто он её на свидание пригласил, и она согласилась.

Договорились встретиться на площади городской. Он пришёл заранее, слоняется вокруг, высматривает её, да вот же она – Аня. И он идёт к ней навстречу, вернее, не идёт, а бежит. Добегает и видит, у Ани руки связаны, а рот заклеен липкой лентой. Так и пошли гулять, почему-то он не догадался ей руки развязать и рот разлепить, вот ведь ерунда какая.

Алёне снились женщины.

Их было много, они подходили к Алёне одна за другой, складывали перед ней картонные коробки.

Она сначала радовалась, а потом принялась махать рукой и говорить им:

– Хватит. Нам больше не надо.

Только женщины будто не слышат, идут и идут, у каждой огромный живот, животы колышутся, женщины счастливо улыбаются, ставят перед Алёной посылки и уходят.

Она заглядывает в коробки, а они все набиты розовыми пинетками.

– Нам больше не надо, – повторяет она, – Хватит, – но голос её становится всё тише, а потом и вовсе исчезает – как и она сама – под горой развороченного картона.

АЛЕКСАНДР ЩЕДРИНСКИЙ

ВОТ ТВОИ ОБЛАКА, ВОТ ТВОЯ СОЛОМА

***

спасибо, жизнь, что есть, что рассказать
когда-нибудь мне внукам у камина.
о том, как могут стекла дребезжать
и эхом отражаться пианино,
когда звучит за окнами стрельба.
она всего честнее разделяет
народ на великана и раба:
один бубнит, другой – в ответ стреляет.
смогу я рассказать про пыль столиц,
про речь чужую, что мне стала ближе
имперских передвинутых границ,
что максимум – пародия Парижа.
припомню тех, кто бросил сгоряча,
считая жизнь ценней любви и чести.
и как я понял с грузом палача,
что лишь с собой прожить сумею вместе.
сравню легко по запаху солей
два разных моря общего пространства.
и то, что всё же в цирке *дю солей*
солдат служивший может рассмеяться.
я расскажу, как ночь была тиха,
поправив кудреватые седины.
все расскажу – без тайны и греха…
дожить бы лишь до внуков у камина.

ЦЕЛЬСИЙ

I.

здесь холодно – снаружи и внутри.
старик рябой на море ладит лодку.
и чтоб согреться часика на три,
берёт с собой какой-то литр водки.
дожди и ветер, лужи и крупа –
всё-всё здесь выдает в себе россию,
хотя национальная труба
приладилась тризуб лепить на ксиве.
но – холод. оттого и уезжать
так хочется, где тело не познает
желанья постоянно убежать
за то, что иглы в оное вонзают

и палками нетесаными бьют.
так хочется познать аналог бани –
тепло и пальмы, хижина, уют,
суп на кокосе, каша на банане.
проснуться чтоб – и веет лёгкий бриз,
и ты женат на юной пианистке,
и птица прилетает на карниз,
стуча, как морзе, что-то по-английски.

II.

не грусть должна являться сгоряча,
когда переступаешь берег дальний.
есть в этом холод долга палача
и холод одинокой зимней спальни.
так, молча оглянись по сторонам
и погляди, как вертятся снежинки.
детишкам местным радость, для мадам –
предлог укрыться в тёпленьком мужчинке.
а для тебя – всё холод. парк. река –
когда-то март, а ныне – снег и пепел.
улыбка площадного дурака –
есть что-нибудь печальнее на свете?
да, вот: зима и холод. ты один.
январский скрип дешёвых чемоданов.
возьмёшь всосёшь в себя цветной ландрин,
как лёд с обратной части океана,
и побредёшь в квартирку на углу,
зажжёшь свечу, закуришь по привычке
и вспомнишь свою дальнюю лилу,
что отразит огонь последней спички.

III.

здесь холод изучаешь, как предмет
науки, ибо всюду – только холод.
он на стене, им полон табурет,
он к стёклам зимней росписью приколот.
ты молод, стар ли – холод для любых
найдёт себя явить в его объятьях.
а что до смерти? для волос седых
цвет холода подобен цвету платья
служанки, что даёт тебе воды,
врача халату, посланного чёртом.
тебя здесь впишут в ровные ряды
таких же янки – пошлых и никчёмных.
а что ты был с историей своей
поэт, и как любил, и не был признан –
всё это, видно, следовало б ей
хранить – что не хотела этой жизни.
а потому ты кашляешь, чудак, –
борясь за право звука эхом в доме,
переходя из тела на чердак
как призрак, что запутался в соломе.

IV.

но будет жар и вспыхнет яркий свет,
распустятся тропические вишни.
а то, что на земле поэтов нет,
предписано заранее всевышним.

зато всё будет: талая вода
зальёт вовсю и улицы, и скверы.
и кто-то снова скажет «никогда»
касательно веков до нашей эры.
мир будет ярок, мифом станет лёд.
и кто-то, перейдя через дорогу,
в подъезде втихаря перевернёт
последнюю страницу к эпилогу.

***

глупее быть не получается.
и сердце жёсткостью не тронуто.
все так же полночью качается
фонарь, как таборное золото.
и не могу обидеть ближнего,
собаку пнуть, что неприкаянна.
душа – как маленькая хижина –
впускает изгнанного каина.
не получается быть хуже мне,
чтобы жилось на свете проще мне.
врагам я оставляю ужины,
бродя голодным через площади.
такой вот, в обществе потерянный,
я возвращаюсь к первозданному.
и только червь, покуда зелено,
сгрызает яблоко адамово.

***

пока я буду шнапс искать в бреду,
не зная: дальше римы ли, парижи –
так лживо скрипнут двери на ходу
и голос твой в парадной: «ненавижу».
ах, сколько ты бежала, ангел мой.
но ты на то и ангел, что приставлен
ко мне как беспощадный постовой,
а значит, циклов сущего бесправней.
так, свои крылья трепетно сложив,
опять придёшь назад в конце недели,
меня любя за то уже, что жив,
считая это чудом в самом деле.
и я скажу какое-то «привет»,
безвольно проводив тебя до спальни.
и вновь на всей земле погаснет свет
подобно процедуре погребальной.

***

слова любви становятся предметом
литературы – только и всего.
не стоит говорить с тобой об этом,
коль мы мертвы – какое рождество.
мертвы для жизни, живы для поэмы –
сюжет, над коим падает слеза
но персонажи – дети древней темы,
лишь выдумка, что выпрыгнет из-за…

мы вдохновлять останемся грядущих
юнцов и дев, что станут в нас смотреть,
томить их будем горестным удушьем,
учить, как никогда не постареть.
а сами разойдёмся по картинкам.
ты – щи варить. а я бросать блесну.
последняя в тарелке мандаринка
в один контекст с собой возьмёт сосну.
а в остальном – ни запахов, ни цвета:
картонка, серость, выверенный быт.
и старенькая видеокассета,
где всё ещё, конечно, может быть.

***

и церковь – словно бы вокзал:
пространство, гул, народ, что кони.
и если б не Его глаза
с икон, то вовсе бы не понял

различия. звенит деньга –
что за билет, а что за свечку.
так продаются с молотка
дороги в польшу или в вечность.

сидишь в кофейне, как душа,
что ждёт у рая приговора.
а за дверями не спеша
шуршат крыла по коридору.

тут басом читана псалтирь,
а здесь объявлена платформа.
и ладан чист, как нашатырь,
ночной антоним хлороформа.

и так бредёшь сквозь суету,
и ничего не различаешь –
не то взмываешь в высоту,
не то с отчизны выбываешь.

***

далёк от бога, как слепой щенок,
родившийся зимой, далёк от лета.
мать пристрелили (выстрелили в бок).
из будущего лишь – полоска света,
что всё равно слепому не видна.
так в рое ног прохожих побросает
его куда-нибудь, где ночь длинна, –
как и людская молодость босая.
но он пойдёт – на запах, на тепло.
так бог приходит к нам, когда мы слепы.
и вот уже – ты чувствуешь – весло
петра тебя спасает, как из склепа.
и словно нет ни снега, ни ветров.
так думаешь щенком, лишённым взгляда –
мол, говорили, наш господь суров –
а он – как мать, что скрыла от снаряда,
а он – как длань, простившая пилата…

***

и всё, что ранее боролось
во мне, в труху перемололось.
гляжу на мир спокойным взглядом
и говорю: уже не надо.

спина легка, глаза раскрыты,
есть силы встать, желанье жить и
не мучить будущим и прошлым
свой хронос, бьющийся подкожно.

всё есть, всё принимаю в сотый.
мир разношерстен. я – лишь сота,
что выбирает рифмы в мае
с дождём за окнами трамвая.

***

человечек бумажный, лишённый дома,
вот твои облака, вот твоя солома –
знал бы, где упадёшь, подстелил бы точно.
слишком видно, откуда ты, каждой ночью.
только ветер подует – как лист осенний
ты скользнёшь над асфальтовым наслоеньем.
ты скользнёшь, западая закладкой в книгу
о какой-то минувшей поездке в ригу.
обрети в себе печку, бумажный странник.
съешь хоть с кем-то какой-то домашний пряник.
замотайся в прабабкино одеяло
и усни, забывая огни вокзала.
ты искал теплоты и покинул холод.
ты о чуде мечтал и остался молод.
человечек бумажный, желавший лета,
ты сгорел, чтобы было чуть больше света.

ИРИНА ДЕЖЕВА

ДО ЛЁГКИХ АНГЕЛОВ ВНУТРИ

***

Был август и предвечный день
Светился иней в уголках
Твоих глубоких и красивых глаз
И электричество по-питерски в тумане
Смущало и сближало
Будто все, не выключая газ, расстались
И сбежали.сь…
Ты то неразборчиво не мой
То слишком внятно анонимный
То я лежу и торкаю забор
То золото когда твоё горит в сеченье
Пряничного мира я беру прикол
Замрём, наверно
Я полюблю
Я в платье
Я люблю дистанцию
Предпоследней станции
На последней станции
Вам не обознаться бы
Но зрачки не выдадут
Праздные прозрачные
Цапли
Плыли на безоблачном
Сели на секвенции
Радости навеяли
В ветра граде веером
Ноль, хрусталь, ад
Прудь, Бизерта
Ложка битума
Нам на кромочке
Важна
Бейте явь
Колодой сбитою
Как не прёт без родины
С корыта
Яблоко
Выронить
До конца…

***

Кто ты так долго прерывисто в глаза глядящий
Пальчики так скромно держащий в пути
Из-под доски неизбежной во сне выносящий
В том-то троллейбусе целующий щёку
Скажи…
Я-то знаю, но никому не молвлю
Как потихоньку плавятся мозг, тетрадь, кровать
Буду клир, атлант, пару ниток, детка
Жжёную простынь смирно
В нужную прорубь
Рябиновой веткой
Сутью слать
Дурочка или актриса
В огульный непроверенный сквозняк
Верь иль не верь, но связь
И эти праздники
В чужих лямках ставен
Без салюта
Пусто бывает в радости
И вместо галстука – салфетка
Жди, заказывай ключи
Но знай, у меня 6 зубов
Тонкий мир, экземка
Политическая проблемка
Салтыковский адрес
Как прямой заложник
Редкий вид бунта
Фаюмского отмытого портрета взгляд…

***

Отверстый говорят
Убогих забирал помногу
Как белый цвет соломкой
Укладывал в дорогу
Ссыпая дрожь на блёстки
Нам коровы преграждали путь
Лакали и латали
Сторонники и подходящие
Под всё
Пальто под рок
За стул в театре
Жали по достоинству
Не то чтобы не плакать
А ждать на верочку
Ещё

Я подожду…

***

И сбежать бы
От этих чёрных
Плавающих недугов на глазах
Наружки-седины

Пружин-колец
Гримас без сцены
В себя бросаясь
И как бы выткать дымное сукно
Играющих с арены
Не прикрываясь
Тленны мы
И Ваш вопрос пойдёт ли дождь
Закончится стрельбой
Алаверды
А любите ли Вы
Санктпетербургскую сторону
Так, как люблю её я
Щит мой, кот, кит
Враг мой, друг мой
За-хо-ди
В обменный пункт на Ординарной
С тысячелетними купюрами
Там и буду стоять

***

Из принца в бунтари
Из бунтаря в отшельники
Дай Бог, (если) в отшельники
Так-то саранча, алкашня
И где тот принц, бунтарь, насельник
С сокровенного на преданный
Переврачивающий ельное
Пробуждением языка
От полоумья до всевышних мыслей
От тверди всех чудовищ
До лёгких ангелов внутри
Как каждый взгляд – несносное событье
Гай, Антарктиду не трогай
Я с радостью замкну и ёлку, и прибытие
И праздник
И твой в псалмах и крошках
Кенотаф

***

Я наверно другой человек
Без пристрастья и выгодной смуты
Я скомрах и достойный абрек
М.б. мягкотелый по сути
Разовьётся во мне чехарда
Или сотня грибов залежалых
Всё равно я закрою глаза
И увижу всё то, что пропало
Иль предстанет в златом negligé
И пойму я законы финифти
Буду помнить детали лица
И как даль помогала смыслу
Я наверно к тебе не пойду, карта
Я дух о другом утре Эрарты
От меня навевает природным
Относиться ко всему слишком

Это не пот, не слюна, не отрыжка
Это чудь и смерш стоять на камне
Пропустить рускеальский экспресс
Раскинув снасти-масти
Как твой пергамент
Придыхание
Полвека тайны
Щучее желание
Где Космос предсказал Исайя
И лучник замывает след
Под занавес и райский реверанс немного поревев
Отдам свой куш и радостею
Аксельбант и свалку
Нежность
С пены на песок
Другой человек

***

Вирус – перегной, перепост
Перерос музыкальный проект
В комплекс
Fish? Fresh? Форшмаг? Ferstein?
Прости вопрос
Смиренье перебрать
Как *по* миру концы и бинт в потёмках
Густая тень прозрачно не висит
И слеп хрусталь и жемчуг Блока Александра
Зовет ли нужное венчанье иль не зовёт
Трансцендентно существо
И это выглядит всегда экстравагантно
Знакомы все
И лучше уж когда
Названье сей болезни
Срыто в саркофаг
Мы сыто выжили
Не распаковывая флаги
Теперь меж нами
Корка мира, факт
И палец третий – горизонт в два шага

***

Друг оставил сигарету
Подружка закатывает рукава
В деревне Аникушино всегда лето
Лебеда к лебеде
Среди которых жива
Традиция по льду ходить
На встречу зябкую
С часами колокольными «Павлин»
Во время оно называясь сказкою
И ныне – дурь, кино, камин
Друг представлялся пушистым
Подружка – полупудрой

Конечно, в устных преданиях
Мы осознали вкус чая
И запах беседки в тундре
И тянет лебеда к лебеде
П.ч. живы
Посмотреть на плавающие уборы головные
Оставленные соплеменниками
В старинном порыве

***

Не все берут друг друга просто так
Был взрыв
На оглушительном обломе – мы?
Фаюмский след
Цветы в бетоне
Обвисшие ступени сна
Купеческих садов
Не все бегут
Наездниц соль спросить
И ты как челядь – (с)финкс
Непризнанная сволочь
Дрон на полюс
Суетился, мял, совал
Я милого по котелку узнаю
И белый шёлк в пургу
И праздничную холку в чернозём
Гранитный круг
Контрацептив земных оков
Не все хватают
Я соберу иголки с простыни
Где мы
Друг другу обещаем просто так
А гриб то, член или комета
Заполнит бот фаюмскую анкету
По ту иль эту
Не ведая стыда цветов
И радость просьб
Ликующих портретов
Укутанных в асфальт…

***

Извините, съела ваш быт
Который едва сокрыт
Скорее двинется чашка
Чем кто-то заметит
Палашкину прыть
Простите
Квартира, фаянс, коляска
Дремотных садов пляска
Живёт и не видит смысла конвоир
Суёт свой свет и нежность в сыр
И радужную маску…

***

Прекрати меня
В нужном месте
В нужный час
Carte blanche
Притеку чьей-то иконой
Возлюбив прыжки
Напишу роман
Ко второму сошествию
О душе, жизни, любви, вере, истоме
Надежде
Смерти на четверых
В женском роде
Руки немеют как
Кожа зяблик
И мысли живой как мудрость
О природе, пути
Разлуке с любимой историей
Волоча этот верный бесконечный взмах
С порванной ляжкой
Чтобы когда-то пришла дочь пчеловода
Из ласковой деревни сказкой
С вином и вазой
И мы срок в миг закрыли глаза
Узнали себя
И забыли
О проказе…

СЕМЁН АБРАМОВИЧ

ПТИЦ ЛИХИЕ ДРОНЫ

***

Когда погаснет день,
и спичкой догорающий закат
уступит место месяцу и звёздам,
выходят на охоту фонари
и достают из мглы ночной
обрывки блёклой памяти,
бросая нас в объятия бессонниц;
невольно руки тянутся к перу
и на холстах отбеленных бумаг
рождаются слова,
впитавшие в себя и соки чувств,
и соли откровений.
И нет других ко Господу ступеней
кроме молитв и чаяний души.
И в этой кротко замершей тиши,
где сердца метроном,
где скрип пера негромкий,
где ход часов расслабленно ползёт
по самой кромке
Вселенной…
попущены и мне – страданья и любовь,
и некие келейные мгновенья,
когда угасший день
оставит след в душе,
мечты и вдохновенье…

ОСЕННЕЕ ОТКРОВЕНИЕ

Отчего такая беспросветность,
и тягуч своим томленьем день?
Ночь не в счёт. Её скупая цветность,
сепией преследует, как тень.

В снах живу и радуюсь, и плачу,
в них любви так благодатен свет.
Жаль, что день лишь серым обозначен,
если не считать его рассвет.

Не считать прошедших дней закаты,
изредка зловещие в мазках.
Я по ним шагал с тобой когда-то,
пребывая в неземных мирах…

Только мы и только лик Господень,
и его зеницы в небесах…
Сердце замирало на восходе,
стрелки замирали на часах.

Для меня рожденье дня – надежда.
Отдаю ей целиком себя.
Чаянья янтарные одежды
вперемешку с охрой сентября.

По душе мне корабли в заливе,
призрачно плывущие в заре,
и столпотворенье птиц крикливых,
и прибоя пенное каре.

По душе увенчанный мансардой
дряхлый дом, кошатник во дворе.
Здесь я ощущал себя Икаром
с белым опереньем на крыле.

Книжных корешков разновысокость.
В комнатах несбывшийся ремонт.
Форточка болтается, как лопасть.
Весь в пыли давно просохший зонт.

Отчего вся эта нескладуха?
Вечен сей вопрос. Ответа нет.
Только лишь доносится до слуха
слово незабвенное «рассвет».

В нём вся суть и смысл дня и ночи,
значимость начала и конца.
И душа взлетает и клокочет
криком журавлиного юнца.

Потому иду в рассвет я смело,
для меня иной дороги нет.
Чувствую, что жизнь моя поспела
на одной из голубых планет.

***

В жёлтом мире – ветер в окна.
В сером мире – ливень в стёкла.
И в предзимье, и в преднежье –
вечны поиски надежды.
Больно, трудно – мы не вместе.
В Богом данном перекрестье
помолюсь, сомкнувши вежды,
преклонюсь, подмяв одежды…
Листья клёна ветер вьюжит.
Корабли плывут по лужам
и причаливают к краю
или ада, или рая…
Сжатых рук не разнимаю.
Всё томится, всё рыдает.
И в своём глумленье осень
глаз твоих являет просинь.

Мир кружится по спирали
откровеньями скрижалей.
Просто всё и всё банально –
я в любви живу сакрально.

***

Ветра беснуются, гремят тарелки крыш.
Декабрь компенсирует бесснежье.
Сон крепок в дождь… Покой и безмятежье.
Проснёшься – капли рассекают тишь.
Карниз скребёт акация, как мышь.
Ручьи по стёклам медленны и нежны.
Моря дождей бескрайни и безбрежны,
и сам ты загнан в омут тесных ниш
земного бытия…
Мороз. Молчишь…
В молчанье пестуешь безропотно надежду.
Снежинки белые проносятся как прежде,
в ладони ловит их закутанный малыш…
Ну, разве перед этим устоишь,
когда снежинка вычурная тает?
Была и нет… Сквозь пальцы утекает,
и ты как будто с нею говоришь…
Пока растёшь и над землёй паришь,
с такою болью крылья отрастают,
что в страхе отставания от стаи,
во сне с кровати падая, кричишь…
Обняв тебя, отец прочтёт кадиш[1],
оттает сердце и душа оттает.
– Смотри в окно, забрезжило, светает.
О, сколько ты, сынок, ещё узришь…»
Пройдут года и будет сед «малыш».
Былое в снежной памяти растает.
Как ни крути, а прошлое питает
твою свечу…
Которой догоришь…

[1] Кадиш, каддиш (арам. קדיש – «святой») – молитва в иудаизме.

***

Приходит новый год
и начинается с потерь.
И только так приходит осознанье,
что наша жизнь – адамово изгнанье,
и у неё есть край, и есть конец.
Конечно же, есть и начало,
что болью материнскою кричало,
когда явился Божьей милостью на свет
слуга ваш пишущий…
чик… пуповины нет.
Как ярок свет… бестеневая лампа…
рождения сценическая рампа,
а дальше в путь, в пучину бытия,
где время тикает от января до января,
в водоворот и вечный поиск смыслов,
в игру весов, в качели коромысла,
и вечное искание себя.

Средь отзвучавших дальних и родных,
так много их, оставивших зарубки,
есть те, кто стал причиною побудки,
причиною бессонницы ночной.
И хоть кричи или по-волчьи вой…
А время молча смахивает сутки,
как ветер пыль, припавшую к стеклу,
и ты, до рези всматриваясь в мглу,
желаешь встречи на одну минутку,
пожатия руки, объятия и слова.
Мне память беломраморной основой
дарует редкий миг желанных встреч.
Как дивен мир волнением предтеч –
я окунаюсь в эти волны снова… снова…

***

Токката пасмурного утра.
Стекло. Ручей.
Упали в лужи перламутры
туманных дней.
Осенняя архитектура,
капель, капель…
Прошедшего макулатура,
ведь был апрель…
Непривыканье к новизне –
зигзаг изломов.
И состояние «во сне»,
как боль надлома.
Куда ты катишься, мой век,
сквозь буреломы?
Ведь каждому дан свой забег
и ипподромы.
Я к ленте финишной своей
спешить не жажду.
Успею к стае журавлей
примкнуть однажды.
И будет вспомнить мне о чём
средь райских кущей.
Крылом цепляя окоём
Любви Всесущей.

***

Здесь на птичьем эшелоне
замирает мир в ладони.
Заоконный вечный мир,
Эверест мой, мой Памир.
Над пучками крон зелёных,
птиц снуют лихие дроны.
Бледносерые бетоны
рвут белёсые бутоны,
упираясь в небеса,
с безразличием клинка.
И такая жжёт тоска…

Чуждо и однообразно,
странно, даже несуразно,
век заполненный безумьем,
обращает нас к раздумьям…
Тучи рваны, многотонны,
задевают взгляд, паря,
в середине сентября.
Гладит крыши и дома
новодневная заря.
И, наверное, не зря
эта жёлтая тоска…
Нет, конечно же, не вечны:
дом пустующий скворечный,
беспощадная хандра
и обрывки миража.
Ливни, громы и озоны,
маяка ночные стоны…
всё это – не навсегда.
Город сбросит пыль. И росы
её смоют с плеч колоссов.
На исходе февраля
оживут вновь брашпили,
поднимая якоря…
Ветер гонит,
ветер гонит,
ветер гонит нас в моря…

ГАЛИНА СОКОЛОВА

ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ
рассказ

Запахи детства, как рифы обмелевшего моря
Карен Джангиров

Эти трансферы, паспортные контроли… Право же, я завидую далёким пращурам, которые никогда и никуда не летали. Потому что ещё не выдумали самолёт. Но вселившаяся в меня неожиданная импровизация как-то утром спросила меня: – «Вспорхнули?– Полетели!» – ответила я. И мы взмыли над Атлантикой.

В этом году стукнуло ровно тридцать лет со времени встречи с самой яркой любовью моей жизни. И сколько я не убеждала себя, что «выше лба уши не растут», оправленный в бронзу сплав металла с ртутью заманивал меня в сторону только этого направления. Тем более что из зеркала смотрела на меня, хоть и не салатной зелени, но далеко не жухлая мордашка, ничуть не сраставшаяся с датой моего рождения. Может, сыграл своё соло какой-то градус Венеры (была она как раз ретроградной!), но нечто, не поддающееся анализу, стало вдруг взывать ко мне рядом удивительнейших и совершенно необъяснимых ассоциаций, что и создало эту парадоксальную имманентность. Меня, словно бы заглатывала экзотичная мурена, в тепле пищеварительных соков которой я распахивала себя, как раковина в нагретой солнцем воде. Даже в ритмах местных блюзов я стала улавливать что-то родное, хотя блюз-то уж точно не характерен для моих родных пенатов. Впрочем, все музыкальные экзерсисы – лишь побочные явления чувств, не нашедших словесных форм. Словесных? Ну да, именно так. Только слова нам были ни к чему. Мы и без них сразу поняли, что влюблены. При первом же взгляде на него во мне рассыпался гейзер крохотных искр, а его глаза вспыхнули чёрными звёздами. «Бог не дурак, любит пятак» – говорил он, и мы целовались снова и снова… По «пятаку» каждые пять минут! Между поцелуями я всё хотела понять: огонь – свет, чернота – темень. Столь разное, как соединилось оно в единое? Но ему был 21, мне – 18, и кого всерьёз заботили такие мелочи? Особенно, если учесть, что и говорил он по-русски причудливо. А я – я не ела ничего слаще того арбуза, в алой мякоти которого в тот вечер запуталась луна. Пропахшая водорослями и сетями. Вокруг было небо, полное звёзд. И море. Которое, сыто урча, перекатывало гальку под облепленными моллюсками сваями. И как белобрюхая рыба, качался вверх-вниз понтон. И луна мерцала в алой мякоти и чёрных семечках арбуза.

…Впервые мы поцеловались на третий вечер знакомства. Он улетал домой.

– Приедешь ко мне в начале сентября?

– Как это я возьму и приеду?! – удивилась я. – Что ты дома скажешь, кто я?

– Скажу: **моя** нэвэста! – отчеканил он, и вокруг вдруг цикадами запели разноцветные бабочки.

– …Т-т-так и скажешь?

– Так и скажу. Потому что дастойна! – заявил он, полыхая чёрными кострами глазниц. Я смутилась и неуклюже перевела разговор в струю наших обычных свиданий. Впрочем, целоваться с ним было интереснее, чем говорить – его неслыханный акцент меня всё время умилял. И чтобы сбежать от глазливых прохожих, мы ныряли в парк и ходили, ходили, ходили по аллеям. Мы пересидели на всех лавочках, где малюсеньким кинжалом он выводил на спинках наших сидений наши инициалы «В+А». Буквы были строгими, как солдаты на плацу, и видно их было издали. Так что если кто-то помеченное место занимал, брови его круто сходились – это Наши Сиденья! Сурово и грозно вперивался он в профиль правонарушителя, отчего тот стремительно ретировался.

Впрочем, свободных мест хватало. И он обнимал меня так, что мы слышали пульсацию его и моего сердца. И трепет шальных бабочек, копошившихся вокруг протуберанцами голубоватого магния.

Иногда он приносил «абрикосовую трубку», она называлась дудук. Её камышовый язычок что-то говорил мне тёплым и мягким голосом, от которого замирало и долго держало паузу сердце. Ведь тростник способен говорить человеческим голосом. Уникальную способность абрикосового дерева резонировать

угадали ещё древние мастера Киликийского царства. Об этом он и рассказывал, когда мы не целовались. Выбрав между музыкой и телекоммуникацией второе, он поступил в Одесский институт связи, и всё, что не мог выразить словами, передавал шершавым языком дудука. Наш язык ему давался с трудом. Я уже знала, что у него на родине остались мама, папа и младший брат.

– А чего ты не поступал у себя? – удивлялась я, потому что в нашей консерватории игре на дудуке не учили.

– А как бы я встрэтил тебя? – всерьёз удивлялся он.

Шли девяностые, и все, кто хотел достичь своих Эверестов, сдвинулись с насиженных мест. Дым от их шашлыков и аромат печёной картошки добирался даже ко мне на второй этаж. Соседи вытягивали носы в сторону призывных запахов и осуждающе качали головами – они не одобряли забвения родных палестин и не любили пришлых.

– Я стану мылыанэром, – надменно взирал он на них чёрными провалами глаз. – И за мной будут ехать мотоцыклисты моего кортэжа охраны!

– Миллионером? Тогда идём, мой-будущий Корейко, в кафе-мороженое! – тянула я его за рукав.

– Марожэное хочишь? – спрашивал он. И… мы шли по аллее дальше. Кафе-мороженое оставалось позади.

– Фанту хочишь? – спрашивал он возле ларька со сладостями.

– Хочу, – говорила я, и мы… шли дальше.

– Хочу сладкую вату! – подбоченившись, останавливалась я возле следующего ларька.

– А нэ многа ли ты хоооочи-ишь? – с возмущением в голосе отзывался он. И вёл меня к кособокой будочке газ-воды. – Два. БЭЗ газа…

Но он был так чертовски красив, что мы снова целовались.

Сейчас мне казалось, что всё это время у нас был просто один долгий поцелуй, который и притянул меня сюда. Ведь, как сказала моя подруга Вита, у нас в гороскопах совпадали какие-то роковые градусы Венеры.

– А ты видела наше самое главное озеро? – спросил он, как всегда тщательно подбирая слова.

– Нет! – тряхнула я чёлкой, исследуя золотую витель дудука – ничего подобного раньше видеть мне не довелось. И, конечно, я ещё не была ни на каких озерах. Как не видела и Тадж-Махал, и Монмартр – стотридцатиметровый холм на севере Парижа и древне-римского поселения. Я тогда, кроме нашего моря, ничего и не видела!

– Наш прародитель Арий Аяк, внук Ноя, нарисовал нам границы, – сообщил он, вглядываясь куда-то поверх меня, и мне показалось, что те озёра синеют прямо над моей головой. – Когда мы поженимся, я покажу тебе наши горы. И города из розового туфа. И все наши земли до самого Средыземноморя. Толка теперь их уже отняли… – лицо его стало точь-в-точь, как на тех мозаичных росписях, что однажды он показывал мне в книжке – его мать была журналисткой и часто публиковала очерки о своём народе. – Но по теории струн энергия рождает массу. Когда будет критычный прэдэл … – он плотно сжал губы и посмотрел на меня, будто из глубины пещер. Мне даже почудились звуки рога, собирающего рать его соплеменников. Я невольно поёжилась: он для меня был сложен. Я не врубалась в то, что он говорил, а его плотно сжатые губы меня пугали. Он походил на реликтовую птицу. Или какого-то зверя с длинным клювообразным хоботком – я видела такого на страницах энциклопедии. – Озёра наш сыний-сыний, – добавил он с непонятной интонацией мировой скорби.

– Как это? – указала я на сквозящую в верхушках деревьев голубизну.

– …Они, как твой глаза. У тебя лицо, как аквариум, – махнул он головой через минуты три, когда у обоих заболели губы. – Наш озёра чтыл ещё дрэвние! Прэдставляешь?!

Я не представляла. И заглядывала вниз со страхом и любопытством. Он мне казался взрослым и очень умным. Потому что… Ну да, разве дурак отправится искать счастья в чужих краях? Такое впору лишь богатырям! Или царям. А дурак уж точно не станет миллионером!

– Клянус! – прорычал он заклинательным тоном.

– Ага! – спряталась я у него под мышкой от вдруг набежавшего дождя. Весёлый и рясный, он сказал по лужам так радостно, что, когда снова выглянуло солнышко, над нами висела огромная радуга-дуга. Она раскинулась огромным коромыслом, которым когда-то наши прабабушки носили воду. – Загадываем желания! – кинулась я на колесо обозрения. И когда нас вознесло на самую его вершину, мы окунулись в невероятно-густую лилово-розовую хмарь, – и руки, и лица, и волосы наши засверкали мельчайшими капельками цветного бисера.

– Пусть он станет миллионером! – запрокинув голову, прокричала я.

– Пуст, – молитвенно поднял он сложенные ладони, превратившись в один из автопортретов Сарьяна. А что он при этом загадал, я не спросила. Желания не стоит озвучивать. Эти тайны знают лишь солнце и море – тёплое, как материнская утроба. Но они их угадывают без слов.

Молодая любовь, что молодое вино. То ли какая-то ссора, то ли ещё более яркая новая влюблённость подвела черту под нашими встречами. А может, просто закончились каникулы, и я вернулась в свой Киев,

где мне выпал выигрышный билет продолжить учёбу в Америке. Диплом, потом работа… Работа, работа… Это своего рода культ, который исключает какие бы то ни было алхимические процессы. Она их просто выхолащивает. Работа в Америке – тот стержень, который держит на плаву и человека, и, наверное, мир.

И вот я еду по раздолбанным авеню своего города. Был он тот и не тот. Он производил впечатление рацио-метаболизма, усиленного мощными динамиками чёрно-лаковых машин, за спущенными стёклами которых угадывались люди уже знакомой мне восточной внешности. Угрюмый паренёк-таксист тоже оказался нездешним, он приехал откуда-то из западных областей и в навигаторе разбирался примерно, как я бы в нерусской вязи. Разрекламированный «Арк-спа Палац», где я заказала номер, тоже оказался довольно нелепым строением из чёрного стекла и бетона. В связке с руинами сецессион-ампира всё это мало напоминало мне радостный город моей ушедшей юности.

– У вас полулюкс №9. Четвёртый этаж, – отрапортовала моя ровесница, с очаровательной улыбкой вручая мне вожделенный ключик. Я давно горела желанием сбросить дорожную попону и наконец-то нырнуть в пенную ванну, традиционно сопровождающую все мои путешествия. И, вдыхая аромат свечей (я их привезла с собой!), попивать у камина глинтвейн. Дома я сочиняю его сама: на бутылку хорошего красного вина пару звёздочек бадьяна пополам с корешками имбиря да чуток кардамона, плюс тройку бутонов гвоздики, душистый перец, мускатный орех, что ещё?… Ой, пол-лимона забыла! Горячий глинтвейн – верх блаженства, когда на улице минус! На сей раз в Украине выдалась жутко холодная весна. Конец марта, на носу Пасха, а тут всё ещё дубак. Может потому, что год соответствовал всё той же девятке (две его последние цифры 1+8 в сумме давали девятку), а она – число реверсное, перевёртыш, знак неожиданно явленной сути.

Короче, я даже не стала раздумывать над несоответствием погоды с понятием «юг». У нас ведь тоже бывает мерзейший холод до апреля.

– Какой камин?! – дежурная по этажу вскинула густо прорисованную полоску над глазной впадиной и принялась хмуро менять постельное бельё. – Камин в полулюксах не предусмотрен. Вот если вам понадобится раскладушка… – она озабоченно примерилась к помещению. Место было разве что на балконе. Летом. А вместо ванной – душевая кабина. И нерабочий электрочайник. На холодильнике.

Умные люди говорят: «Без надобности не рискуй». В отличие от меня, они заранее просчитывают возможные потери. Я же только сейчас осознала, в какие муки мне обойдётся этот вояж: здесь даже почки не набухли – морозы грянули буквально за неделю до моего визита.

А он узнал меня сразу, словно у нас и был назначен созвон на сегодня.

– Вера? – спросил в трубке голос, который я сразу узнала.

– Да, это я, – поразилась я неправдоподобности происходящего – люди ведь, как море, они изменяются даже за мгновения. А тут прошло тридцать лет! Впрочем… У меня есть подруга Анжела, весной она впервые за тридцать лет увиделась со своим первым мужем. Болгарин-муж отвёз её на чёрном лимузине в самый романтичный ресторан Одессы, и там, над морем, за бокалом шампанского, сказал ей: «Любил, люблю и любить буду». И пригласил встретиться следующей весной в Венеции. «Теперь так будет и у меня!» – ликовала я, бросив критический взгляд в зеркало. Недорогая бирюза когда-то подаренных им серёжек спускалась на шею, увитую золотой монограммой с моими новыми инициалами «V.R.». А браслет, который он вручил мне незадолго до нашего расставанья, соседствовал с пятикаратным перстнем, купленным мной **самой** уже на первую зарплату, и с «Hublot», подаренным мужем – он увидел их рекламу на футбольном матче и купил: одни мне и одни себе. Вообще-то, у нас в такой экипировке я бы не рискнула куда-то пойти – американки приветствуют в основном спортивно-деловой стиль. Зато здесь это сразу установит грань между мной вчерашней и мной сегодняшней. Тогда-то мы были нищими студентами, а сейчас как-никак я побывала чуть ли не на всех океанских островах. И этой осенью собираюсь на остров Реюньон! На всякий случай я сняла обручальное кольцо – зачем акцентировать внимание ещё и на семейном статусе.

– Я ждал, я всё время ждал тебя! – гортанным клёкотом оповестил он телефонную сеть. В этот раз в голосе его не было даже намёка на акцент, лишь знакомые интонации. И звучали они почти как Анжелино: «Любил, люблю и буду любить!».

До назначенного времени оставалось ещё минут пятнадцать, когда я вышла из дверей отеля – хотелось на мою первую любовь взглянуть первой. Ещё до того, как он увидит меня. Но в ту же минуту заскрипели тормоза, и с криком: «Вера!!!» – навстречу мне кинулся седоватый лысеющий человек в фиолетовой пиджачной паре (такие носили ещё в дни моей юности).

– Здравствуй, Вера! – споткнувшись о бордюр, задержал он мою ладонь в своей: – Какая ты красивая, Вера! – и распахнул передо мной дверцу… пошарпанной старой «Тойоты».

– «Минус лимузин!» – разочарованно отметила я, разглядывая его лицо, как бы прикрытое лёгкой паутинкой. Почему в моём воображении он казался моложе? Ну что ж, ведь «Мир нам не дан, а только кажется», – вспомнился афоризм кого-то из древних.

– Если чего-то очень ждёшь, оно обязательно сбудется! Таков закон! – сказал он, глядя на меня восторженно.

– Теории струн?– улыбнулась я.

– И струн тоже, – даже не взглянув ни на мой перстень, ни на монограмму, одобрительно скользнул он взглядом по серёжкам и браслету. И, объявив: – Это тебе! – торжественно, как если бы преподносил миллион алых роз, сунул мне в руки горшочек цикламена. Его гордый носатый профиль снова напомнил то ли доисторическую, то ли существующую поныне птицу, названия которой я забыла. – Сейчас мы отметим, – поглядывая на меня с зоркостью микроскопа, радостно объявил он и притормозил… возле гастронома «АТБ». Взял бутылку « Артёмовского» (я предпочла бы «Dom Perignon». Или «Veuve Clicquot Ponsardin». И вообще, зачем нам магазинное, если мы едем в ресторан?!).

Он снова завёл машину и повернул к морю. «Так едем в самый романтичный?» – заскакала в голове мысль. Пожалев, что не надела вечернее платье и ботильоны, я разглядывала невзрачные строения – всё вокруг было каким-то грошовым. «Интересно, где же здесь хороший ресторан?» – крутила я головой, пытаясь угадать в заурядных фасадах богатое внутреннее содержание. Однако ссутулившиеся от ветра деревья мало напоминали прежние, а третьесортные забегаловки и вовсе казались как бы из негритянских кварталов начала прошлого века. Впрочем, наше Колесо стояло на том же месте, да и облупленные лавочки не поменяли дислокации.

– Отметим нашу встречу! – возбуждённо петлял он по хмурым аллеям (разъезжать тут было не положено). – А ёжика, ёжика помнишь? Я нашел его под вон тем кустом, – то и дело оборачивал он ко мне своё лицо в раннем оливковом загаре. – Помнишь ёжика? А радугу? Радугу помнишь? Какая радуга была, какая радуга, Вера!

Он припарковался возле скамейки, откуда прорисовывалось туманное море и чайки. Прапрадеды этих прожорливых существ пережили мезозой и носились теперь в ожидании халявных кусочков.

– Чего ты стоишь, Вера! Присаживайся, – подбодрил он меня, примеряясь к бутылке и доставая из багажника два пластиковых стаканчика. Это была совсем не наша скамейка. Растерянно потоптавшись, я села. Нас обтекали прохожие, с явным любопытством поглядывая на не пионерского возраста даму в вечерних побрякушках и видавшего виды абрека с бутылкой в руках, которую он протёр ветхим платочком с вышитыми в углу вензелем. Вызвав всполошённый сорочий стрёкот, пробка с шипеньем бахнула, и над моей головой, чуть не задев меня крылом, метнулась взлохмаченная галка. Еле удержав равновесие, я отшатнулась. Было бы забавно ещё и брякнуться. А он сыпал и сыпал воспоминаниями. Наверное, в другой обстановке это слышать было бы приятно – за прошедшие годы меня забыли даже многие одноклассники. Пожалуй, я бы тоже купалась в его восторге, и во мне трепыхнулась бы та самая голубая бабочка, заблудившаяся, но всё ещё живая. Но сероватое пространство, дышащее в береговой оправе, не располагало к романтике: ветер хлестал моросью, а облезлая от времени скамейка местами была надломлена, приходилось не забывать об этом.

– Я часто вспоминал тебя, Вера! – сверкал он факелами глаз, повергая меня во всё большее уныние – не такой я представляла нашу встречу. – Если бы я знал, где искать тебя, я бы давно нашёл!

– Зачем? – машинально спросила я, задаваясь внутри себя вопросом другого порядка: зачем мне вообще было лететь в этот промозглый город? И зачем мне этот человек из прошлого?

– Как зачем?! – от неожиданности он даже замер. И уставился на меня недоумённо и обиженно. – Ты моя любовь, а *я однолюб*, Вера. – Выпьем за этот момент! – поднял он бумажный стаканчик. И что-то стал говорить снова, хотя ветер уносил половину слов, низводя диалог до чего-то вовсе необязательного. По сути, мы повторяли всё ту же историю, облупившуюся от времени, как эта скамейка. Но он помнил даже цвет моих босоножек!

– А на дудуке играешь? – в сетях дежурной схемы я путалась между попыткой понять его, сегодняшнего, и острым желанием оказаться дома, в тепле. Он посмотрел с обидой.

– А что бы они дали мне сегодня, эти дудук и связь?

Его глаза приблизились, превратившись в один тёмный провал.

– А помнишь, помнишь, как мы целовались? – он спросил это таким страстным шёпотом, что нечто мощное и древнее, как палеолит, накрыло меня с головой, заставив кого-то внутри меня ойкнуть и схватиться за сердце. Но… Скамейка была жёсткой, стаканчик – одноразовый бумажный, в пене его мелькали какие-то красные нити.

– Из этих стаканчиков уже кто-то пил! – решительно отвела я его руку. – Нет-нет, я ополоснул шампанским, – успокоил он меня и выпил первым. Оставив во мне чувство неловкой пустоты – мы жили каждый в своём измерении. В моей Вселенной были Мерседесы, Карибы, стерильность. В его – эта странная дикарская свобода от условностей. И застывшие воспоминания.

– Ты так и не стал миллионером? – кутаясь в шарф, спросила я, глядя, как лопаются в стаканчике пузыри.

– Ещё нет, – сказал он угрюмо. – Но… Я же как крот, Вера. Я всю землю прорыл вот этими лапами и носом! И уже кое-что в этой жизни значу! – дыша на ладони, я спрятала улыбку, – его крупный носхоботок вместе с серой шёрсткой на проредевшем затылке навели меня на мысль о реликтовом зверьке из семейства кротовых. – Да-да, Вера! Знаешь, какую взятку надо дать, чтобы в Аркадии поставить хотя бы самую завалящую будочку? – гневно полыхнул он на меня глазами. – Не знаешь? Так я скажу: пятьдесят тысяч баксов! Пятьдесят! – он сделал длинную паузу, оттеняя то, что скажет далее, и выкинул всепобедный козырь: – А у меня сеть магазинов. И квартира на два этажа. И дети учатся в юракадемии. И Арсен – их крёстный отец. Ты в курсе, о ком я говорю? – он посмотрел на меня гордо, как именинник. Вероятно, по-своему он был даже реалистом, только реальность его была совсем другого порядка. Я утвердительно махнула головой – мы были из разных Вселенных. Вступив с ним сейчас в полемику, мы, наверное бы, просто сшиблись башками.

… Доставший меня холод окончательно сузил размеры мира, в котором всё это время жил каждый из нас. И, разглядывая хоботок с воинственно взметнувшимся хохолком на голове, я думала, что, пожалуй, не без причины русского выхухоля занесли в Красную книгу. Во всей этой странно-экстравагантной полифонии мне показался абсолютно чуждым человек, которого, по сути, я и раньше-то не знала.

– Я – однолюб, Вер-ра! – высасывая из бутылки остатки шампанского, повторил он, снова приблизив ко мне лицо с полыхающими зрачками. – Тойота – моя первая машина! Сейчас у меня парк машин, а я езжу на этой! – Да! И буду ездить на ней, пока она не откинет копыта! Или не откину копыта я! – он умолк, и веки его прикрытых глаз слегка подрагивали. («Любил, люблю и буду любить! – вспомнила я Анжелу).

Ветер усилился, метнув в нас пригоршню холодных брызг, и я поднялась со скамейки первой.

– Э-эх, Вера…– произнёс он горестно. – И резко газанул, вглядываясь в ветровое стекло. – Две параллельные прямые либо расходятся, либо пересекаются. Толка я так скажу, – бросил он вдруг с прежним акцентом. – Эсли даже пэресэкутса, они друг к дружке будут, как прошлогодный снэг… к игре на дудуке…

Вечером, напрочь забыв о недавних неудобствах, я воспела осанну всем парилкам мира, кружа по «Арк-спа» из финской, в русскую, из русской – в японскую, а оттуда в снежную комнату и в баню Гиппократа. И поняла одну истину: прошлое – всего лишь ступенька к будущему. Да и будущее – «сегодня», в котором надолго задерживаться тоже не стоит. Никто не в ответе за качество твоей жизни, кроме тебя. И с наслаждением примеряя на себя разные национальные традиции, я кидалась то чуть ли не в кипяток японской фурако, то в клубящийся пар хамама, где мою кожу растирали турецкой рукавицей. А в римских термах я ощутила себя даже женой Клавдия и матерью Нерона. Мы ведь всегда где-то там, а не тут. Жизнь – шаткий узкий мост. Главное – не останавливаться. А здешние морс и квас мне совсем не по нраву. Да и кофе после парной вредно, хотя кальян… Кальян очень даже ничего…

Утром я улетела домой. Я надеялась, что он предложит меня проводить, но он просто пожелал мне приятного пути. Через мессенджер.

По возвращению мы с мужем пошли в самый блистательный ресторан города, на 23 этаже Дэниэлса, и отметили двадцатилетие нашей встречи в Америке. Счёт оказался на 528 долларов. «А нэ много ли ты хо-о-очишь?», – хихикнула я, оставляя официанту Айвену двадцать процентов чаевых – он пошлёт их родным на мою родину. Туда, где тридцать лет думал обо мне **он**.

…На Новый год я его поздравила, но он не ответил. Лишь гиацинт в горшочке отчаянно вспыхнул лиловой головкой. И выбросил новый росток.

ГАЛИНА КОРОТКОВА

БИЛЕТ ДО КАРТАХЕНЫ
рассказ

Тот, кому довелось хоть раз побывать в Индии, наверняка заметил странную особенность этой страны: время от времени на глаза попадаются… двойники. Помню, что я испытала настоящий шок, когда неожиданно обнаружила на пороге своего дома ни много ни мало, а самого Александра Калягина. Правда, знаменитый актёр был в белоснежных шароварах и шлёпанцах на босу ногу. Это оказался сосед-индус с верхнего этажа, который любезно принёс пластмассовый автомобиль, забытый моим сынишкой в песочнице детской площадки. Дальше – больше! Смуглый торговец овощами в лавочке на углу – вылитый Вячеслав Тихонов в роли Штирлица. А случайный знакомый на каком-то мероприятии – загорелый клон Фёдора Бондарчука. Всех не перечесть. К этой ситуации довольно сложно привыкнуть. Тут главное – правильно себя вести, особенно, когда сталкиваешься с двойником близкого друга или родственника. Не следует кидаться на шею и уж тем более разглядывать человека в упор. Не пугайте незнакомца! Он не виноват, что похож на вашего приятеля. Хотя меня всегда забавляла мысль о том, что где-то на другом конце земного шара наверняка бродит особа женского пола, как две капли воды похожая на меня…

В тот год я часто ездила по делам в Нью-Дели. Занудность индийских бюрократов известна на весь мир, поэтому свободного времени у меня было предостаточно. Сдав документы в очередное министерство, я решила съездить в Красный Форт – грандиозное творение Шах-Джахана, пятого императора из династии Великих Моголов. Это он построил в городе Агра мавзолей для своей любимой супруги – знаменитый Тадж-Махал. Осмотрев мощные стены и бастионы, я заглянула в огромный ров, окружающий крепость. Говорят, во времена императора там плавали крокодилы! Полюбовавшись резными мраморными пилястрами и ажурными решетками, я захотела присесть и передохнуть. Полуденное солнце начало отчаянно припекать. В поисках свободной скамейки я отправилась бродить под сводами длинной каменной галереи и неожиданно нос к носу столкнулась с Денисом, бывшим одноклассником и другом детства. Я инстинктивно шарахнулась в сторону и поспешно спряталась за колонной. Первой мыслью было: кто это, чёрт побери?! Банальный двойник? Призрак из прошлого? А может, из-за жары у меня случился солнечный удар и поэтому мерещится всякая ерунда? Ведь к тому моменту Денис уже лет десять как лежал на Втором христианском кладбище в Одессе.

«Без паники», сказала я себе и машинально полезла в сумку за сигаретами. Вытаскивая зажигалку, неприятно удивилась своим дрожащим пальцам. Всегда считала себя человеком здравомыслящим – с духами общаться не умею, в потусторонний мир не верю. Бред какой-то! Я зажмурилась. Воспоминания накрыли меня душным облаком.

В детстве наши семьи жили в огромной и шумной одесской коммуналке. Мы с Денисом ходили в одну группу детского сада, все десять школьных лет сидели за одной партой. Он таскал мой портфель и писал мне шпаргалки по химии. Защищал от дворовых хулиганов, учил плавать и кататься на велосипеде. Мама отпускала меня с Денисом куда угодно хоть до утра, «потому что ребёнок будет под присмотром»! Это он уговорил моих родителей разрешить мне уехать учиться в Москву. Он был моим самым близким другом. Нет! Он был моим старшим братом, товарищем и учителем. Суровым, но справедливым. А ведь он был всего на двадцать минут старше меня!

Согласно семейному преданию, в ту далёкую февральскую ночь наши мамы как по команде собрались рожать. Отец Дениса был в рейсе и уже полгода находился на своём китобойце где-то в районе экватора. Но мой папа не растерялся. Схватив в охапку обеих охающих и стонущих женщин, он потащил их в роддом, находившийся в двух трамвайных остановках. Вызвать такси или скорую по тем временам было крайне затруднительно. Единственный телефон в будке на углу не работал, а на улице мела метель. С годами эта история обросла удивительными деталями и яркими подробностями. Как они встретили по дороге военный патруль (их путь лежал мимо штаба военного округа и госпиталя). Нет, конечно же, это был не патруль, а шайка весёлых гоп-стопников с Молдаванки. Видимо, со стороны их странная

троица смахивала на засидевшуюся в гостях изрядно хмельную компанию. Быстро разобравшись в ситуации, профессиональные любители чужих кошельков мгновенно сориентировались, раздобыли где-то санки, аккуратно усадили в них наших будущих мам и с залихватским гиканьем и свистом понеслись по улице. А мой папа, человек суровых атеистических взглядов, бежал следом и громко молился, чтобы на очередном повороте санки не перевернулись…

В «лихие девяностые» Денис создал успешную и невероятно прибыльную фирму. А через несколько лет средь бела дня его вместе с партнером по бизнесу взорвали в огромном чёрном джипе на глазах у многочисленных прохожих. Убийц так и не нашли. Обычная по тем временам история.

Пальцы отказывались слушаться, и я никак не могла раскурить сигарету. Услышав за спиной тихие шаги, резко повернулась…

– Привет!

Стройный и загорелый, он стоял передо мной, сунув руки в карманы серых парусиновых брюк.

– Вот уж не ожидал встретить тебя здесь!.. Ты совсем не изменилась!

Знакомый до боли голос звучал с лукавой усмешкой. Меня охватил ни с чем не сравнимый ужас. Захотелось развернуться и броситься прочь.

Но тут в галерею зашла шумная группа подростков во главе с солидной матроной в белоснежном сари. Замедлив шаг, школьники притихли и принялись с любопытством нас разглядывать. Воспользовавшись моим замешательством, Денис решительно протянул мне руку и сказал:

– Знаешь, я брожу здесь уже битых три часа и изрядно проголодался! Составишь мне компанию?

У него были тёплые сильные пальцы. У призраков таких не бывает. Убежать не получилось. Я покорно поплелась рядом.

На стоянке его ждал автомобиль с водителем. Когда мы сели на заднее сидение, мой спутник с улыбкой признался:

– Я приметил тебя ещё при входе в Форт. Сначала думал, что ошибся, и не решился подойти сразу…

– Прости, так неожиданно… Вот уж не ожидала! Откуда ты и где был все эти годы?

– Долгая история. Давай сначала выпьем за встречу.

Видимо, в глубине души я всё ещё не верила, что передо мной действительно мой друг детства, поэтому в ресторане засыпала его вопросами. Но Денис с удовольствием включился в игру.

– А помнишь, – говорила я, – как вместо контрольной по алгебре мы всем классом сбежали на море?

– Ещё бы! Пляж Отрада, конец апреля, вода ледяная. Я тогда заболел жутким бронхитом, и твоя мама ставила мне горчичники и заставляла пить микстуру со смешным названием «Капли датского короля».

– А помнишь, как ты учил меня кататься на велосипеде?

– …ты орала как ненормальная…

– …но я всё равно умудрилась упасть и…

– …у тебя остался шрам на левой коленке!

Денис отвечал, не задумываясь. Было очевидно, ему доставляет удовольствие наполнять свой ответ множеством смешных подробностей и отпускать шуточки, понятные только нам двоим. Но идеальное совпадение деталей нашего общего чудесного и незабываемого детства всё равно не избавило меня от чувства нарастающего беспокойства. Это как медленно карабкаться вверх по склону горы туда, где слышен грозный рокот бушующего моря. Но добравшись до вершины, с ужасом понимаешь, что нет никакого моря. Ты стоишь у самого края пропасти, а внизу чёрная бездна.

Наконец Денис сам задал вопрос, которого я очень боялась:

– А помнишь, как ты чуть не утонула?

Я глубоко вздохнула, быстро отвела глаза и попыталась изобразить на лице что-то вроде: «Ах, прости, запамятовала!». Видимо, получилось плохо, потому что, когда я вновь взглянула на Дениса, он смотрел куда-то поверх моей головы с каменным, абсолютно бесстрастным лицом. Его выдали только пальцы – знакомый с юности жест: он словно катал между большим и указательным пальцем невидимую горошину.

Тот, кто вырос в прекрасной стране под названием в СССР, помнит, какими потрясающими были летние студенческие каникулы! Кто-то ехал в стройотряд, кто-то ходил в турпоходы по горному Крыму, кто-то отправлялся в археологические экспедиции раскапывать степные курганы, или ехал собирать фольклор в северные деревни и на Урал. Я же как сумасшедшая неслась домой, потому что на берегу моря меня ждал Денис. Тёплая как парное молоко вода, мидии, которых мы ловили и пекли на костре, разложив их на обломках красной марсельской черепицы, и огромный бархатный свод ночного южного неба с мерцающей россыпью звёзд…

«Посмотри, вон Полярная звезда. В древности моряки называли её Золотой гвоздь. А вон Альдебаран – ярчайшая звезда в созвездии Тельца…».

Денис учился в мореходке, мечтал стать капитаном дальнего плаванья и серьёзно увлекался астрономией.

…Тем летом в нашей компании появилась Анжела. Гибкая, зеленоглазая, с ярко накрашенными губами и копной иссиня-чёрных волос, эта девочка тут же получила кличку Мамба. Она и вправду напоминала маленькую ядовитую змейку. С её появлением в нашей дружной компании что-то треснуло. Сначала начались вспыхивать мелкие ссоры, а весёлые приколы незаметно перешли в достаточно жёсткие, а порой и жестокие розыгрыши.

В тот вечер Денис был явно в ударе. Свежий морской бриз, канистра сухого домашнего вина, которое все пили стаканами, тревожное предчувствие надвигающегося шторма и стихи. Денис читал их, не отрывая взгляда от Анжелы.

…Прекрасно в нас влюблённое вино,
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
И женщина, которою дано,
Сперва измучившись, нам насладиться…

Анжела громко хохотала, висла у Дениса на шее, а потом и вовсе увела его в прохладную темноту, туда, где на склоне чернели заросли дикой маслины. Мне вдруг стало душно. На глаза навернулись слёзы. Появилось лихорадочное желание что-то немедленно сделать – влезть на дерево, прыгнуть с обрыва… лишь бы никто не увидел, что я плачу! Я вышла на пирс, разбежалась и прыгнула в воду. Меня подхватила волна и с размаху швырнула прямо на обросшую острыми ракушками деревянную опору. Грохот прибоя в ушах и странное чувство падения в бездну – это всё, что я помню.

Женщина с длинными очень светлыми волосами заставила меня выпить кружку крепкого сладкого чая и, наклонившись, тихо прошептала с лёгким акцентом:

– Глупая девочка, ещё не родился мужчина, который стоит наших женских слёз. Запомни, самый главный орган в любви – это мозг!

Как оказалось, это была туристка из Риги. Палатки их группы стояли на песчаном пригорке недалеко от нашего пляжа.

Моё сердце было разбито на множество крошечных колючих осколков. Оставшиеся две недели каникул я провела у маминой подруги в Измаиле. Больше мы с Денисом не совпадали ни во времени, ни в пространстве. Он на полгода уходил в рейс, а я на всё лето уезжала на практику. Мы даже не пытались встретиться. Полагаю, с его стороны это было банальным малодушием. Что же касается меня, то в какой-то момент я поняла, что не смогу просто обнять его, как раньше. Нашу коммуналку вскоре расселили. Жильцы разъехались по спальным районам. Городского телефона в новой квартире у нас не было.

Официант принёс большое блюдо тигровых креветок.

– Ты так и не рассказал, где все эти годы ты… – я хотела сказать «прятался», но неожиданно поперхнулась, и вопрос повис в воздухе.

– Вот уже десять лет как я живу в Картахене…

– Это где-то в Испании?

Денис отрицательно покачал головой. Наверняка, он долго тренировался, чтобы с таким холодным спокойствием смотреть собеседнику прямо в глаза.

– В Испании меня бы быстро нашли и порвали на куски. Моя Картахена в Колумбии – это Южная Америка. Замечательная страна, которая не выдаёт ни сбежавших серийных убийц, ни проворовавшихся у себя на родине банкиров. Гражданство и убежище можно получить, инвестировав некоторую сумму денег в бюджет. Сейчас у меня есть всё, что нужно для спокойной жизни – дом на берегу океана, повар-китаец и яхта для рыбалки…

Что такое «финансовая пирамида», знают все. Но Денис придумал совершенно уникальную и плохо понятную для непосвящённых схему. За такое в XIX веке коллеги-шулера били канделябром по голове, царь-батюшка отправлял на пожизненную каторгу, а в Союзе расстреливали.

– Это было изящно и очень просто, как всякое великое жульничество, – не без гордости сообщил Денис.

В какой-то момент они с напарником вдруг поняли, что не могут остановиться! Денег было так много, что их приходилось складывать в пакеты и мешки для мусора и вывозить в гараж. Когда и там не осталось места, пришлось арендовать подвал в соседнем доме, потом склад столярного цеха за городом…

– Мой партнёр оказался человеком без воображения, – пожаловался Денис. – Когда я сказал «Хватит!», он только разозлился. Начал кричать что-то про фарт, что денег много не бывает и так далее. У меня же в душе с каждым днём нарастала тревога. Было ощущение, что я попал в мышеловку, дверца которой может захлопнуться в любой момент. Это было невыносимо, и я решил выйти из игры.

– Как же тебе удалось выкрутиться?»

Помолчав, Денис, наконец, ответил:

– Всё очень просто. Деньги вывел в офшоры, загранпаспорт на другую фамилию подготовил заранее. Отпечатки пальцев тогда не требовались. Я заказал два билета до Праги. Оттуда мой партнер собирался улететь в Лондон. У меня же был забронирован билет до Картахены. Но за день до вылета поступил очень выгодный контракт. Партнер не видел смысла отказаться. Мне было сказано: лети один, встретимся в Праге через три дня! Я ждал его в гостинице неделю. Остальное ты знаешь без меня.

Денис жестом попросил официанта убрать блюдо с креветками. Мы к ним так и не притронулись.

– Кто же тогда оказался в машине вместо тебя? Ведь на нём была твоя куртка…

Я хотела задать совершенно другой вопрос. Но у меня не повернулся язык спросить: «кого похоронили в закрытом гробу вместо тебя, Денис, и кого все эти годы так горько оплакивали твои родители?».

А Дениса ужасно заинтересовал букет нежно-розовых орхидей на соседнем столике. Вот так, пристально рассматривая цветы, он мне ответил:

– Я решил, что дорогую кожаную куртку жаль выбрасывать. В тропиках она мне совершенно ни к чему. Я подарил её нашему водителю…

– Скажи, все эти годы тебе не хотелось увидеть родителей?

Денис опять принялся катать пальцами невидимую горошину. Когда наши взгляды опять встретились, его лицо выражало безмятежное спокойствие:

– Я для них давно умер. Зачем ворошить прошлое?

Наступила долгая и мучительная пауза, во время которой Денис продолжал катать свою проклятую горошину, а я никак не могла подобрать нужные слова, чтобы коротко сформулировать одну простую мысль:

«За всё золото мира не купишь возможность обнять отца и поцеловать руки старенькой мамы. Хотя о чём это я? Как сказал один небезызвестный персонаж: „Ты хочешь, чтобы я поменял деньги на какую-то любовь? Не смеши меня!“».

Наше молчание прервал официант. Он принёс десерт. Денис заметно оживился.

– Слушай, что это мы всё обо мне, да обо мне? Давай, рассказывай, как ты очутилась в Дели, чем занимаешься?

– Не переживай, я всё тебе расскажу. Вот только схожу, носик припудрю…

Сделав вид, что не знаю, где дамская комната, я подошла к метрдотелю и шёпотом спросила:

– Скажите, здесь есть ещё один выход?

Ни один мускул не дрогнул на смуглом лице индуса:

– Мэм-сахиб хочет незаметно уйти? Следуйте за мной!

Меня провели в соседний зал, а затем через кухню вывели в узкий переулок.

– Стоянка такси за углом, если мэм-сагиб желает…

– Благодарю вас!

Я сунула индусу честно заслуженный бакшиш и быстрым шагом устремилась по переулку туда, где в пёстрой восточной толпе так легко затеряться. Уже сев в моторикшу, обнаружила, что в моей голове вертится только одно слово: куртка… куртка… куртка. Вспомнила! При осмотре места трагедии в куртке Дениса нашли не только паспорт, но и ключи от квартиры, несколько кредитных карточек на большую сумму денег и билет до Стамбула. Документы почти не пострадали. «Надо же, как удачно получилось!» – цинично заметил тогда следователь.

…Моторикша стремительно мчал меня прочь от моего прошлого. На город тем временем стремительно надвигалась душная тропическая ночь. Темнота удивительным образом изменила окружающее пространство. И звуки, и запахи и даже мерцающие огоньки керосиновых лампочек в крошечных лавочках вдоль дороги обрели совершенно необыкновенное почти таинственное очарование, словно иллюстрации к сказкам из «1001 и одной ночи»… Дай Бог памяти, как там сказано?

«…Ты можешь найти страну для себя другую,
Но душу себе другую найти не сможешь!»

Признаюсь честно – мне дальнейшая судьба Дениса совершенно не интересна. Правда, однажды мне приснился странный сон. Огромная штормовая волна выносит на своём пенном гребне полузатопленную яхту со сломанной мачтой. Денис пытается отчаянно уцепиться за носовой рейлинг. Ещё мгновение и его смоет за борт. А в туманной дымке на горизонте медленно тают огни далёкой Картахены.

ГОЛУБЧИК ДЕДУШКА
рассказ

Если кто-то наивно полагает, что тропики – это рай для садоводов и огородников, то ошибается самым трагическим образом. В Индии, к примеру, полгода льют жуткие муссонные дожди, которые местные жители называют «мансун». Остальные полгода стоит пыльная засуха. Вот и получается,

что сначала нужно спасать растения от обилия осадков, а потом усиленно их поливать, чтобы не дай бог не засохли. Добавьте к этому полное отсутствие пригодной к земледелию плодородной почвы. Нет, земля в Индии имеется, но это в основном мелкая галька, смешанная с ярко-красной глиной. Или всё та же галька с примесью мелкого как пыль серого песка. О природных чернозёмах в Индии никто даже не слышал. Почву для растений здесь готовят самым тщательным образом, перемалывая траву и ветки, добавляя буйволовый навоз и всевозможные удобрения. Такие плодородные клочки тщательно огораживают и стерегут от посягательства наглых ворон, хитрых обезьян и, конечно же, священных коров. Последние шастают где вздумается, с наглой бесцеремонностью ломятся на импровизированные грядки, как к себе домой. Наевшись до отвала, укладываются прямо на скудные остатки растительности. Словом, ведут себя нахально и бесцеремонно, как настоящие разбойники. Может быть, поэтому садоводы и огородники – невероятно уважаемые в Индии люди.

Близкое знакомство с одним индийским садоводом произошло у меня совершенно случайно. В середине 80-х я трудилась переводчиком на строительстве металлургического завода в индийском штате Бихар. «Комитет по Экономическим связям», существовавший в те времена в Советском Союзе, строил в так называемых развивающихся странах плотины, заводы, морские причалы и другие полезные объекты. Дело это было довольно хлопотное и дорогостоящее, но чего не сделаешь ради распространения светлых идей социализма. Советские специалисты жили недалеко от завода в небольшом коттеджном посёлке, который местные жители окрестили «Русской колонией». Как и положено «островку социализма», наше поселение было по периметру обнесено покосившимся забором из колючей проволоки. Имелись и въездные ворота и проходная. Рядом в ветхой халупе размером с телефонную кабинку обитала охрана. Два щуплых солдатика из местной «гвардии», вооруженных антикварными винтовками и сапёрными лопатками, круглосуточно дремали на колченогих табуретках в тени гигантского фикуса. Внутри халупы с трудом помещалась армейская рация, похожая на старинный пиратский сундук. Охранники использовали её вместо тумбочки. В нашем посёлке работало несколько лавочек, где индусы бойко торговали «колониальными товарами»: хлебом, контрабандными сигаретами, сосисками, «настоящей» французской косметикой, изготовленной в близлежащем городишке с весёленьким названием Марафари, резиновыми шлёпанцами, удивительно качественными книгами издательств Оксфорда и Кембриджа, тибетскими лекарствами, москитными сетками, кастрюлями и средствами для уничтожения термитов. В обмен на местные материальные блага русская колония предлагала пищу духовную. В унылом, похожем на ангар здании, который все называли «Русский клуб», располагалась библиотека, имелись курсы русского языка, а по воскресеньям показывали фильмы, привезённые из посольства в Дели. Каждому переводчику вменялось в обязанность преподавать на курсах. Это была так называемая общественная нагрузка. Денег за неё никто не платил, но контроль со стороны руководства осуществлялся самый жёсткий. Занятия обычно начинались в самом конце октября, когда прекращались муссонные дожди и устанавливалась относительно прохладная сухая погода. Все переводчики тайно надеялись, что индусы, заблудившись в дебрях непростой русской грамматики, когда-нибудь потеряют интерес к «великому и могучему» и поток студентов иссякнет. Но среди местного населения любознательных и трудолюбивых оказалось на удивление много. В основном это были учащиеся местного медицинского и политехнического колледжа. Подозреваю, что в Марафари, как в настоящей глухой провинции, других доступных и главное бесплатно-культурных развлечений для молодёжи просто не имелось.

На завод я приехала в начале декабря. Всех желающих изучать русский язык давно распределили по группам, поэтому мне оставалось ждать нового учебного года. «Это будет ещё не скоро», – легкомысленно подумала я и позволила себе расслабиться. И напрасно! Уже в середине февраля старший переводчик сообщил по секрету, что одного из наших коллег переводят на работу в Дели, а его учебную нагрузку на курсах решено передать мне.

– Не переживай, – успокоила меня жена главного энергетика, по совместительству заведующая курсами, – В этой группе остался всего один студент, почти пенсионер – чиновник местной администрации. Говорят, он большой чудак.

После заводской смены пришлось тащиться в библиотеку, чтобы как-то подготовиться к уроку. Порывшись на полках, я нашла несколько худеньких брошюрок под общим названием «Русский язык для начинающих», тетрадку прописей и напечатанную крупным шрифтом сказку «Маша и три медведя». Сунув книги под мышку, я отправилась искать своего первого в жизни ученика.

…На лавочке перед клубом сидел абсолютно лысый старичок в широченных белых штанах и просторной рубахе. По-мальчишески болтая ногами в резиновых тапках, он был поглощён чтением газеты «Индиан таймс». Слава богу, дед, кажется, знает английский, обрадовалась я. По отзывам коллег-переводчиков, заниматься со студентами, владеющими только хинди или каким-то таинственным местным наречием, было адским мучением и сущим наказанием. Увидев меня, старик неторопливо сложил газету, встал и церемонно поклонился:

– Вечер добрый, мадам! Вы моя новая учительница?

Приветствие было произнесено на безукоризненном русском языке с едва уловимым акцентом. Признаться, я очень удивилась такому неожиданному началу урока, но тут же успокоила себя: дед, скорее всего, просто заучил несколько общих фраз, чтобы произвести на меня впечатление. В аудитории я выложила на стол перед индусом свои библиотечные находки. Старик взял в руки сказку и несколько минут с явным удовольствием рассматривал картинки. Наконец отложил книгу и спохватился:

– Простите, я забыл представиться! Меня зовут Дэнис. А фамилия у меня Перейро.

Я в очередной раз удивилась. Странная какая-то фамилия, совсем не индийская. Если мне не изменяет память, так звали одного из героев Жюля Верна. Может, это псевдоним? Видимо, прочитав в моём взгляде недоумение, старик охотно пояснил:

– Я родом из штата Керала. Это на юго-западе Индии. Моим далёким предком был португальский моряк, который приплыл в Индию вместе с Васко да Гама…

В ходе разговора выяснилось, что Дэнис, кроме английского, свободно владеет хинди (учил в школе), урду (это родной язык мужа его старшей дочери), а также понимает китайский, но, к большому сожалению, рисовать иероглифы так и не научился.

– Скажите, Дэнис, – осторожно поинтересовалась я, – зачем вам ещё и русский язык?

– Видите ли, я уже не молод, – принялся объяснять индус, – стал таким рассеянным и забывчивым – просто ужас! А мой племянник преподаёт в медицинском колледже. Он посоветовал учить какой-нибудь сложный язык. Классическую латынь, например, или русский. Я вот начал учить русский и так увлёкся!

– Что же вас особенно увлекло?– непроизвольно вырвалось у меня.

– Лев Толстой! Мечтал прочитать его произведения в подлиннике. И ещё русская поэзия…

Я незаметно сунула Машу вместе с её медведями в ящик стола и машинально спросила:

– Кто же ваш любимый поэт?

– Много любимых, – застенчиво улыбнулся Дэнис. – Пушкин, Блок. Но самый-самый – Сергей Есенин!

– Можете почитать что-нибудь из Есенина?

Кроме блестящих лингвистических способностей, у старика оказался ещё и несомненный актёрский талант. Такого трогательного и душевного исполнения есенинских строк, да ещё от иностранца, признаюсь, не ожидала!

Покинул я родимое жилище.
Голубчик! Дедушка! Я вновь к тебе пишу…
У вас под окнами теперь метели свищут,
И в дымовой трубе протяжный вой и шум…

Я совершенно растерялась – хоть убейте, но я не помнила это стихотворение Есенина. Память как назло подсовывала «Клён ты мой опавший» да «Шаганэ ты моя, Шаганэ…». Чтобы как-то скрыть смущение, пришлось задавать индусу очередной вопрос.

– Скажите, вы, наверное, давно учите русский язык?

– Давненько, – покачал головой старик, – месяцев восемь уже…

Это прелестное русское слово «давненько» меня добило окончательно! Выходило, что старик не только освоил премудрости грамматики, но и сумел овладеть тонкими, почти неуловимыми для большинства иностранцев оттенками значения русских слов. Одним прилежанием этого не достичь. Не поможет и хорошая память. Тут требуется невероятное чувство языка. А это – особый божий дар. Кстати, им не всегда владеют некоторые отечественные литераторы. Дэнис тем временем вынул из кармана своих белых штанов небольшую стопку скреплённых канцелярской скрепкой бумажек, аккуратно разложил передо мной на столе и принялся терпеливо объяснять:

– У меня хобби есть – я садовод-любитель. Когда ковыряешься в земле, заняты только руки. Голова совершенно свободна. Вот я и придумал учить в это время новые слова или стихи. Очень удобно! Но когда начинается мансун, в саду долго не поработаешь. Тогда мы с женой читаем «Анну Каренину» – это мой любимый роман Толстого…

– Скажите, ваша жена, она, что, тоже того… э-э-э… в смысле, учит русский язык? – осторожно поинтересовалась я. Семейство лингвистических гениев, однако!

– Нет, что вы, – весело рассмеялся Дэнис, – моя жена кроме тамильского никакого другого языка не знает.

– Постойте, насколько мне известно, Толстого на тамильский язык не переводили!

– К сожалению, – огорчённо подтвердил дед, – поэтому мне приходится переводить прямо из книжки. Но это совсем не сложно.

Дэнис сосредоточенно зашелестел своими бумажками.

– Так вы ещё и тамильский знаете!? – тихо ужаснулась я.

Старик, кажется, не расслышал моей реплики. Он вытащил из стопки листок и торжественно предъявил его мне.

– Вчера нашёл новое для себя слово. Вы не подскажете, что оно означает?

Я испуганно насторожилась, а мой ученик водрузил на нос очки и с выражением прочитал:

– Старый толстый татарин, кучер Карениной, в глянцевом *кожане*, с трудом удерживал прозябшего левого серого, взвивавшегося у подъезда…

– Вас смутило слово *кожан*? – догадалась я. – Это, видимо, какая-то кожаная одежда…

– Я сначала тоже так подумал, – согласился дед, с любопытством глядя на меня поверх очков, – Кожан – сарафан – кафтан. Но в словаре написано, что это вид летучей мыши.

В комнате под потолком вращался вентилятор, и было совсем нежарко, но я почувствовала, что по моей спине струйками течёт пот. Смущаясь, пообещала обязательно выяснить всё про *кожан* у кого-нибудь из опытных коллег.

На следующий день в офисе у главного энергетика я с восторгом рассказала про своего необычного ученика. Как оказалось, подобные таланты здесь в порядке вещей.

– Ты ещё не слышала, как индусы поют! – пожав плечами, сказал один из наших инженеров. – У меня один электрик работает – Муслим Магомаев отдыхает! Недавно концерт нам устроили. Я словно в Большом театре побывал. Говоришь, старик четыре языка знает? Эка невидаль!

– Шесть, – машинально поправила я, – дед свободно владеет шестью языками!

…Итак, у нас с Дэнисом начались регулярные занятия. Скоро я с удивлением обнаружила, что с нетерпением жду встречи с этим необычным человеком. Кроме невероятно живого для своего возраста ума и редкой доброжелательности к окружающим, мой ученик обладал огромным зарядом здорового оптимизма и совершенно непривычным для меня взглядом на окружающий мир. В нашем захолустном Марафари податься в выходной день было абсолютно некуда. Лишь немногие богатенькие горожане могли позволить себе ездить развлекаться в Калькутту. Поэтому я с удовольствием приняла приглашение Дэниса и одним воскресным утром отправилась к нему в гости. Пришлось идти пешком. Общественного транспорта в нашей провинции предусмотрено не было. Роль такси выполняли традиционные для Индии рикши. Но советским специалистам было категорически запрещено пользоваться услугами этого экзотического средства передвижения. Считалось, что такая эксплуатация человека человеком абсолютно неприемлема для граждан социалистического государства. Напрасно наш старший переводчик (сотрудник Института стран Азии и Африки, между прочим) пытался доказать на самом высоком уровне, что скудный заработок рикши, быть может, единственный шанс для этого несчастного труженика не умереть от голода. Увы, руководство было непреклонно – не положено и точка! Однако внештатные ситуации происходили регулярно. Как-то раз четыре инженера из Запорожья после заводской смены решили быстренько смотаться в Марафари, чтобы расслабиться подальше от вездесущего ока начальства. Привезти гуляк домой пообещал кто-то из коллег-индусов, имевший собственный автомобиль. Или индус как обычно что-то перепутал, или запорожцы, приняв на грудь изрядную порцию джина местного производства, разминулись со своим благодетелем. Можно только догадываться, какой ужас испытали наши худосочные охранники, когда увидели, что к воротам «русской колонии» лихо подлетела тележка рикши, в которую были цугом запряжены два чудом стоявших на ногах металлурга. Двое других вповалку лежали в тележке и, нарушая благостную тишину тропической ночи, весело горланили: «Распрягайте, хлопцы, коней!».

Полуголый и босоногий рикша, как преданный пёс, послушно трусил сзади. Инцидент замяли.

…Чтобы сократить дорогу, я пошла по тропинке через пустырь. Вообще-то этот пустырь был бельмом на глазу у местной администрации и неиссякаемым источником предвыборных обещаний для депутатов местного муниципалитета. Сюда из Марафари и соседних посёлков вывозили строительный мусор. Слева к пустырю примыкали заводские охладительные пруды – две огромные грязные лужи с невысоким земляным валом вместо берега. Понятно, что окрестный пейзаж эти пруды тоже не украшали. К тому же в воде обитали мерзкого вида бородавчатые лягушки, каждая величиной с небольшую салатницу. В сезон дождей по пустырю вокруг прудов бродили шелудивые собаки и костлявые священные коровы. Зимними ночами с западных холмов прибегали шакалы и устраивали шумные свадьбы с визгливыми драками и зловещим воем на луну. Домик Дэниса я нашла без труда, а его ухоженный садик произвёл на меня неизгладимое впечатление. В саду было всё – и розы необыкновенного тёмно-вишнёвого цвета с узорчатой золотистой каймой по краю лепестка, и кадки с жасмином и магнолиями, и кусты тибетской сирени. А посреди тщательно подстриженной лужайки стоял… зелёный олень с закинутыми за спину рогами. В немом восторге я обошла вокруг оленя. Такого понятия как «ландшафтный дизайн» по тем временам в СССР не существовало, поэтому этот загадочный ботанический шедевр привёл меня в искренний восторг. Потрясающе! Как это сделано? «Ничего сложного», – пожал плечами Дэнис. Сначала нужно соорудить подходящий каркас из проволоки, затем вкопать конструкцию в землю, посадить вовнутрь какое-нибудь вьющееся вечнозелёное растение и начать тщательно ухаживать – поливать, удобрять и регулярно стричь. Если всё сделать правильно, то лет через пять-шесть на лужайке появится роскошный зелёный куст в форме толстого бегемотика, двугорбого верблюда или сидящего на задних лапах тигра – всё зависит от умения садовода и его воображения. Меня провели на крохотную веранду и угостили традиционным чаем с молоком, а Дэнис стал рассказывать про свою заветную мечту. Оказывается, он давно задумал разбить

на месте пустыря «Сити-парк» – городской парк – и подарить его родному Марафари. Старик быстро разложил передо мною на столе какие-то листы с чертежами и схемами:

– Вот здесь будет розарий, а здесь, – он ткнул пальцем в очередной рисунок, – я планирую соорудить несколько альпийских горок. Слева от охладительных прудов будет большая английская лужайка для любителей пикников. А здесь – поле для крикета. Правда, здорово?

Я чуть не подавилась чаем. Парк на пустыре? Кажется, дед выжил из ума! Я попыталась тактично отговорить старика:

– Дэнис, это же огромная территория! Чтобы только убрать и вывезти с пустыря мусор вам потребуется грузовик и не один десяток рабочих. А где вы возьмёте деньги на саженцы, удобрения и рассаду?

– Деньги не проблема! – простодушно заверил меня дед, – я скоро ухожу на пенсию, поэтому деньги будут.

– Опомнитесь, какая пенсия? – ужаснулась я, – Это же копейки! Неужели вы не хотите просто отдохнуть на старости лет? Заняться своим садиком, возиться с внуками…

Но мой ученик загадочно улыбнулся и произнёс фразу, смысл которой я поняла лишь через много лет:

– Человек не должен недооценивать своего места на этой Земле, мадам!

Дед принялся подробно рассказывать про какую-то пенсионную программу, по которой он как госслужащий может отказаться от ежемесячного пособия по старости, но при этом получить определённую и довольно солидную сумму сразу. На полученные рупии индийские пенсионеры открывают мелкий бизнес, помогают детям с образованием, ну и так далее. Выслушав внимательно все доводы, я предприняла последнюю попытку вразумить моего легкомысленного ученика:

– Когда вы станете совсем старым, истратите все деньги или (не дай бог!) заболеете, на что жить будете?

– У меня три сына и две дочери, – со спокойным достоинством ответил старик, – мне много не нужно – чашка чая да немного риса.

Вот вам и пресловутый стакан воды на смертном одре!

Дэнис проводил меня до ворот «русской колонии». Мы попрощались, и он ушёл, шлёпая своими резиновыми тапками. А я долго смотрела ему вслед. Мой ученик не был похож на богатого человека, скорее наоборот! Загадочная индийская душа…

С того памятного дня Дэнис принялся неутомимо обивать пороги различных бюрократических инстанций, пытаясь заручиться поддержкой чиновников городского муниципалитета, руководства завода и рядовых жителей нашего городка. Окружающие относились к идее создания парка по-разному. Кто-то обещал помощь, у некоторых суетливый энтузиазм старика вызывал раздражение. Нашлось и немало яростных противников, которые откровенно злословили и смотрели на Дэниса как на городского сумасшедшего. Положа руку на сердце, я мало верила в эту затею. Мой деликатный ученик плохо подходил на роль руководителя такого обширного проекта. Очень точно по этому поводу высказался наш главный энергетик: «Кишка тонка! Тут требуется жёсткий „горлохват“».

Однако потомку португальского морехода упорства было не занимать!

Через пару дней секретарша директора сообщила мне интимным шёпотом:

– Твой дед вчера приходил, полдня в приёмной толкался…

– Что хотел?

– Просил отдать лом огнеупорных кирпичей, которые остались после строительства доменной печи…

Я сочувственно вздохнула. Наш директор, суровый криворожский металлург, принадлежал к той категории забубенных советских руководителей, у которых, что называется, снега зимой не допросишься. Он скорее сам бы этот битый кирпич съел!

Увы, узнать, чем закончилась эпопея с Сити-парком, мне не довелось. Сначала меня отправили в командировку на другой строительный объект в соседний штат, а потом и вовсе перевели в Дели. Но, покидая «русскую колонию», я всё же успела попрощаться с Дэнисом.

– Счастливой дороги, мадам! – сказал старик, пожимая мне руку, – Обязательно возвращайтесь сюда лет через шесть. Здесь будет красиво!

Я промолчала. Мне было грустно и неловко за своё неверие…

…Прошло ровно двадцать лет. Судьба снова привела меня в Индию. Теперь я приехала в Калькутту с мужем. После успешных переговоров у нас образовалась свободная неделя. Мы решили воспользоваться предложением наших гостеприимных партнёров, взяли офисный автомобиль и поехали из Калькутты на запад. Я давно мечтала побывать в Варанаси. Этот город, больше известный на Западе как Бенарес, индуисты и буддисты всего мира считают своей идейной столицей. Как-нибудь я обязательно напишу об этой поездке. Мы выехали засветло, к полдню успели проехать почти триста миль, когда на дорожном указателе рядом со стрелкой «Марафари – 100 миль» я прочитала надпись большими зелёными буквами – «Добро пожаловать в Сити-парк Дэниса».

– Поворачивай! – заорала я перепуганному мужу. – Мы едим в Марафари!

…Увидев двух иностранцев, смотритель парка охотно согласился устроить нам небольшую экскурсию. Мне невольно приходилось задерживать дыхание, потому что всё, что я увидела, было именно так, как задумал Дэнис – и розарий, и заросли жасмина, и благоухающие кусты тибетской сирени. А на краю тщательно подстриженной английской лужайки стоял очаровательный слонёнок с большими ушами – зелёная скульптура – плод многолетнего труда умелого садовода. Мы дошли до живописного озера (неужели это бывший охладительный пруд?), в зеркальной глади которого отражались плывшие высоко в небе курчавые облака.

– Какие большие кувшинки! – удивился мой муж.

– Это священный цветок Индии – благородный лотос, – с гордостью сказал смотритель. – Посмотреть на это чудо к нам приезжают специальные экскурсии из Дели!

Дорожка вдоль берега была аккуратно посыпана серыми камешками (чёрт возьми, это же битые огнеупорные кирпичи!). Вдруг откуда-то сбоку на дорожку неторопливо вышла изящная белая птица с рогатым хохолком на точёной голове. За птицей волочился длинный многослойный хвост, похожий на шлейф богатой невесты. Диковинная птица неожиданно остановилась, несколько мгновений внимательно разглядывала нас и вдруг с тихим шорохом развернула свой огромный белоснежный веер-хвост, состоявший, казалось, из тончайших кружевных лепестков. Мы с мужем тихо ахнули от восторга. Белый павлин! Словно наслаждаясь произведенным эффектом, царственный красавец замер, позволил себя сфотографировать и неторопливо удалился, ритмично покачивая роскошным хвостом, словно испанская танцовщица, закончившая выступление перед зачарованной публикой.

– Когда-то на этом месте был *ужасный* пустырь, – сказал смотритель.

– А в охладительных прудах водились *ужасные* лягушки, – с улыбкой подхватила я.

– Откуда вы знаете? – смотритель удивлённо поднял брови.

– Много лет назад я работала здесь на заводе…

– Тогда вы должны были знать господина Дэниса Перейро! – заволновался индус.

Я молча кивнула.

– Дэнис был удивительным человеком, хотя многие считали его чудаком, – с грустью сказал смотритель, – Знаете, он любил повторять фразу: «Бог всякому из нас даёт вместе с жизнью тот или иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в землю…». Думаю, это сказал кто-то из китайских философов.

– Нет, это слова замечательного русского писателя Ивана Бунина!

Я почувствовала, как к горлу неожиданно подкатил тугой ком.

– Простите, мадам, – индус внимательно посмотрел на меня, – вы сказали, что были знакомы с господином Перейро. Он был вашим другом?

С трудом сглотнув тугой ком, я тихо ответила:

– Он был моим Учителем. Я невероятно горжусь этим!

МАТЬ ТРОЯНСКИХ ГЕРОЕВ
рассказ

Моя задушевная подруга Арпеник – невероятно творческая личность. В свободное от основной работы время она регулярно устраивает потрясающие мероприятия в армянской общине нашего города. Совсем недавно мы с ней ходили на крестины крошечной армянкой девочки, долгожданной внучки, которая родилась в семье её близких друзей. Армянская церковь в нашем городе расположена в таком месте, что добираться до неё достаточно сложно. Поэтому утром Арпеник заехала за мной на своей машине.

– Может, мне не стоит идти? – засомневалась я. – Я никого не знаю…

Но подруга решительно распахнула передо мной дверцу:

– Хочу познакомить тебя с Каринэ, она специально приехала из Мартуни.

«Господи, где этот Мартуни?», – подумала я, а вслух предложила:

– Хорошо, постою в сторонке, послушаю службу, тем более что на ваших крестинах я ещё не была.

– Слушай, – Арпеник нахмурила брови, – Каринэ удивительная, можно сказать легендарная женщина! По дороге расскажу историю её жизни. Пообещай, что обязательно напишешь рассказ. Кстати, недавно Каринэ исполнилось девяносто лет…

…Её назвали Каринэ в честь бабушки, которая в молодости была замечательной красавицей. Увы, внешность внучки вызывала только горестные вздохи немногочисленной родни. Девочке с детства дали обидную кличку Пугало. Длинный с горбинкой нос, странного цвета глаза – ни карие, ни серые. Вся её нескладная, долговязая фигура – длинная худая шея, густые, непослушные волосы, которые невозможно было заплести в косы, – давала одноклассникам множество поводов для ехидного хихиканья. Но природа, как известно, стремится к гармонии, поэтому наградила Каринэ разнообразными талантами, невероятным трудолюбием и удивительно спокойным, покладистым характером. Девочка хорошо училась, прекрасно рисовала, много читала и мечтала поступить в педучилище.

– Пусть учится, замуж всё равно никто не возьмёт! – огорчались друзья семьи. Да и какие женихи в послевоенном Ереване?

Брат надеялся, что Каринэ получит диплом и уедет куда-нибудь по распределению. Он собирался жениться, а приводить молодую жену было просто некуда. Но Каринэ как отличницу оставили в столице. Она старалась подольше задерживаться в школе, на выходные уезжала к родственнице в пригород, чтобы помогать её детям с уроками. Единственным утешением стало увлечение живописью. Трудно сказать, как долго продолжалось бы такое существование, но летом на её тридцать девятый день рождения в их доме неожиданно появилась Анаит, старинная приятельница матери. Женщины весь вечер шушукались на кухне, пили кофе и гадали на картах. Наконец позвали Каринэ, которая с беспокойством прислушивалась к их тихой беседе.

– Слушай и не перебивай! – строго заявила Анаит. – Нашла для тебя жениха. Зовут Давид. Живёт недалеко от Мартуни в собственном доме. Вдовец, уважаемый человек, орденоносец…

Каринэ так растерялась, что потеряла дар речи. Она молча уставилась на мать, которая прятала глаза и старательно разглаживала бахрому на скатерти.

– Я обо всём договорилась. Давид будет ждать нас завтра на автобусной станции. Заведующая ЗАГСом – моя племянница. Не забудь паспорт! – Анаит виновато кашлянула, – Да, имеется один момент… гм… Давид… ему восемьдесят…

– Сколько? – Каринэ решила, что она ослышалась.

– Доченька, – взмолилась мать, – когда мужчине уже восемьдесят, он воевал, сколько ему ещё осталось? У тебя будет хороший дом, станешь вдовой уважаемого человека…

– Вы обе с ума сошли? – в ужасе закричала Каринэ.

– Да, я сошла с ума! – заплакала мать, – Много лет слышу, что моя дочь никчемная старая дева, пустоцвет, на которую без слез смотреть нельзя! Другая на моём месте давно бы руки на себя наложила!

– Когда наш автобус, тётя Анаит? – после тоскливого молчания тихо спросила Каринэ.

Всё её имущество уместилось в маленьком дерматиновом чемоданчике. Небольшую стопку любимых книг и рисунков брат перевязал прочным шпагатом. В последний момент Каринэ вспомнила про зубную щётку, зашла в ванную комнату и случайно бросила взгляд на своё отражение в зеркале. Сколько же тебе лет, Каринэ? Сорок или сто? Лицо твоё увяло, душа сломлена, а на сердце смертная тоска…

Всю дорогу до Мартуни она пыталась представить себе Давида. Он – беспомощный инвалид, который нуждается в бесплатной сиделке. Ей придётся кормить его с ложки, мыть плешивую голову и выносить за ним горшки. Нет, больной человек не оставил бы свой дом в горах для поездки в Мартуни. Скорее всего, её жених – заскорузлый селянин. Он пасёт коз, делает брынзу и торгует на базаре луком. Ему требуется помощница по хозяйству, батрачка. Но она ничего не смыслит в деревенской жизни. Неожиданно Каринэ пронзила ужасная догадка. Давид – развратный старикашка, который мечтает о женщине намного моложе для удовлетворения своей дряхлой плоти и низменных страстей! Эта мысль так напугала Каринэ, что у неё закружилась голова, к горлу подступил липкий ком.

– Укачало? Потерпи, скоро приедем, – забеспокоилась Анаит, пристально всматриваясь в побледневшее лицо своей спутницы.

Остаток пути Каринэ молилась. Воспитанная в атеистической среде, она каким-то непостижимым образом нашла слова, с которыми впервые в жизни обратилась к Богу.

– Господи, – шептала Каринэ, – прости, если делала что-то не так. Пожалей меня, Отец небесный. Со смирением и благодарностью приму любое испытание, но умоляю, сохрани мою душу! Я не вынесу позора, не смогу жить…

Из её глаз градом катились слёзы.

– Успокойся, мы приехали, – Анаит торопливо вытерла носовым платком её опухшее от слёз лицо.

– У автостанции в Мартуни под навесом одиноко стоял старенький мотоцикл с коляской. На скамейке скучали несколько пожилых женщин с сумками. Они ожидали рейсовый автобус.

– А вот и Давид! – встрепенулась Анаит при виде выходившего из здания станции мужчины. Он держал небольшой, свернутый из газеты кулёк. Каринэ даже не пыталась рассмотреть своего будущего мужа. Ей вдруг стало невероятно стыдно. Зажмурившись, подумала: хорошо бы прямо сейчас провалиться сквозь землю.

Кто-то взял её за руку и усадил в коляску мотоцикла.

– Это совсем рядом, – голос Анаит звучал словно издалека. Следующие несколько часов Каринэ запомнила плохо. Её куда-то везли, потом вели, что-то невнятно объясняли. Дрожащей рукой она расписалась в толстой книге. Каринэ боялась поднять глаза, была совершенно уверена – все с любопытством смотрят на них с Давидом. У Каринэ жутко разболелась голова, в горле пересохло. Сколько будет длиться эта пытка?

– Слава богу, всё прошло отлично, – наигранно весёлым тоном сообщила Анаит. – Езжайте с богом!

День клонился к вечеру, когда Каринэ наконец довезли до её нового места жительства. Пока Давид закатывал мотоцикл в сарай, она с опаской огляделась вокруг. Крепкий дом с высоким цоколем из мас-

сивных гранитных глыб стоял на вершине пологого холма. Справа – обширный луг, слева – небольшая сосновая роща. На горизонте виднелись горы с белыми полосами снега на склонах. А внизу за деревьями раскинулся Севан. В его жемчужно-синей воде отражались неторопливые облака. Давид поднялся на веранду, распахнул дверь и жестом пригласил её зайти в дом. Естественное женское любопытство отвлекло Каринэ от мрачных мыслей. Внутри был запах пыли и тоскливого одиночества, как в жилище, давно не знавшем заботливых женских рук. Давид куда-то вышел, а Каринэ в изнеможении присела на стоявший в углу сундук и… провалилась в сон.

Она проснулась под утро. От неудобной позы ныло всё тело. Её чемоданчик стоял рядом. Стопка книг обнаружилась на столе в соседней комнате. Там же она нашла чашку с холодным кофе и блюдце с шоколадными конфетами. Полупустой кулёк из газеты лежал рядом. Неужели Давид специально ходил в буфет на станции, чтобы купить для неё дорогих конфет? Стараясь двигаться как можно тише, Каринэ взяла чашку, открыла дверь и вышла на веранду. Её поразила удивительная тишина и невероятной чистый прохладный воздух. Ночное небо светлело. Где-то за горами неторопливо всходило солнце.

– Ты простудишься, если будешь стоять босиком, – услышала она голос Давида за спиной, – Пошли завтракать, нужно выпить чего-нибудь горячего!

Козья брынза, лаваш и чай с мятой и медом – восхитительная еда! Каринэ вспомнила, что почти сутки ничего не ела.

– Вкусно? – Давид спокойно наблюдал за ней, сидя напротив. Каринэ смутилась, торопливо кивнула. Впервые их взгляды встретились. У него были седые, по-солдатски коротко стриженые волосы, усталые глаза и сильные руки с красивыми длинными пальцами.

«Он не похож на человека, которому восемьдесят лет, – подумала Каринэ. – Он вообще не похож на деревенского жителя. Кто он?».

– Умеешь доить козу?

Вопрос был таким неожиданным, что Каринэ чуть не поперхнулась чаем.

– Нет, но если нужно – научусь!

– Теперь ты здесь хозяйка. Идём, покажу твои владения.

Видимо, когда-то в этом доме жила большая семья. Каринэ попыталась представить себе его бывших обитателей. Вот здесь находилась спальня женщины. Кровать на гнутых ножках, изящная тумбочка с резными дверками, зеркало в старинной раме и… тягостная пустота. Ни занавесок на окнах, ни милых безделушек и вышитых подушечек. Хозяйка покинула это жилище давно, не оставив даже запаха. В соседней комнате жил подросток. Он испачкал чернилами стол, на спинках стульев вырезал средневековые гербы и лазил на улицу через окно. На подоконнике имелись характерные царапины от ботинок. На пороге следующей комнаты Каринэ замерла от удивления. В воздухе стоял едва уловимый запах масляной краски. Так пахнет в мастерской художника. Догадка подтвердилась. Сверху на шкафу лежала стопка покрытых пылью этюдов. Третья комната была пуста, лишь ящик в углу, где валялись шахматные фигуры и две толстые общие тетради с конспектами лекций. На одной было написано – «Аэродинамика», на другой – «Двигатели внутреннего сгорания». В доме имелась кухня с большой печкой и комната Давида, которую он называл «кабинетом» – полки с книгами, рабочий стол и тахта, накрытая серым одеялом. На чердаке в большой плетёной корзине Каринэ нашла скатерти, занавески, коврики и даже салфетки с тончайшим старинным кружевом.

Два незнакомца под одной крышей. Словно одинокие планеты на параллельных орбитах. Утром Каринэ варила кофе и относила в кабинет Давида. Днём они встречались на кухне за обеденным столом, обменивались несколькими маловажными фразами. Затем Давид возвращался к себе в кабинет, а Каринэ принималась за работу. Она тщательно выскоблила деревянные полы, смазала скрипучие дверные петли, вымыла окна, расставила на подоконниках букеты полевых цветов. Дом ожил и чутко откликнулся на её заботу. Он заполнил комнаты благодарным светом, бережно сохранял прохладный запах свежевыстиранных занавесок, уютный аромат домашнего печенья и молотых кофейных зёрен. Каринэ научилась доить козу, печь лаваш и собирать дикорастущие травы.

Приближалась осень. Горы нахлобучили на свои вершины белоснежные папахи. Пронизывающий до костей ветер яростно гнал холодные тёмные тучи. В то утро она как обычно поставила на стол в кабинете чашку кофе, но не ушла, а украдкой заглянула через плечо Давида. Она думала, что, как все бывшие фронтовики, он пишет воспоминания о войне. Но на столе были разложены листочки с текстом на непонятном языке.

– Вот, пытаюсь сделать перевод Илиады Гомера на армянский язык, – объяснил Давид.

– Думала, ты мемуары пишешь…

Его губы тронула слабая улыбка:

– Таким, как я, мемуары писать не положено!

– Почему? – испугалась Каринэ.

– Я служил шифровальщиком при штабе армии.

– Давид, – осмелев, спросила Каринэ, – Разве Гомера не переводили?

– Переводили, но не совсем удачно…

– Откуда знаешь древнегреческий?

– До войны преподавал в Ереванском университете. Вот послушай: *«Здесь на троянском берегу и меня, возвратившегось с боя в доме отцов никогда ни Пелей престарелый не встретит…»*.

– Скажи, а твоя семья… где? – осторожно поинтересовалась Каринэ.

– Не вернулись из боя. Не будем об этом говорить…

После мучительной паузы Давид неожиданно спросил:

– Скучно в этой глуши?

– Ни капельки!

Она действительно не тосковала ни по матери, ни по Еревану, ни по школе, в которой проработала почти пятнадцать лет.

– Завтра воскресенье, давай в Мартуни съездим, – предложил Давид.

– С удовольствием! Заодно куплю корицы и кофе.

Этот удивительно тёплый осенний день в Мартуни! Они с Давидом сходили в кино, купили на рынке нужные в хозяйстве мелочи и уже собрались возвращаться домой, когда увидели цыган. Под бойкие звуки скрипки на импровизированной сцене плясали женщины в ярких пышных юбках. Тучная усатая старуха с глиняной трубкой в зубах продавала самодельные бусы и медные браслеты. Шустрые ребятишки с визгом носились между зрителями. Кто-то дёрнул Каринэ за рукав. Смуглый кудрявый цыганёнок лет четырёх молча смотрел на неё снизу вверх. В грязном кулачке он держал замусоленный огрызок бублика. Каринэ заботливо вытерла носовым платком нос и чумазые щёки малыша, забрала бублик и вложила в его руку шоколадку.

– Эй! Ты что делаешь? – сердито закричала на Каринэ молодая цыганка. Но, подхватив мальчика на руки, цыганка неожиданно расхохоталась.

– Понравился мой сын? Скоро у тебя такой же будет! А ты, – обратилась она к Давиду, – прекрати горевать! Мёртвых нужно отпустить…

Продолжая смеяться, цыганка вместе с ребёнком исчезла в толпе.

В тот вечер Каринэ узнала, как погибли сыновья Давида, как, получив последнюю похоронку, от горя умерла жена.

– Господи, как же ты жил здесь один все эти годы?! – прошептала Каринэ. Она подошла к Давиду, крепко обняла, прижала его седую голову к своей груди и, глотая слёзы, прошептала:

– Знай, всегда буду рядом с тобой, и сделаю всё, чтобы ты был счастлив.

Их первенца они назвали Ахиллесом. Так решил Давид. Каринэ восприняла появление ребёнка как Божью благодать, как чудо, в которое с трудом верила. Она подходила к большой плетёной корзине, в которой спал младенец, и с благоговейным умилением рассматривала его крошечные пальчики, круглые розовые пяточки и едва сдерживала слёзы. Так и плакала бы от счастья с утра до вечера. Появление у таких пожилых родителей ребёнка многие посчитали случайностью, но через два года родился второй сын, которого отец нарёк Гектором.

– Прошу тебя, Давид! – взмолилась Каринэ, – тебе ли не знать, что Ахиллес и Гектор были заклятыми врагами. Ахиллес заставил Гектора три раза обежать вокруг Трои, прежде чем убил его!

– Мои сыновья будут дружить, вот увидишь.

Однако крепкие, рослые мальчишки дрались по любому поводу. Это очень огорчало Каринэ. Работая не покладая рук, она совершенно не чувствовала усталости. Материнство укрепило её дух, предало телу невероятную силу и работоспособность.

Когда Каринэ почувствовала, что беременна в третий раз, то с уверенность заявила – будет девочка! Назовём её Тируи – хозяйка. Дочь станет утешением нам в старости. Удивительно, но Каринэ стала воспринимать Давида, как своего ровесника, словно прожила с ним долгую счастливую жизнь, в которой, как в доброй сказке, любящие супруги обязательно должны умереть в один день.

Старая деревенская повитуха ловко завернула в тёплую пелёнку орущего младенца и с улыбкой изрекла:

– Давид, вот и третий сын к тебе вернулся!

– Мать троянских героев! – торжественно произнёс Давид, взяв на руки новорождённого. – Как назовём этого сына?

– Только не Одиссей! – попыталась пошутить Каринэ. – Не хочу, чтобы всю жизнь он скитался по миру…

– Тогда пусть будет Гомером!

…Когда Ахиллесу было шесть, Гектору четыре, а Гомеру не исполнились и двух лет, умер Давид. Пошёл рано утром подоить козу. Там в сарайчике и нашла его Каринэ. Как она выжила, вырастила и дала образование сыновьям – отдельная история! Она пасла коз, делала брынзу и торговала луком на базаре в Мартуни. Мыла коридоры и туалеты в больничных корпусах, ухаживала за лежачими инвалидами. И всегда находила время для молитвы: «Господи! Я понимаю, что для мужчины внешность не так важна, как для женщины. И всё же, пусть мои сыновья будут похожи на Давида…».

Ахиллес с детства мечтал стать моряком, непременно капитаном дальнего плавания. Каринэ собрала денег и отпустила его учиться в Одесскую мореходку. У Гектора в начальных классах обнаружили уникальный музыкальный слух. Она определила сына в интернат для особо одарённых детей в Ереване. В любую погоду раз в неделю Каринэ приезжала к Гектору с гостинцами. Каждому ребёнку важно чувствовать, что его любят и помнят. Заметив у Гомера тягу к рисованию, она стала учить его, и сын без труда поступил в Академию художеств. Сыновья Каринэ выросли успешными, творческими личностями.

…Мы подъехали к армянской церкви, вышли из машины и сразу оказались в толпе нарядных улыбающихся людей.

– Сегодня крестины внучки Ахиллеса? – спросила я шёпотом у Арпеник.

Подруга утвердительно кивнула, и решительно повела меня за собой. Кого я ожидала увидеть? Измождённую сгорбленную старушку или…

– Каринэ-джан, хочу познакомить тебя с моей подругой…

От неожиданности я растерялась. Передо мной стояла удивительно красивая пожилая дама. Поверьте, такого одухотворённого, выразительного лица я не встречала давно! Тонкий с горбинкой нос, большие серо-зелёные глаза, высокие скулы и седые вьющиеся волосы, собранные на затылке в тяжёлый узел. Древние греки рисовали таких женщин на вазах и амфорах, высекали их царственные лики на мраморе, посвящали им гимны! Говорят, что в двадцать лет у женщины то лицо, которое дала ей природа, в тридцать – которое вылепила ей жизнь. Ну, а после шестидесяти – то, которое она заслужила. Добавить нечего. Воистину, такую красоту нужно заслужить!

НАТАЛЬЯ ХМЕЛЁВА

ПРИВЕТ БЕЗ ОБРАТНОГО АДРЕСА

***

Как встречи порождаются прощанием,
так это лето вымолила
наледь.
Убавлю громкость радиовещания –
и сувенир возьму себе
на память,
свеченье юности – она, немая,
кувшинок пьёт зелёный запах залпом.
Здесь лето начинается не с мая,
а с хрупкости, Ханой её
побрал бы.
А раньше, ещё раньше, я была
хтонически небрежно –
кто развеял? –
простая изначальная зола,
привратница извечных
колизеев.
Зачем врастаю в зелень
– лип не
станет сияющих, а будет всё иное:
какая часть не навсегда погибнет,
и воспарит над малым –
но не мною,
а картами столиц, откуда письма
я отсылала
в эру мезозоя.

***

Когда пройдут все родовые пятна,
я буду ежедневно инэмури
практиковать на солнышке <но в шляпе!>
и думать
о подчинённой вовлечённости магнолий,
о годовалых детях
<живущих в непрестанном трансе >
о том, что нет, нельзя съедать на завтрак
два яйца, а можно лишь одно.
Когда уйдут все родовые пятна
пить чай с тобой, лимоном и имбирем –
я встану и пойду
за ними.

***

Всё, что с нас опадает – живое.
Ресница, волос корчатся и кричат
медленно угасая от голода на полу.
Превращаются в пыль.
Так и мне когда-то
Перерезали пуповину,
Так и я когда-то отпала, ещё живая
И до сих пор молчу,
кричу,
лечу, превращаясь в пыль,
устремляясь в воду и почву семечкой,
красное солнце светит сквозь белую кожу мою.
Я уже давно не ищу метафору
даже слова не ценны
их россыпи – камни на пляже
нежные белые как бока лебедей
Разве всё погладишь, подержишь в ладони?
Каково неистовое любопытство людей, которые никогда не любили истину
Но познавали случайно всё подряд?
Разве что в клозете, читая словарь Даля
в кожаном переплёте
Зачем слово, есть же кусок платка
турецкой женщины на лице которой улыбка
вчера сняла она свой платок и покрасила волосы
и сказала: «Я сама себе
впервые картина»
Я держу её платок в руках и плачу.
И тепло её материнства в этом платке
и макушка её бела-бела аки пепел
выжженная земля её жёлтые волосы

ПОНЧИК

Отдалившись от себя,
вглядываюсь в себя
четырнадцать миллиардов лет назад.
Где мой край? Но вижу только
остаточное излучение юности,
<ему хватило времени
добраться до сетчатки>
нет, дальше не отойду,
<хоть и нет конца!>
просто дальше не отойду: так решила.
Космологи говорят:
«У поверхности пончика нет границ».
А как же граница с воздухом?
Вглядываюсь вглубь пространства опыта:
моё детство, моё младенчество, моё небытие,
и дальше, чем небытие:
отсутствие плана, чьё-то <их> доверие миру,
дальше, чем доверие: их надежда,
ещё дальше: их выживание и борьба.
Космический горизонт, видимый телескопом пылинки
севшей на пончик
<по дороге из>

***

Это цельность – два метра парить над землёй
как движения тела легки и красивы!
о, за Гойей вослед, в его страшный полёт,
а войдёшь в новый день –
не растрачивай силы
чтобы телом пронизывать стены и плавить
образа не обронят над нами слезу
ты, себе же из прошлого ныне не равен,
на расплавленном воздухе жизнью рису-
ешь этих странных зверей
их отравленный мех
источает тепло, в золотом октябре
мы согреемся в нём, что убийца в тюрьме
и я слышу твой смех,
Мефистофеля смех

***

Сначала он хотел
быть единственным и главным
на вечеринке, на этой палубе, в её жизни,
в каютах, в трюме,
в этом их свадебном путешествии:
остаться с нею вдвоём.
Но однажды он поднялся наверх, закрыв за собою люк.
В грузовом отсеке
плыла она туда,
где обнялись два континента.
С тех самых пор,
В Исмаилии не найдя ночлега,
из вод Суэцкого канала
тонкое платье сшив,
бредёт она в Африку,
где её встретят бубнами,
и она умрёт для всего, что знала прежде, станет пустой.
И тогда я приду к ней,
исследующей избитыми стопами кусок суши,
к ней, верящей в то, что через часть можно познать целое,
взмахну, приседая в танце, юбками,
сотканными из многослойных метафор,
объединивших проседь её волос
со случайным фрагментом первого мира –
и она увидит в этом пророчество,
<ей нужен этот миф
о личном участии>
Попрошу её:
– Расскажи мне, что ты видела?
– Я видела человека,
сидящего в пустой щербатой ванной,
без рук и ступней.
Я спряталась в бабьем куту за печью,
звенела домашней утварью,
запрещала туда забредать гостям и детям,
чтоб через бабий лаз не провалились в погреб.

И тогда я скажу ей:
– Посмотри, здесь кто-то поднялся наверх,
закрыв за собою люк. Но кто это был?
И она мне ответит:
– Не помню.

***

И всё ещё – не время возвращаться
в родное царство тёплой немоты,
где затаились штопальные пяльцы,
<и в будущем нам тоже не застыть>,
<где съёмщик обещает: завтра съеду,
а послезавтра он оплатит счёт>
ореховыми листьями по свету
однажды нас развеет-разнесёт,
оставшимся доверят тайны сада.
Но пусть никто не скажет им о том,
что загустеет, выпадет в осадок
двухтысячных непринуждённый тон.

***

Я твой дом, дитя,
твой девичий вечный дом
Я зову тебя нездешними голосами.
Здесь праматери,
заглядывая в *потом*,
тебя видели – и для тебя соткали
это место встречи,
куда ты идёшь сновидеть.
Замирают стрелки,
плавится счётчик лет.
От начала времён
ты бежишь по траве, и в нитях
твоих вен
блуждает
беспечный свет.

***

Отчего вдруг твердеет воздух,
неподвижно с чего крыло,
стрекоза, почему твой остов
белым тюлем ой замело,
от кого же теперь спасаться,
у кого будешь кров искать
<и текстильного стынет царства
белозубый и злой оскал>
Так иди же ко мне на палец,
как и ты, я не помню, как
мы с тобою одни остались,
не считая зака-
та- за-
крываю окно: невежде
бесполезен любой побег.
Ты взлетишь, как летала прежде…
Высоко созревает снег.

***

Иов 31:12 ... «огонь, поядающий до истребления»
Втор 4:24 ... «ибо Господь, Бог твой, есть огнь поядающий»

.

Только мёртвые деревья и пепел.
Только пепел.
Всё, что не догорело сейчас,
вспыхнет снова
от малейшей искры.
Добро пожаловать в память травматика,
замершего перед обугленными скелетами
собственных сосен,
иссушенных стихией.
По обочинам памяти лежат головёшки:
штабеля имён.
Через много лет
появится новый лес,
и всё, что не догорело сейчас,
от малейшей искры вспыхнет снова.
Потому что бог твой
есть огонь всепожирающий,
Потому что всё, что не догорело сейчас,
вспыхнет снова,
и мёртвые умирают с каждым разом мучительней,
и нет ничего, кроме этого леса,
из которого не убежать,
потому что по обочинам памяти лежат головёшки,
и они вспыхнут снова.

***

В посылке:
твои детские фото
и пакетик семян
посей на балконе
для пчёл.
Почтальон
запомнил, чья птицей гардина
взметнулась,
в гости ходить повадился.
Надорвёшь картон –
майский полдень в нём
и привет
без обратного адреса

БОРИС ФАБРИКАНТ

ОСТАТОК СЛАДОК

***

Это графика – дерево/снег
С тонким светом прозрачного солнца,
Мне оно не зажмурило век
И спешит отразиться в оконце
Древней, доброй, забытой избы
У примёрзшей к метели берёзе,
От которой немного ходьбы
До сосулек, ми клавиш мороза.

Забираешь картину и прочь
В городскую початую ночь,
Где на многоэтажной избе
Каплют ключики к новой судьбе,
Где любою порой годовой
Наша жизнь отбивает начало.
Льётся время водой дождевой,
И усталый судья боковой
Честно счёт доведёт до финала

***

Картинки дня, короткие, простые,
летят быстрей – осенний сериал.
Так скорые идут полупустые
вагоны на заброшенный вокзал.

Оконные короткие просветы,
и двадцать пятый кадр не разглядеть,
и перегоны повторяют этот
короткий фильм – рождение и смерть.

И ложечка, дрожащая в стакане,
и полотенца вафельный узор,
о жизни и начальстве, и обмане
полночный бесконечный разговор.

Столбов касаясь, речки, крыши, скоро
на запад убегающий рассвет
затормозит, и выбрав этот город,
помашет на прощание сосед.

А площадь привокзальная хрома,
как все велосипедные педали,
а дальше разбегаются дома
и открывают сказочные дали.

А рельсы телефоном проводным
звенят ещё с минувшего вокзала,
и новое кино по выходным,
день первый, день второй, а днём седьмым
опять всё начинается сначала.

Опять и на закате, на рассвете
герои фильма плачут и поют,
и зрители и радостные дети
глядят и по секрету узнают,
что не погибнут никогда на свете

***

Где небес распахнутая книжка,
солнце водит пальцем по словам.
На земле качается мальчишка,
это он всё так нарисовал.

А ещё мечта летает в стае
по ночам, пока не засекли.
Сердце обрывается у края
сбоя притяжения земли.

Там увидеть можешь, что захочешь,
а потом попросишь позабыть.
Как понять слова – что было мочи?
Где узнать, а кто же волчья сыть?

Ведь у нас теперь другие сказки,
замки, флаги, жёны и страна.
Все пейзажи в акварельной краске.
На миру опять и смерть красна.

Ранним утром открываешь двери,
будто улетаешь навсегда.
Хочется кому-нибудь поверить,
что ещё воротишься сюда

***

Как серебряной нитью шито,
Тридцать буковок нанизал.
Это чётки, а может, сито
Узелочками завязал

День отсвечивает туманом
И сдувает его, любя.
Просыпаешься слишком рано,
Ничего ещё нет для тебя.

Ожидание, ожидание,
Перекатываются года,
До прощения, до прощания,
До свидания навсегда.

Ты стараешься в каждом случае,
Собираешь своё тряпьё.
Ты не хуже живёшь, не лучше,
Чем Георгий и змей, и копьё.

Разбегается ртутью правда,
Не нанизывается на нить.
Как опасно добиться права
Жить

***

Сорока галкой помечает день
На облаках – прозрачный календарь,
Ход времени, как солнечная тень,
То понедельник, вторник, то январь.

Как будто старый эпидиаскоп
Картинки проецирует с небес,
Снегурочек, волшебных антилоп
Из вечной жизни сказочных чудес.

Мир обустроен: утро, день, зарплата,
Моря, леса, семейная постель.
И даже можно пересечь экватор
Как место склейки вод и всех земель.

И шар земной, годам ведущий счёт,
Ни разу не открученный назад,
С нас по тарифу дань за жизнь возьмёт,
Даст бонус – две монетки на глаза

***

Хорошие стихи – тончайший скальпель.
Над чашкой Петри школьный микроскоп,
Разрез арбуза из медовых капель
И под сугроб подтаявший подкоп.

Забытый звон несбывшейся печали
И ожиданье счастья в пустяке,
Когда обычный день в своём начале
Случайно сдёрнет тень на потолке.

И нет пока предчувствия финала,
И даже вечер не видать вдали.
А каждая минута как начало,
И горизонт бескрайнее земли.

И долгий вдох, похожий на движенье
Плода с ветвей на жёлтый горицвет,
Так отсекает день, что продолженье
Всего, что будет, видно на просвет

***

Нарочно в полуночной
Таинственной тиши
Так громко сердце бьётся
Вино красиво льётся
И с прописной и строчной
Все песни хороши

И кажется так было
Всегда тому назад
И ты его любила
красивые глаза

И не было печали
И не ждала беда
Вокзалы засыпали
Гудели поезда

И этой жизни ладной
Казалось нет конца
И ты такой нарядный
И я красавица

***

Будто призраки, вещи из памяти, из-под руки
рассмотри, не вставая, до штампика, трещины, капли,
так мышиные бродят в лесу по ночам огоньки,
над водой молчаливо летают дежурные цапли.

А рисунок изогнутой шеи – отличие, либо
ключ к простору, закрытому грешному оку людскому.
Вдоль протоки стена камышей отражает изгибы
буруна, отразившего солнце, идущее к дому.

Мы за ним продвигаемся, лодка толкает волну,
а деревья у края висят в отражении неба,
и закат под корнями, стихая, уходит ко дну,
завтра только восход, а закат – и не будет и не был.

Вещи в доме из прошлого – собранный жизнью осадок,
крошки памяти, в сказку ведущие тайной дорогой.
Ведь остаток, по старой забытой пословице, сладок.
Не продай, не дари, не забудь, сохрани и не трогай

***

Ходят смертные, ходят в церкви,
незаметные тянут цепи
от земли они и до Бога,
не длинны и не коротки,
и за каждым идёт дорога,
не рассмотришь из-под руки.

Им ночами в постели снится
одинокая в небе страница
на неведомом языке,
и летают люди, в руке
узелок небольшой холщовый
с чём-то взятым для жизни новой

из прошедшей, где были живы,
что болело у них, зажило,
и летают теперь далеко.
Только спящим глядеть нелегко

НИКА БАТХЕН

ВНЕЗАПНОЕ КАСАНЬЕ ВОЛШЕБСТВА

СМОЛЧАТЬ БЫ

Моим стихам, написанным так поздно,
Так пафосно, красивисто, серьёзно,
Так вычурно, черно, витиевато,
Что вязнешь в них и тонешь без возврата,
Нет места. Нет статьи. Нет права слова.
Я всадница, смела и безголова,
Я Пятница на острове Итака,
Сама себе и Стенька и ватага,
И глупая княжна и злые волны.
Иду на мир войной. По стойке «вольно»
Вытягиваюсь прочь. Спешу обратно.
Ищу чуть свет на каждом солнце пятна.
Кручу слова – от вымысла до сути.
Брожу бомжом среди судей и судеб.
Пишу как ошалелая. Смолчать бы,
Остаться дневником, экраном в чате.
Но не дано. Кино ещё не снято.
Стихи спешат – волчата и ягнята,
Гоню их прочь, сминаю и сметаю.
Пришла бы в сети рыбка золотая…
Глуши мотор и не жалей тротила –
Я за слова ещё не заплатила.

ГОДИВА

Прячутся псы и птицы. Краснеют рощи.
Время кричать и прыгать, давиться смехом.
Выеду голой на городскую площадь,
Ибо отказ от неба сродни доспехам.
Ибо отказ от веры сродни наряду,
Шёлковой ласке льнущей к плечам камизы…
Всё, что имею ныне, доступно взгляду –
Впадины и изгибы, грехи, капризы.
Диво, Годива девка теперь – не дева.
Каждый гляди – что там за шкурой плоти!
Можно дарить монеты, молиться денно,
Можно свистеть навстречу дурной породе.
Рыжие волосы ныне моя кольчуга.
Гордое сердце бьётся за каждый выдох.
Ветер захлопнет ставни. Случится чудо.
Еду по городу, не подавая вида,

Ибо отказ от счастья сродни молчанью.
Ибо любая ветка под снегом гнётся.
…Только слепых в городе я встречаю,
И ни один следом не обернётся.

РЕЧЕНИЕ

Причал печали в море немоты.
Намытый пляж, некрашеная галька.
Прелюдия заброшенного парка.
Не ветрено, не холодно, не жарко.
До марта тьма. На «ты» идут коты.
Латынь сменилась мовой. Крест – звездой.
Качнув хачкар, умчалась прочь косуля.
Нарциссы до весны в листве уснули.
Три тополя в почётном карауле
Стоят себе у лестницы простой.
Что Чатыр-Даг, что Кош, что Ак-Кая –
Названия, речения, не боле…
Душа моя рекой впадает в море
Шумливое и всё-таки немое,
Барашками берущее маяк.
На верный свет плыви же, капитан!
Смотри – снегами лёгкими объяты
Причалы Ялты и пещеры яйлы,
Морщинистые щёки зимних яблок…
И я – неповторима. И не та.

НЕВЕСНА

Меня не оставляет слово «снег»,
Рассыпчатый, хрустящий, бесполезный.
Немаркая изнанка звёздной бездны.
Сплошной покров для веток и корней.
Кочевник вьюги, вечный печенег.
Основа для сосулек и печенек.
Неверный враг, обманчивый изменник,
Умеющий краснеть или чернеть.
Жемчужный, дымный, блёкло-голубой,
Извечной мерзлоты слуга и данник.
С просоленных проспектов прочь изгнанник,
Идущий где-то в тучах за тобой.
У снега нет ни дома, ни родства,
Ни вымысла, ни смысла, ни секрета…
Падение, кружение и это
Внезапное касанье волшебства.

ПРИМЕТЫ ЯНВАРЯ

Три всадницы зимы – Метель, Позёмка, Наледь.
Два белых короля – Мороз и Снегопад.
Их подданным дано скользить, сползать, сигналить
И отдавать салют секирами лопат.
И Золушек и жаб полярный дух закружит,
Сияньем хрупких звёзд им головы вскружит.
Одни лишь огоньки останутся снаружи –
В безличности ночей лучинками служить.

Приметы января – исклёванный шиповник,
Истёртые следы, неверная лыжня.
Не пишет никому провинции полковник.
Не слышно ни души, ни ши в начале дня.
Не Тара на двоих – типичная Таруса.
Наличники, кресты, грачи и снегири.
Душа стремится вверх, избавившись от груза.
Усталый клавесин твердит своё Мари…
Три всадницы спешат на штурм домов и башен –
К началу февраля расправиться с теплом.
Но огоньки дрожат, и новый день не страшен.
…Сожги тетрадь в печи. Не думай о былом.

ВЫБОР

Яростный ветер целует губы,
Шарит по коже, сбивает с ног.
Каждый мальчишка рождён Колумбом.
Каждый бесстрашен и одинок.
Каждый хоть раз поднимает парус,
Рвётся в заоблачный беспредел,
Каждый с балкона чихал на старость…
Кто-то сорвался и улетел.
Кто-то вернулся к трудам и барам,
Бросил корявые якоря.
Кто-то причалил к счастливым парам,
Кто-то к товарищам января.
Пьёт до икоты, глядит понуро,
Портит пространство сплошных картин…
Кто-то отправится с Байконура
В небо с разгона – три-два-один!

КЪЫРЫМ

Крым накрывает зелёным плащом.
Будет не больно, куда бы ни шёл.
Морю себя, как страницу, открой.
Звёздное небо лежит над горой.
Лик византийский, армянский хачкар.
Тонкий узор можжевеловых чар.
Пчелы Чембало сплетаются в рой.
Звёздное небо лежит над горой.
Место, где ждут – у Биюк-Кара-Су,
В сказочном, чёрном, немолчном лесу.
Дымный костёр и валежник сырой…
Звёздное небо лежит над горой.
Без багажа, без руля и ветрил
Просто шагай, просто в небо смотри.
Мчат над стеной нескончаемых гор
Лошадь и всадник, Мицар и Алькор.

БОГАТОЕ ВООБРАЖЕНИЕ

В моём придуманном городе что ни день выпадает снег.
Прилетают на счастье голуби, ангелы и синицы.
Пара божьих коровок по бумажной ползёт стене.
Письмоносец-паук посулил – всё растает и прояснится.
Смотрит в небо волшебник. На табличку «запрещено»
Выпускает из старой трубки колечки дыма.
Дремлет в башне ажурных окон ничей щенок.
Видит яростных рыцарей и осаду Ерусалима.
Продавщица фиалок рисует цветы, смеясь,
И на площади дарит несуществующие букеты.
Колокольчик прозрачный качает печаль моя.
Не дождаться ни всадника, ни золотой кареты.
Даже дудочник не задержался у белых стен –
В опустелых подвалах ни зёрен, ни старых книжек.
Где-то морщится море и полнится солнцем степь.
Здесь всё призрачно – арки, пролёты, ниши.
Всё придумано – звёзды, флюгеры, сказки пустых страниц.
Все однажды смоют и скинут в железный ящик.
Город «нет и не будет». Город «не обернись»…
И только снег на крыши сыплется – настоящий.

БАЛЛАДА СМЕЛОСТИ

Я умею то, что никак не дается жёнам.
Это разница между голым и обнажённым.
Это пропасть между бесконечным и беспредельным,
Между плотью Христовой и просто телом.
Я сжигаю мосты, потому что сама сгораю.
Я не райская, не первая, не вторая,
Не Лилит, не Ева, не Марфа и не Мария,
И не та, о которой в церкви не говорили.
Я лишь нежность, что стала сильнее звериной силы.
Я лишь горсть земляники на испачканном дне корзины.
Лёгкий пепел и тающее во рту дыханье,
Две монеты древней и самой последней дани.
Да, до смерти и дальше, через реку, ползком в посмертье.
Посчитайте, честные мытари, всё измерьте –
Неподвластна искусной истине фарисейской,
Я живу как жаворонок – не ворошу, не сею,
Не варю, не верчу избушку, не знаю правил,
Не тону ни в воде, ни в кипящей шоссейной лаве.
Стала словом – а может быть, слово – мною.
Исторгаю горячее, скверное, нутряное.
…На душе – полюбуйся – полынь, череда, душица.
За душой – снег идёт и падает и ложится…

ХОРОШИЙ ВОПРОС

Меня спросили на вечере – где мои стихи о любви?
Где романтика, розы, яблоки и хрипучий больной надрыв?
Се ля ви, дорогие зрители, эту кнопку не надавить.
Я показываю красивое, белых кошек и толстых рыб.

Я рисую гористо, крымово, в сине море макаю кисть.
Я учу караимский, греческий, вавилонский и никакой.
Я балладник, неладный, истовый, феерический баталист.
Собираю слова в словарики, пробиваю доску строкой.
Я умею молиться, плакаться, бить наотмашь в колокола.
Обнимаю за шею лебедя, уговариваю лететь.
Я ложусь поросёнком розовым на накрытый квадрат стола.
Я кажусь неуместной молнией в царстве пуговок и петель.
Я всмотрелась в глаза безумию, перевесилась через край.
И в душе ни цветка, ни искорки, ни осьмушки от половин.
Тусклым солнцем больничной лампочки пересвечена конура.
Виновата ли, что не дышится, не бормочется о любви?

НАТАЛЬЯ ГРИНБЕРГ

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГАНЭФ
трагикомедия в двух актах
фантазия на тему биографий Эдди и Рут Рознер

Эдди Рознер – джазовый трубач, скрипач, дирижёр, композитор и аранжировщик, живший и работавший в Германии, Польше и СССР. Один из наиболее популярных джазовых артистов в СССР, чьи записи были дважды запрещены.

(Википедия)

«И в беде нужна удача».
Шолом Алейхем «Мальчик Мотл»

Ганэф (идиш) – плут, пройдоха, вор

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

ЭДДИ РОЗНЕР – трубач-виртуоз, шоумен, руководитель джазовых оркестров. Белые зубы, тонкие усики и плутовская улыбка. На выбор режиссёра, Эдди может говорить по-русски чисто или с немецким акцентом. Родился в 1910 году.
РУТ – его жена. Красавица и полиглот. На всех языках говорит без акцента. Родилась в 1919 году.
ЛИНА – их дочь. Родилась в ноябре 1941 года.
ИДА – его тёща, звезда еврейского театра, известного во всей Европе. Родилась в 1899 году.
ГОФМАН – друг Эдди, мастер на все концертные руки: скрипач, гитарист, певец и конферансье. Очаровательный любитель подтяжек. Немного пшекает, так как родился в Гродно, когда город был ещё польским.
ШНОБЕЛЬ – молодой скрипач в оркестре Рознера. Шлемазл, шлемил и шмендрик в одном лице – короче, искренний неудачник. Польский еврей, вначале плохо говорящий по-русски.
ХАНЦ / САКСОФОН / МАЙОР/ ГЛАВНЫЙ МИЛИЦИОНЕР / МОРДА – исполняет один актёр.
ХАНЦ – немецкий солдат.
САКСОФОН – Тони Левитин, цыган.
МАЙОР – майор львовского МГБ.
ГЛАВНЫЙ МИЛИЦИОНЕР – сотрудник львовского МГБ.
МОРДА – молодой зэк, говорящий по-русски с еврейским акцентом.
ЗИНА / ГИТА / АЛЕВТИНА – исполняет одна актриса.
ЗИНА – интеллигентная зэчка.
ГИТА – нищенка.
АЛЕВТИНА – зэчка-повариха.
ХОЗЯЙКА / ДОБА / МАРЫСЯ / УБОРЩИЦА – исполняет одна актриса.
ХОЗЯЙКА – Геня Борисовна Диренбикер, немолодая хозяйка львовской квартиры.
ДОБА – Дебора Марковна Сантатур, одноклассница Иды. Выцветшая женщина лет 55, выглядит на 20 лет старше.
МАРЫСЯ – зэчка из белорусских крестьян.
УБОРЩИЦА – женщина неопределённого возраста.
МИЛИЦИОНЕРЫ, СЕКРЕТАРЬ – от двух до четырёх мужчин.

Реальные события и люди переплетаются с вымышленными.

В спектакле желательно использовать номера из репертуара джаз-оркестра Эдди Рознера в записи или в живом исполнении. Названия номеров либо указываются в ремарках, либо выбираются в процессе постановки.

Подробнее о музыкальном сопровождении читайте в послесловии.

Идиш, язык европейских евреев, имеет несколько диалектов. Для комического эффекта в пьесе используются слова и фразы, популярные в разные времена.

АКТ 1

ПРОЛОГ

Слышна джазовая импровизация на трубе. Прожектор выхватывает из темноты фигуру Эдди Рознера, держащего трубу.

ЭДДИ (*зрителям*). Скажите, почему так трудно в наши дни родиться, жить и умереть с видом на одну и ту же реку, чихая от запаха одних и тех же цветов и разговаривая с внуками на одном и том же языке? А? Кто бы мог подумать, что мне придётся десятилетиями добиваться права вернуться на родину, в Берлин. Как все молодые музыканты, я обожал гастроли! Париж, Амстердам, Варшава… Новые зрители, новый успех. Всё это радовало и манило. Потому, что мне было куда возвращаться: в отчий дом на улице Георгенкирхштрассе. Там меня обожали. Там меня всегда ждали. Но… пришёл к власти Гитлер… Сначала я убежал в Бельгию, потом в Польшу, а потом… потом было много «потом».

Слышна импровизация на трубе. Свет прожектора передвигается на фигуру Гофмана.

ГОФМАН (*Машет трубе отбой*). Спасибо, спасибо! (*В зал.*) Добро пожаловать…

Труба заглушает его голос.

ГОФМАН (*трубе*). Всё я сказал! Всё! (*В зал*) Ох уж эти трубачи… (*Щёлкает подтяжками.*)
И я, быть может, был бы Рознер,
Когда б учился на трубе!..
Эдди Рознер – всегда огромными буквами на афише. Джаз оркестр под управлением Эдди Рознера. Билетов не достать. Ажиотаж, аншлаг, нескончаемые аплодисменты. Бис, бис, бис! А вы, скорее всего, и не слышали о нём. Его имя стёрло время и советские цензоры. Кажется, какая крамола может содержаться в *(напевает начало песни «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь»)*? Это играл оркестр под управлением Рознера! Но… цензоры… У них свои причины и методы. В древнем Риме, например, памятнику прикручивали новую голову, когда предыдущая впадала в немилость. А наши цензоры откручивали и прикручивали имена. Впал Эдди в немилость и стал «советским композитором»: «В фильме использовалась музыка советских композиторов». А записи пластинок вообще размагнитили и в публикациях запретили упоминать. Есть имя – есть человек. А забвение безымянно.
Но… кое-где завалялись пластинки и видео, живы и свидетели былой славы Эдди Рознера. Остался и я, Файвел Гофман, его ближайший друг и коллега. Я помню его молодым и блестящим, помню его обворожительную жену Рути. Я был без памяти в неё влюблён, но… это так, между нами.

Сцена 1
ПУП ЗЕМЛИ

ГОФМАН. С чего же начать?.. Может ближе к концу, с года, этак, 1962-го. На развалинах римского форума.

Удаляется. Сцена освещается. Развалины римского форума. На сцену выходят Рут и её двадцатилетняя дочь Лина.

ЛИНА. Ещё одни развалины. Мама, опоздаешь на репетицию.
РУТ. Линусь, до театра минут пятнадцать. Успеем.
ЛИНА. Ты просто время тянешь. У тебя мандраж перед премьерой. Первый спектакль в Италии…
РУТ. Мандраж, не мандраж… Разберусь.

Останавливаются возле древней таблички.

ЛИНА *(читает табличку)*. Umbilicus Urbis Romae. Umbilicus… umbilicus… Я сама вспомню.

Рут порывается что-то сказать.

ЛИНА. Мама, я сама! Umbilicus – это… это пуп. Urbis… Пуп города Рима.
РУТ. Во времена римской империи – это был центр мира.
ЛИНА *(показывает на развалины)*. А, да… по истории проходили. Отсюда вроде отсчитывали расстояния. Здесь была яма для приношений. Сюда бросали первый урожай и горсть земли с места, где родились.

РУТ. Если бы нам бросать… где бы мы её взяли? *(Усмехается.)* Ты родилась, когда я была в эмиграции и на гастролях. Я родилась, когда твоя бабушка Ида гастролировала в Киеве. А она тоже родилась на гастролях.
ЛИНА. Лягушки-путешественницы.
РУТ. Актрисы-путешественницы. *(Выходит на авансцену. Зрителям.)* Жизнь в нашей семье как театр. Только никак не могу определить, играю ли я комедию или трагедию. В одну минуту: «Перед вами выступит знаменитая певица и актриса Рут Рознер», а в другую: «Рознер, на выход! С вещами!». В одну минуту я сижу за столиком в варшавском клубе «Эспланада», молодая и наивная. Смеюсь над выходками Эдди – он мог шутить даже играя на трубе – и думаю «жизнь прекрасна, и мы вечны»… А в другую – на следующий день! – сижу в подвале этого же клуба, укрываясь от немецких бомб.
Как я любила Эдди, как боготворила! А он… Как! Как он мог это сделать?! Как?! После всех страданий, которые я приняла из-за него. А ведь могла тогда просто уехать куда-нибудь подальше, вглубь страны. Тихо развестись, как многие, и жить спокойно. Но как же! Спрятаться, когда Эдди в беде? Как же мораль и приличия – я же играла преданную жену в трагедии. Я же не могла от него отречься. А он… Ганэф! Га-нэф!

Некоторое время звучит отрывок из композиции «Прощай любовь». На сцену стремительно выбегают два молодых парня. Пробегая мимо Рут, выхватывают у неё сумочку и убегают.

РУТ. Почему опять у меня?

Затемнение.

Сцена 2
В ЗАПАДНЕ

Прожектор выхватывает из темноты фигуру Гофмана. За сценой звучит короткая импровизация на ударных инструментах.

ГОФМАН. Милые дамы! Следите за своими сумочками. Прямо сейчас проверьте, на всякий случай. Ни у кого – ничего?.. Отлично! Идём дальше. Да… забыл вам сказать про аидов. Звучит загадочно: аиды… Персонажи из оперы «Аида»? А, может, последователи древнегреческого бога Аида? Ни в коем случае. *(Указывает на себя.)* «Их бин а ид», то есть «я – аид». Эдди, Рут и я – аиды, евреи. Дома мы разговариваем на маме лошен – мамином языке, идише, но жизнь заставила нас выучить много языков. Итак. Варшава. Сентябрь 1939-го. Первые дни Второй Мировой Войны. Подвал клуба «Эспланада». *(Удаляется.)*

Сцена освещается. Подвал после бомбёжки. Всюду обломки мебели и музыкальных инструментов.

РУТ. Где же он!?
ИДА *(Рут).* А ты утверждала, что он тебе не нравится.
РУТ. Нет, это вы все задирали носы. «Кто этот голодранец?» *(Фыркает.)* «Джазист… И труба? Разве это приличный инструмент? Без роду, без имени. Мы же Каминские! Мы же знаменитый театр!».
ИДА. Не преувеличивай. Я просто тебе поддакивала. И ростом особо не вышел, и усики тебе казались водевильными. Разве нет? Кто утверждал: «Мама, сказать, что он не в моём вкусе – это ничего не сказать»?
РУТ. Ну утверждала. А он не сдался! Он боец!
ИДА. Казанова он.
РУТ. Мама! Разве ты не видишь, как он меня обожает, как предупреждает все мои желания.
ИДА. Он обожает, он предупреждает… А ты?
РУТ. Как-то он влетел в гримёрку. Глаза горят, руки обжигают. У меня внутри что-то хрустнуло, как льдинка, и бросило в жар.
ИДА. Любовь… Волшебное чувство! А парень не хуже других.
РУТ. Теперь, когда он нашёл для нас убежище, он стал для тебя «не хуже других»! Нет, он лучший! Он себя ещё покажет!
ИДА. Покажет, покажет… Если… Если нас не разбомбят, и если мы выберемся из Варшавы, и если мы куда-то убежим… и если… И если, и если… А может это конец, и никто уже никому ничего не покажет. В могиле музыка не играет.
РУТ. Мама, но мы ещё не в земле, мы выберемся из этой западни. Вот увидишь, Эдди всё устроит. Он такой!
ИДА. Ну прямо новый Моисей.

С улицы доносятся звуки автоматной очереди и неразборчивые крики на немецком и польском.

РУТ. Мама! *(Обнимает Иду, как ребёнок).* Мамочка!

Доносятся неразборчивые крики на немецком и польском. Рут на корточках пробирается к окну и выглядывает на улицу. Слышны звуки останавливающегося мотоцикла, потом добродушный разговор двух мужчин по-немецки.

РУТ. Не понимаю. Какой-то немецкий солдат привёз Эдди на мотоцикле, и теперь они мирно беседуют о весне в Берлине.
ИДА. Он нас сейчас всех сдаст! Он ганэф!
РУТ. Ну какой он ганэф?
ИДА. Ты ещё увидишь!.. Что там происходит?
РУТ. Коробки какие-то… Немец вынимает коробки из коляски мотоцикла. Улыбается… Отдаёт честь Эдди!

Раздаётся звук отъезжающего мотоцикла и шаги Эдди, поднимающего по лестнице. Распахивается дверь. Входит Эдди, нагруженный многочисленными коробками. Рут бросается ему на шею.

РУТ. Что случилось?
ЭДДИ *(ставит коробки на пол).* Золотце моё, не торопись, ты говоришь с самим герр Рознером. Mia madre è italiana. Mein Vater ist Deutscher.
РУТ. И они в это поверили?
ЭДДИ. Ну конечно! Как же не поверить?! Ну посмотри на меня внимательно! Я же вылитый сын итальянской матери и немца-отца. *(Поворачивает своё лицо в профиль и анфас.)* И оба они фашисты. А берлинский акцент мой не подделаешь. Впитал его с молоком моей аидыше мамы. Главное – что? Главное, что ты сам должен поверить в ситуацию. «Господин офицер, я только женился и сразу попал в плачевные обстоятельства. Дом наш разбомблён. Все продукты уничтожены. Не дайте немецкому гражданину упасть лицом в грязь перед молодой женой… Да, конечно мы едем в Берлин, и я сразу, просто немедленно, добровольцем в армию. За Родину, за Фатерленд!».
ИДА. Если музыкальная карьера тебе не удастся, пойдёшь ко мне в театр. *(Усмехается.)* Mia madre è italiana.
ЭДДИ. Моя дорогая тёща! В какой театр вы меня возьмёте? Мы сидим в подвале единственного на улице здания с остатками крыши. Город в руинах. По дороге видел, как одному аиду оторвали бороду… Крови… Стреляют, распоряжаются! Какой театр? Всё сгорело: и инвентарь ваш, и костюмы, и пьесы. А моя труба нет! Собирайтесь. Будем пробираться к советской границе.
ИДА. Но как? На чём?
ЭДДИ. Пани Каминская, на зяте.
ИДА. Почти женился – и уже зять?
ЭДДИ. Зато золотой. И труба у меня золотая.
ИДА. Но на улице фашисты!
ЭДДИ. Не забывайте, что mia madre è italiana, Mein Vater ist Deutscher.
ИДА. А сам ты ганэф!
ЭДДИ. Может, чтобы сейчас выжить, нужно быть немножко ганэф.

Затемнение.

Сцена 3
ПОБЕГ

Прожектор выхватывает из темноты фигуру Гофмана.

ГОФМАН. В начале Второй Мировой, в Гродно, где я жил, пришли советские войска. Бежать мне было некуда, да и незачем. А вот Эдди с группой беженцев был задержан немецким патрулём на железнодорожной станции недалеко от польско-советской границы.

Звучит тревожная музыка. Гофман уходит. Сцена освещается. Октябрь 1939-го. Железнодорожная станция на оккупированной немцами территории Польши. Рут, Эдди, Ида и ещё несколько человек сидят на земле спиной к стене. Перед ними сумки с вещами. На женщинах плащи поверх шуб. Эдди спиной подпирает рюкзак с трубой и концертным костюмом. Перед ними ходит немецкий солдат Ханц.

ХАНЦ *(крутит револьвер на указательном пальце и ухмыляется).* Снимай, снимай. Не понимаешь? Что у тебя под плащом? Шуба? Снимай! Давай, давай! Деньги, золото, серебро.

Все снимают с себя верхние слои одежды, кольца, серьги. Складывают в кучу на земле.

ХАНЦ. Сидеть! Ждать!
ИДА. Что ждать? Мы мирные люди. На каком основании вы отобрали у нас вещи?
ХАНЦ. А часы? Где часы? Выворачивай карманы!

Выворачивают карманы. У одного мужчины выпадают очки.

ХАНЦ. Очки нам не нужны. Деньги, золото… Давай, давай!
ГОЛОС. Эй, Ханц! Тебя разыскивает Капитан Дитрих!
ХАНЦ *(грозит беженцам револьвером и идёт на звук голоса).* Вернер, посмотри за этими jüdische Schweine!
ИДА *(Эдди).* Ну и где теперь твоя итальянская мама и папа-немец, и оба они фашисты?
ЭДДИ. Пани Каминская, такое впечатление, что вы меня стали меньше любить за мою слабость к вашей семье. Это же не фокус – показать мой германский документ и сыграть сцену из спектакля Mia Madre и Mein Vater… Фокус – сделать это для всех вас.
ГОЛОС. Эй! Смотрите сюда!
ИДА *(Эдди).* Куда он показывает? Ты что-нибудь понимаешь?
ЭДДИ. Показывает на калитку. Мол, бежать туда.
ИДА. Чтобы ему интереснее было в нас стрелять?
ЭДДИ. А вы предлагается продолжать сидеть, как утки, и ждать возвращения охотника? Этот Вернер выглядит нормальным.
ИДА. А как ваш нормальный немец объяснит наше исчезновение?
ЭДДИ. Это его дело.
РУТ *(показывает в сторону).* Я боюсь. Там поляки разбирают вещи. Увидят. Может, нас подержат и отпустят? Зачем под пули лезть? Эдди, может, всё обойдётся?
ЭДДИ. Золотце моё, я от них уже пять лет бегаю. Галопом по Европе. Поверь мне! Иногда единственный выход – идти ва-банк. *(Всем.)* Итак… Ноги в руки. Исполняем скерцо в темпе *allegro ma non troppo,* быстро, но не так быстро. Бежим, но делаем вид, что идём по своим делам. Наш высокоуважаемый Ханц, чтоб он рос, как лук головой в землю, зашёл в здание вокзала. А мы спокойно встаём и *allegro,* но не очень, *(задаёт темп)* ум-па-па, ум-па-па, направляемся к калитке, а за ней *prestissimo* в сторону леса *(задаёт темп)* тра-та-та-та-та-та. Понятно? Итак, размер четыре четверти, на счёт три начинаем и следуем за мной. Готовы? *(Взмахивает воображаемой дирижёрской палочкой).* Раз, два, три! *(Тянет Рут за руку).*

Беженцы направляются к калитке. Эдди успевает сгрести шубу Рут и подгоняет всю компанию. Все выбегают за кулисы. Крики: «Стой!», стрельба. Затемнение. Слышна импровизация на ударных инструментах.

Сцена 4
ОТЕЛЬ «ЖОРЖ»

Продолжается импровизация на ударных инструментах, переходящая в короткий отрывок из начала «Фантазии» на темы Дунаевского из репертуара оркестра Рознера.

В темноте слышны восклицания «Не бойтесь, товарищи, вы в безопасности», «Вы на советской территории».

Прожектор выхватывает из темноты фигуру Гофмана.

ГОФМАН *(Громко выдыхает, как будто после бега).* Главное для убегающего что? Правильно! Чтобы было куда бежать и предпочтительно не «изо огня да в полымя». Сначала Рознеры добрались до Белостока, но городок маленький, и они уехали искать ангажемент в Лемберг. Его тогда только переименовали во Львов, но шарм ещё остался, и аромат яблочного штруделя под ванильным соусом ещё витал в воздухе. Да что и говорить. Город моей мечты. Итак. Площадь поэта Адама Мицкевича, отель «Жорж».

Удаляется.

Сцена освещается. Роскошный номер во львовском отеле «Жорж». Простуженная Рут лежит в кровати, закутанная в одеяло. На тумбочке стоит поднос из ресторана с элегантно сервированным чаем. Рут кашляет, сморкается и разговаривает в нос. Вбегает Эдди со страдальческим лицом.

РУТ. Нас выселяют из отеля за неуплату?
ЭДДИ *(грустно садится на край кровати).* Золотце моё…
РУТ. Ах если бы все твои «золотце» можно было переплавить в настоящее золото. У меня в голове не укладывается, почему тебе нужно было снять непременно самый шикарный номер в самой шикарной гостинице Львова, когда за душой у нас шуба, труба и пустой кошелёк.

ЭДДИ. Деньги – не главное.
РУТ. Когда они есть.
ЭДДИ. Золотце моё. Что такое деньги, в конце концов? Просто справка о предыдущих заслугах, которой можно пользоваться, чтобы дожить до будущих заслуг. Во Львове ещё прекрасно помнят о моих прошлых выступлениях. К тому же у меня контракт на целый месяц в клубе «Багатель».
РУТ. Был. Контракт был во Львове, когда ты был в Варшаве.
ЭДДИ *(грусть улетучилась)*. Но теперь я во Львове.

Рут кашляет, сморкается и смотрит с удивлением, как Эдди вынимает трубу и играет радостный пассаж, потом берёт телефонную трубку.

ЭДДИ *(звонит по телефону)*. Это господин Рознер. Не могли бы вы, дорогой, прислать нам бутылку шампанского, два бокала и какую-нибудь закуску на выбор повара. Скажите, что для Эдди Рознера. Он знает, что я люблю.

Рут залезает с головой под одеяло и стонет.

ЭДДИ. Золотце моё! Зачем плакать, когда можно веселиться. Плакать мы всегда успеем.
РУТ *(из-под одеяла)*. Мишугине, сумасшедший! *(Эдди стаскивает одеяло с её головы и целует в губы. Она вырывается. Заворачиваясь в одеяло, она вскакивает с кровати, снимает шубу с вешалки и вручает Эдди).* Надеюсь, что на базаре кто-нибудь выдаст тебе за неё справку на сумму, равную предыдущим заслугам этой шубы.

Стучат. Эдди открывает дверь и впускает официанта в красивой униформе отеля. Официант демонстрирует Эдди этикетку на бутылке шампанского. Рут порывается остановить откупоривание бутылки, но Эдди её сдерживает.
Официант разливает шампанское по бокалам и кланяется. Эдди шарит в кармане.

ОФИЦИАНТ. Что вы, пан Рознер. Обслуживать вас – для меня большая честь. Вот если… Не сочтите за нарушение протокола. Я специально захватил. *(Достаёт открытку.)* Это программа ваших прошлых гастролей в Лемберге. *(Читает открытку.)* «Лучшая труба Европы», «Белый Луи Армстронг», «По дороге с американских гастролей»…
ЭДДИ. И так далее, и тому подобное.
ОФИЦИАНТ. Можно ваш автограф, а то жена подумает, что я всё выдумал.
ЭДДИ. И ваша тоже? Как вас зовут?
ОФИЦИАНТ. Микола.
ЭДДИ *(пишет на открытке)*. Пану Миколе от Эдди Рознера в память о встрече во Львове. И приходите на мои будущие концерты. С женой.
ОФИЦИАНТ. Спасибо, пан Рознер. Обязательно! *(Уходит.)*
ЭДДИ. Вот видишь! *(Поднимает бокал.)* За продолжение моего успеха! Ну что ж ты не пьёшь? *(Вручает ей бокал.)*
РУТ. За выгодную продажу шубы!
ЭДДИ. Золотце моё! *(Добродушно подтрунивая.)* Да у тебя не только нос заложен, но и уши! Повторяю: за продолжение… за продолжение моего успеха! *(Демонстративно вынимает пачку купюр из кармана.)* Главное – что? Если веришь в успех, то успех просто обязан ответить взаимностью. «Багатель» ангажировал нас на месяц. Мы только что закончили наш первый концерт, но, к сожалению…
РУТ. Что случилось?
ЭДДИ. Как ты себя чувствуешь, золотце моё?
РУТ. Завтра будет лучше.
ЭДДИ. Тогда завтра и выедем в Минск. Пакуй шубу! У твоего мужа открылась перспектива стать главным руководителем государственного джаз-оркестра БССР! А! Как звучит! *(Издаёт победный пассаж на трубе.)*
РУТ *(смотрит в зал, как в окно)*. Открылась перспектива, а? Передо мной открылась перспектива площади Мицкевича, но это не значит, что пан поэт выпьет со мной шампанского.
ЭДДИ. А пан трубач пьёт. Главное – что? Повторяю – верить! Меня вызывают на обсуждение контракта. Если он мне понравится, значит, буду формировать оркестр.
РУТ. А если нет, то будем продавать шубу?
ЭДДИ. Нет. Продавать шубу мы не будем. Будем покупать лучшую!

Он обнимает Рут и танцует с ней под песню «Парень-паренёк». Перед куплетом «А когда настал тревожный час» Рут скидывает одеяло и остаётся в концертном платье-бутоне. Затемнение.

Сцена 5
СТАНЦИЯ «КИПЯТОК»

Прожектор выхватывает из темноты фигуру Гофмана.

ГОФМАН *(имитирует голос Джульетты).* «Что в имени твоём? Роза пахнет розой, хоть розой назови её, хоть нет». *(Нормальным голосом.)* Это сам Шекспир сказал. Так что называйся, как нравится – главное, чтобы играл хорошо. Практически все в оркестре Рознера взяли себе псевдонимы. Сам Адольф Рознер прибыл в СССР в качестве Эдди. Эдди Рознер. Красиво звучит. Ну а я… Файвел Гофман преобразился в Павла Гофмана. А что – тоже красиво. Мне подходит, не правда ли? *(Щёлкает подтяжками.)*
Ах, имена, названия, дороги… Им и посвящается следующий номер моей памяти. Композиция «Кипяток». Видишь одно, понимаешь второе, думаешь третье. Итак. Декабрь 1941-го. Город Фрунзе. Который месяц мы скитаемся… гастролируем по стране в железнодорожном вагоне. Концерт вечером, а пока мы считаем мух и размышляем над смыслом бытия. А оно нам преподносит сюрприз.

Сцена освещается. Действие происходит в вагоне, стоящем на запасном пути в г. Фрунзе. Участники оркестра Рознера и их семьи разъезжают и живут в нём уже месяцы с начала войны. Это одновременно коммуналка, гримёрка и средство передвижения. Эдди, азартный игрок, режется в карты с другими музыкантами, выкрикивая время от времени фразы на польском «холера ясна», «пся крэв». Саксофонист репетирует пассаж на саксофоне. Шнобель репетирует на скрипке. Рут и группа женщин воркуют над недавно родившейся Линой.

ГОФМАН *(разворачивает газету «Правда»).* Товарищи аиды…
САКСОФОНИСТ *(добродушно).* И к ним прибившиеся.
ГОФМАН. И к нам прибившиеся. Как наказал товарищ Пономаренко, мы должны повышать свой политический уровень, читать газету «Правда».
ШНОБЕЛЬ. А на мамином языке эта «Правда» есть?
ГОФМАН. Нет, «Правда» только на папином.

Саксофонист играет пассаж разочарования.

ГОФМАН. Не беда. Я вас научу простейшему методу перевода с папиного на мамин. Например, «Указ президиума Верховного Совета СССР о награждении работников особого строительства НКВД». Нет, нет – это мы пропустим.
ШНОБЕЛЬ. Почему?
ГОФМАН. От греха подальше. Некоторые вещи лучше не знать. *(Переворачивает страницу и ищет другую статью.)*
ШНОБЕЛЬ. Майн либер Гофман, ты ищи, ищи, но скажи мне за «Кипяток». Фарвос…
САКСОФОНИСТ *(помогает Шнобелю перевести с идиша на русский).* «Почему»…
ШНОБЕЛЬ. Почему здесь все станции «Кипяток»?

Саксофон играет вопросительный пассаж.

ГОФМАН *(Шнобелю).* А почему ты на афише Влад, а зовём мы тебя Шнобель? Кипяток – это то, что можно налить в чайник на каждой остановке. Du farshtaist, понял?

Шнобель играет жалобный пассаж на скрипке.

ГОФМАН *(вздыхает).* Майн либер Шнобель… *(смотрит в газету.)* А вот и подходящий заголовок… «Народная награда кузнецам советского оружия». Это хорошо. Разве мы не кузнецы советского оружия? Джаз-оркестр поднимает настроение войск и работников тыла, то есть мы тоже как бы оружие.
САКСОФОНИСТ. Ну? А дальше что написано? Народная награда… *(Мечтательно.)* Мне бы помыться в награду, а то хорошо только первые полгода после бани.
ШНОБЕЛЬ. А мне бы выучить, где Рая и дочки. Фашисты в Лемберге, а где моя семья?
ГОФМАН *(прерывает).* Так я о том же! Берём заголовок и мысленно подставляем под ним картинку из счастливого будущего. После войны, в Варшаве или Кракове, или Лодзи.
ШНОБЕЛЬ *(с сарказмом).* Сейчас, только раздену очки, чтобы лучше картинку било видно.
ГОФМАН. «Сниму очки». Ой, Шнобель, над русским тебе работать и работать.
ШНОБЕЛЬ. По-русску все разно говорят. Может, я говорю неправильно, зато я думаю правильно.
ГОФМАН. И что же ты думаешь?

ШНОБЕЛЬ. Не «что», а «ком». Я думаю о кто люди говорят. А люди говорят: собрали беженцев из Польши и отправили туда… *(Делает неопределённый жест рукой.)*

Саксофонист играет глиссандо.

ШНОБЕЛЬ. Вот нас тоже. Собрали и отправили.
ГОФМАН. Азохен вей, горе ты моё, Шнобель. Опять у тебя проблемы с русским. Мы собрались в оркестр, а не нас собрали. В Государственный белорусский джаз-оркестр! А? Как звучит! Понимаешь разницу? А отправили нас на восток – так на войне всегда отправляют, куда командование прикажет. Нам дали приказ в Омск, а теперь во Фрунзе.
ШНОБЕЛЬ *(с укоризной).* A vorem epl…
САКСОФОНИСТ *(помогает Шнобелю перевести).* «В червивом яблоке»…
ШНОБЕЛЬ *(Гофману).* Так, так – в червивом яблоке ты видишь только яблоко. Но что-то у них здесь не то. «Народная награда кузнецам советского оружия». Что ни слово, то *бобе майсе,* бабушкина сказка. Что такое народная? Что такое награда? И что такое кузнецы? Эти мальчики на военном заводе, где мы лабали концерт? Синие, как дохлые курицы. Азохен вей, эти кузнецы.
ГОФМАН. Азохен вей? Мальчиков жалко, так иди работай на завод.
ШНОБЕЛЬ. Ты же сам сказал. Война. Как балабос, начальник прикажет, так и надо. Я скрипка. Где приказ, там и стою.
ГОФМАН. Хорошо, что не сидишь. *(Тихо, только Шнобелю.)* У тебя язык без костей. Вроде все свои, но в этой стране даже у стен уши растут. *(Прикладывает палец к губам. Переворачивает страницу газеты и читает сначала про себя.)* Итак… Товарищи аиды… и к нам прибившиеся, у меня есть для вас интересная новость!
ШНОБЕЛЬ. Говори сразу. Будем живим или мёртвым?
САКСОФОНИСТ. Лучше весёлыми. И абы гезунт, здоровыми!
ГОФМАН *(читает газету).* Постановление «О польский армии на территории СССР». *(Несколько секунд читает про себя, потом пересказывает и, время от времени, заглядывает в газету.)* Подразделения армии генерала Андерса формируются в Казахстане, Узбекистане и Киргизии. «В армию могут призываться граждане польской национальности, проживавшие до 1939 года на территории Западной Украины и Западной Белоруссии… Граждане других национальностей, проживавшие на этих территориях, призыву в польскую армию не подлежат».
ШНОБЕЛЬ. И ну?
САКСОФОН *(Шнобелю).* Формируются в Киргизии. Фрунзе. Киргизия – Фрунзе. Du farshtaist? Где мы сейчас?
ШНОБЕЛЬ. Во Фрунзе.
САКСОФОН. А Фрунзе где? В Киргизии. Здесь, во Фрунзе, формируется польская армия Андерса.
ШНОБЕЛЬ. А это хорошо или плохо?
САКСОФОН. Для немцев плохо, для нас хорошо.
ШНОБЕЛЬ. А как хорошо для нас?
САКСОФОН. Всё! Шнобель, как ты меня достал! *(Играет пассаж, показывая, своё раздражение.)*
ГОФМАН. Эдди Игнатьевич, хватит выигрывать. Идёмте дело обмозговывать.

Эдди прерывает игру с восклицанием «холера ясна» и присоединяется к группе Гофмана, который вручает ему газету «Правда», указывая на сообщение об армии Андерса. Эдди читает.

ЭДДИ. Здесь ясно написано, что граждане других, *других,* национальностей призыву в польскую армию не подлежат. Товарищи аиды *(Саксофону)* и прибившийся к нам Тони Левитин цыганской национальности – все мы «граждане других»…

Саксофон играет пассаж разочарования.

ЭДДИ. И потом, мы уже в распоряжении Красной Армии. Мы уже участвуем в войне против фашистов.

Саксофон играет вопрос.

ШНОБЕЛЬ. Он не спрашивает почему, а спрашивает «можно»? А можно пойти самому?
САКСОФОН. Добровольцем.
ЭДДИ *(задерживается с ответом).* Наверное, да.
САКСОФОН. Давайте всем оркестром пойдём в польскую армию. Всё-таки будем со своими. Там хоть порядок будет…

ГОФМАН. А Левитиных там любят также, как аидов. Ой вей…
САКСОФОН. Из армии Андерса будет проще вернуться домой в Польшу.
ГОФМАН. А из советской что, не вернёмся? Нас приютили, обогрели, доверили создать шикарный оркестр, костюмы пошили, инструменты выдали, аппаратуру, платят, вагон вон дали, на концертах аншлаг и все номера на ура. От добра добро не ищут.
ШНОБЕЛЬ. Но это не дома. На улице никто на мамином или по-польску не говорит.
ГОФМАН *(Эдди).* А как ты?
ЭДДИ. А я вообще-то в 39-м году был гражданином Германии. К тому же я слово дал и руку пожал товарищу Пономаренко, что буду руководить государственным джаз-оркестром БССР. Государственным! Это тебе не контракт разорвать с каким-то клубом и заплатить неустойку.
ГОФМАН. Значит, и я остаюсь.
ЭДДИ *(Хлопает в ладоши, призывая внимание всех в вагоне).* Товарищи! Мы создали, наверное, самый замечательный джаз-оркестр в стране. Два года назад о нас здесь никто не слышал, а теперь наша слава гремит, но… Как известно, всевышний смеётся, когда мы строим планы… Всем, кто пойдёт добровольцем в польскую армию, я подпишу заявления. Это ваш выбор. Встретимся после победы и опять будем лабать вместе.

К Эдди подходят оркестранты и беззвучно говорят ему свои решения. Потом все разбредаются по своим делам, а он оказывается наедине с Рут.

ЭДДИ. Гевалт! Катастрофа! Фарфалэн де ганце постройке! Финита ла комедия. Остаётся только 8 человек, включая тебя и меня. Четверть состава.

К ним подходит Шнобель.

ШНОБЕЛЬ. Эдди Игнатьевич, я решил остаться.
ЭДДИ. Так здесь же на улице ни на мамином, ни по-польски не говорят.
ШНОБЕЛЬ. У Андерса вшистко едно, всё равно в оркестр отправят, а другого Эдди Рознера нет и не будет. Нет, я с вами. Джаз понимают везде: в Москва, Сибирь, Фрунзе. Давай джаз!
САКСОФОН *(подходит к группе Рознера).* Ну и я тоже с вами. Не могу же я Шнобеля бросить. Кто ж его будет подкалывать и русскому языку учить?
ЭДДИ *(Рут).* Ха! Золотце моё, ситуация начинает улучшаться! Нас уже десять!

Эдди играет пассаж на трубе, который переходит в оркестровую фантазию на тему песен И. Дунаевского. Затемнение.

Сцена 6
СТАЛЬНЫЕ ЗУБЫ

Прожектор выхватывает из темноты фигуру Гофмана.

ГОФМАН. Пока музыканты настраивают инструменты, я вам расскажу про войну. Вы скажете: да все уже знают про эту войну. Но про любовь ведь тоже знают, а всё равно… Я коротко. Рознер сумел укомплектовать оркестр новыми музыкантами. У него хотели играть все. *(Слышен стук железнодорожных колёс.)* Сначала выступали перед военным частями в Забайкалье, а в 1943-м нас перебросили на Белорусский фронт. Представьте: только в одном 1944-м мы дали…

Прожектор выхватывает из темноты фигуру Шнобеля, пишущего на коленях в блокноте.

ШНОБЕЛЬ. Завтра у нас *(смотрит на предыдущую страницу)* 175-й концерт в этом году. Я уже совсем хорошо говорю по-русски. Всё-таки пятый год в СССР. Сплю на второй полке, а Гофман – на первой. Повезло, что он не храпит, но в вагоне ночью, как на концерте духовых. *(Имитирует несколько типов храпа.)* Нас цепляют к нужным поездам, а на местах между концертами возят на грузовиках. Не волнуйся: футляр со скрипкой я заворачиваю в ватную фуфайку, а сам еду в пальто. Помнишь, ты мне в нём ещё рукава укорачивала. А выступаем мы в кремовых костюмах и бабочках. Это Рознер так решил, чтобы солдаты и партизаны представляли себе, что они в концертном зале.

Свет убирается с фигуры Шнобеля.

ГОФМАН. Шнобель ведёт дневник в виде писем жене. Посылать их всё равно некуда… Перед операцией Багратион, выступали мы в ставке генерал-лейтенанта Рокоссовского. В тот день Эдди очень волновался. А Рокоссовский…

За сценой звучит финал номера оркестра Эдди Рознера «Anchors Away», потом бурные аплодисменты.

ГОФМАН. Рокоссовскому поставили стул в первом ряду, прямо в проходе. Он сидел, нога за ногу, и весь концерт курил папиросу за папиросой с непроницаемым лицом. Эдди выскочил за кулисы, испуганный. Говорит: «Я из шкуры лезу, чтобы ему понравилось, а он хоть бы краешком губ улыбнулся. Просто убил меня наповал».
Потом узнали, что до войны Рокоссовский сидел года три по пятьдесят восьмой статье – измена родине. Загребли, как многих военачальников по делу Тухачевского. Во время следствия ему выбили передние зубы. С тех пор он и не любил улыбаться, чтобы не сиять вставленными стальными зубами. Эдди, когда узнал, ужаснулся: «Передние зубы! Холера ясна! Был бы трубачом, списали бы в костюмеры».
Лично для Рокоссовского мы исполнили песню по-польски. Он ведь тоже пшекал, как я. Сейчас вы её услышите. *(Объявляет.)* «Cicha woda». *(Произносится «тI Іха вОда».)* Музыка Эдди Рознера, пою я, Павел Гофман.

Выходят музыканты или играет фонограмма. Гофман поёт несколько куплетов или всю песню.

ГОФМАН. Но самое главное – это то, что произошло после этого. Рокоссовский говорит:
– Тиха вода… Да… Тиха вода камень точит. А вы вода или камень, товарищ Рознер?
А Эдди:
– Я огонь.
А Рокоссовский:
– Но ведь вода огонь потушит.
А Эдди:
– Я огонь из бензина, товарищ генерал. Разгораюсь ещё сильнее.
Вот тогда Рокоссовский в первый раз рассмеялся и подарил Эдди на память пачку «Казбека» с надписью: «Как жалко, что такие люди, как вы, рождаются только один раз». Другого подарка под рукой он просто не нашёл. Эту пачку Эдди хранил всю жизнь.
Вот видите, про войну было совсем не страшно. А вы боялись. Ну, попали мы несколько раз под бомбёжки, недоедали, недосыпали, но солдатам было тяжелее, и мы делали всё, чтобы поднять их дух. А вот страшное для Эдди и Рут было ещё впереди.

Затемнение. Слышен номер из репертуара оркестра Эдди Рознера.

Сцена 7
ПОЛЬША ПОД БОКОМ

Прожектор выхватывает из темноты фигуру Гофмана.

ГОФМАН. В Китае, как вы знаете, и сам император, и все его подданные были китайцами. Так начинается сказка «Соловей» Ганса Христиана Андерсена. В ней ещё слуги императора держали соловья за двенадцать шёлковых ленточек во время санкционированных прогулок. В Советском Союзе и сам император, и все его подданные были советскими, но как и во всех других империях, подданные приспособились читать мысли своего Великого Кормчего между строк. Ловили сигналы. И ленточки они использовали не шёлковые.
Итак, «Соловей» – соло для трубы в сопровождении группы товарищей. На дворе 1946 год. Война закончилась. Рознеры приехали во Львов. *(Удаляется.)*

Сцена освещается. Съёмная комната во Львове обставлена со следами довоенного благополучия. На кровати лежит недавно заболевшая маленькая Лина Рознер. Рядом с ней сидит Рут и кормит её супом из мисочки.

РУТ. Сейчас придёт папа и развеселит тебя, как он умеет, а пока мы его ждём, мы съедим весь суп. Как большие. Да, Линусь? Вот так, ложечку за папу. Ложечку за маму.
ЛИНА. Всё. Больше не хочу.
РУТ. Как? А что я скажу бабушке, когда мы её увидим?
ЛИНА. А когда мы её увидим?
РУТ. Дядя доктор обещал, что через пять дней ты совсем выздоровеешь, и тогда мы сядем на поезд и поедем обратно в Польшу.
ЛИНА. А где эта Польша?
РУТ. Раньше была прямо здесь.
ЛИНА. В этой квартире?

РУТ. И в этой тоже, а теперь граница отодвинулась и до Польши нужно ехать на поезде. Ты же любишь ездить на поезде.
ЛИНА. Я люблю, когда с папой. А когда он придёт?
РУТ. Когда ты съешь эту ложку супа.

Открывается дверь и входит Эдди. Он в приподнятом настроении.

ЭДДИ *(снимает пальто)*. Золотце моё…
ЛИНА. А я?
ЭДДИ. И ты мой бриллиантик! *(Рут.)* Не без лажи в басах, но, в общем, всё устроилось блестяще! Документы на репатриацию нам выдадут.
РУТ *(громко выдыхает)*. Слава богу, слава богу, слава…
ЭДДИ. Слава блату.
РУТ. Через кого?
ЭДДИ. Через самого директора программы беженцев. А! Он будет ехать на нашем же поезде.
РУТ. А за что такая честь?
ЭДДИ. За двадцать тысяч рублей.
РУТ. Сколько, сколько?
ЭДДИ. Двадцать тысяч. Как знал, с собой взял.
РУТ. Ганэф этот директор. Чтобы у своих брать!
ЭДДИ. Если бы он мог, он бы и у себя взял. Золотце моё, что такое деньги, помнишь? Это справки о предыдущих заслугах, которыми можно пользоваться, чтобы дожить до будущих заслуг. Бумажки. Маленькие разноцветные бумажки. Что нам их, солить, обклеивать ими стены? Вывезти их нельзя.
РУТ. А вдруг застрянем? Чем за комнату расплатимся?
ЭДДИ. У меня НЗ остался. Десять НЗ. Ни о чём не беспокойся. А в Польше у нас будут новые успехи и заслуги. Мне ещё только тридцать шесть! Все заслуги и справки о них впереди! Главное – что? Верить!
РУТ. Хочется, хочется верить, но мы едем на пепелище! Кому там до музыки?
ЭДДИ. На фронте было до музыки, а в мирное время – и подавно.
РУТ. Ну какой же ганэф этот директор! Взятку за то, что и так положено!
ЭДДИ *(поёт на мотив «Жил был у бабушки серенький козлик»)*. Ка-кой же га-нэф, этот ди-рек-тор. Ка-кой же га-нэф этот шле-мил. Взят-ки, взят-ки, это бу-маж-ки, взят-ки, взят-ки, абы ги-зунт!
РУТ. Это дело принципа!
ЭДДИ *(поднимает глаза)*. Господи, спасибо, что взял деньгами. *(Рут.)* Принцип! Из-за принципа Первая мировая началась. Гаврилы Принципа. У меня раньше много принципов было. Не давать петуха в соло, например, не сажать в оркестр балалайки и баяны, а сейчас для меня важен только один принцип: успеть выехать, пока ловушка не захлопнулась. Вывезти тебя и Линусю. Ты для меня…Ты для меня всё. Ты майн…
РУТ. Харц?
ЭДДИ. Майн пупик!
РУТ. Ну вот. Уже не сердце.
ЭДДИ. Больше, чем сердце. Это тебе не соло беспечного корнета, а утробное дудение тубой: бу-бум бу-бум бу-бум, да так, что пупик резонирует. Ты мой пупик. Все дороги ведут к тебе. Мир и время ведут отсчёт от тебя. *(Пауза.)* Но поезд на Варшаву отходит завтра в 11 утра. Надо собираться.
РУТ. Это невозможно. Посмотри на Лину.
ЭДДИ *(подходит ближе, вглядывается в лицо дочери)*. Это… Что это? Сыпь? Утром не было.
РУТ. Хозяйка привела знакомого врача. Он только взглянул и сразу сказал: «Корь. Постельный режим не менее пяти дней и надеяться, что молодой организм…». А в поезде – сквозняки и бог весть что ещё. Нельзя её в таком состоянии везти.
ЭДДИ (*оседает на кровать и что-то считает в уме)*. Пять дней… Двадцать восьмого – это последний день, когда разрешено выезжать. И всё. В последнюю минуту… *(Гладит руку Лины.)* Золотце моё, бедная моя девочка. Знаю, как тебе плохо. Я сам болел, когда был маленьким. Все мои сёстры и брат тоже болели. И мама твоя болела. А хочешь, я тебе сыграю песенку на трубе. *(Лина стонет. Эдди достаёт трубу из футляра и рассматривает её с изрядным интересом.)* Ай-яй-яй. Представляешь, труба тоже заболела корью, и на ней выскочила сыпь. Бедная труба. Тебе её жалко?
ЛИНА. Жалко.
ЭДДИ. У неё тоже будет постельный режим. Ты присматривай за ней, чтобы она не вывалилась из футляра. Это очень важно. Присмотришь?
ЛИНА. Угу.
ЭДДИ *(отводит Рут в сторону)*. Выхода нет: надо ждать, но откладывать отъезд на последний день опасно,

но выхода нет. Надо ждать, но отъезд в последний день… А выхода нет. Рондо. Furioso, agitato, tremolo. Но выхода нет.

РУТ. Ой, неспокойно у меня на душе. Мы и так здесь на птичьих правах, не зарегистрированы в милиции.

ЭДДИ *(берёт себя в руки, говорит спокойно)***.** Какая же ты у меня трусиха! Три дня или восемь дней – чепуха. День сюда, день туда. Мы же не переехали сюда жить без прописки, а так, проездом. Кому мы мешаем?

РУТ. С ними никогда не знаешь, какая вожжа и под какой хвост…

Стук в дверь. Входит хозяйка квартиры.

РУТ. Геня Борисовна, а я только собиралась к вам.

ХОЗЯЙКА. У меня нюх. Иду мимо вашей двери, и так меня потянуло зайти узнать, что да как.

ЭДДИ *(вынимает деньги из кошелька)***.** Мы должны задержаться на пять дней. Ребёнок заболел. Не подходите к ней близко.

ХОЗЯЙКА. Я-то болела в детстве, не заражусь, но за дезинфекцию, когда съедете… И за… Вы понимаете, что без прописки… В двойном размере. Я в ваше положение войду, а вы – в моё.

ЭДДИ *(добавляет купюры из кошелька и вручает ей)***.** Геня Борисовна, дорогая вы наша спасительница!

ХОЗЯЙКА. А потом вы куда? В Трускавец отдыхать или это было так, отговорка. Вы меня не стесняйтесь. Мы же свои люди. У нас все бывшие польские репатриировались в Польшу.

ЭДДИ. Не все.

ХОЗЯЙКА. Эдди Игнатьевич, так вы же не простой человек. Звезда, как-никак. Как прочитаю о вас в газете, так и звенит во мне гордость: вот, посмотрите, наш аид, а как все любят его оркестр, и как правительство наше продвигает его наверх. Вот что Советский Союз нам дал. Справедливость. Кто бы ты ни был: дело знаешь, значит, дорога тебе открыта.

ЭДДИ. Абсолютная правда. Дорога открыта. На Варшаву.

ХОЗЯЙКА. Как это? А ваш оркестр?

ЭДДИ. Да разругала одна критикесса мой оркестр в пух и прах. Мол, низкопоклонство перед Западом. Это что, значит, я сам перед собой низкопоклонничаю?

ХОЗЯЙКА. Да цыпун ей на язык. Пусть она доживёт до ста двадцати с деревянной головой и стеклянными глазами. Ей не нравится, а всем нравится. Не обращайте внимания.

ЭДДИ. Не абы где разругала, а в «Известиях», а это сигнал. А после сигнала вы сами знаете, что происходит.

ХОЗЯЙКА. В «Известиях»! *(Меняется в лице и ведёт себя, как будто кто-то подслушивает.)* А что происходит?

ЭДДИ. Да ладно. Что уж говорить. Дело сделано.

ХОЗЯЙКА. Какое дело? Вас Советский Союз приютил, заслуженного артиста БССР, слышала, дали, везде почёт и аплодисменты, а вы… Какая цаца, а! Неблагодарный! Это где же видано, ему всё, а он чемоданчики богатством набил и бежать собрался. Предатель!

ЭДДИ. Геня Борисовна, ну что вы так сердитесь! Я ведь из Польши на гастроли буду приезжать. Польша – это ж под боком. Хоп на поезд – и я уже во Львове или Москве.

ХОЗЯЙКА. Так зачем уезжать? Польша же под боком. Хоп на поезд во Львове или в Москве – и вы уже в Варшаве на гастролях.

ЭДДИ. Вы до войны в Советском Союзе жили?

ХОЗЯЙКА. В Глубоком. Это в Западной Белоруссии.

ЭДДИ. В Польше, значит, до войны.

ХОЗЯЙКА. А всю войну в Казахстане. И землю советскую буду до конца жизни целовать. Иначе погибла бы, как все мои…

ЭДДИ. Так и я благодарен СССР и землю эту целовать буду.

ХОЗЯЙКА. Так чего же вы уезжаете?

ЭДДИ. Семья у Рут в Варшаве. Про Иду Каминскую слышали?

ХОЗЯЙКА. Так кто ж про неё не слышал? Королева театра. Гастроли у неё были в Вильно, так я специально ездила, чтобы на неё посмотреть. Королева!

ЭДДИ. Вот я и везу к ней две её принцессы: дочку и внучку.

ХОЗЯЙКА. Всё равно я вас не понимаю. Это ж предательство какое! Страна вас приютила, обогрела, дала все возможности, а вы её бросаете?

ЭДДИ *(вынимает пачку купюр из кошелька и вручает ей)***.** Геня Борисовна – это вам для улучшения настроения. И обещаю, что когда приеду на гастроли во Львов, то в первую очередь пришлю вам контрамарку на лучшее место.

ХОЗЯЙКА. Ой, вейз мир, боже мой! Не нравится мне ваше поведение. Неправильно вас мама воспитала. Надо благодарным быть. *(Продолжая бурчать под нос, выходит из комнаты.)*

РУТ *(проверяет, крепко ли закрыта дверь)***.** Всё равно она добрая женщина. Вот и врача прислала, и пустила нас без прописки.

ЭДДИ. Добрая, как кошка. Себе на уме. Ента. Неужели она на самом деле верит в эту мишугене, сумасшедшую систему?
РУТ. И мы когда-то верили.
ЭДДИ. Но увидели чем, вернее, *кем* эта красивая система удобряется.
РУТ. И сейчас бы верили, что всякие исчезновения и *переезды* в места отдалённые к нам не относятся, если бы не эта статья.
ЭДДИ. И дети оставались бы детьми, если бы не стали взрослыми. Всё стоит, пока не начинает двигаться. У меня и до статьи пелена с глаз спала, что это не отдельные случаи… а все и всё. А теперь мы вообще свободные люди – безродные космополиты. Вчера были родны*е* космополиты, а сегодня безродные.
РУТ. Насильно мил не будешь.
ЭДДИ. Вот именно. Удача по всей земле рассыпана, как сахар. Поедем искать её в другом месте.

Затемнение.

Сцена 8
СОЛОВЕЙ

Там же через день. Раздаётся громкий стук в дверь квартиры. Слышны напористые мужские голоса в прихожей: «Эдди Игнатьевич Рознер здесь находится?». Хозяйка: «А что случилось?». Мужской голос: «Там?». Сильный стук в комнату Рознеров. Сцена освещается.

ЭДДИ. Кто там?
МУЖСКОЙ ГОЛОС. Открывай!

Эдди отпирает замок. Входят милиционеры.

ЭДДИ. Чем могу помочь?
МИЛИЦИОНЕР. Эдди Игнатьевич Рознер? Ваши документы.
ЭДДИ *(подаёт ему документы).* А в чём дело?
МИЛИЦИОНЕР *(кивает в сторону Рут).* Жена?
ЭДДИ. Да.
МИЛИЦИОНЕР. Её документы тоже.

Рут подаёт ему документы. Пока он рассматривает документы и их самих, другие милиционеры открывают чемоданы и бесцеремонно в них роются. Лина начинает громко плакать.

ЭДДИ. А в чём проблема? Что случилось?
МИЛИЦИОНЕР. Следуйте со мной.
ЭДДИ. Куда?
МИЛИЦИОНЕР. Там узнаете.
ЭДДИ. Где там?
МИЛИЦИОНЕР. Здесь вопросы задаю я. Пошли. *(Рут.)* А вы, Рут Зигмундовна, никуда не выходите из квартиры. *(Одному из милиционеров.)* Останешься охранять у двери в коридоре. Занимай позицию.
ЭДДИ *(целует руки Рут и долго смотрит на неё, старается не показывать милиционеру свой страх).* Жди меня, пупик. Жди.
РУТ. Vous…Жду…

Эдди надевает пальто и уходит с милиционерами. Рут выходит на авансцену. Плач Лины стихает. Рут поёт куплет песни «Жди» из репертуара оркестра Эдди Рознера.

РУТ. Жду…

Затемнение.

АКТ 2

Сцена 1
ЛЕЙТМОТИВ ПАЛЬЧИКОВ

Прожектор выхватывает из темноты фигуру Гофмана.

ГОФМАН. Помните детскую считалочку?

На златом крыльце сидели:
Царь, царевич, король, королевич,
Сапожник, портной –
Кто ты будешь такой?
Говори поскорей,
Не задерживай
Добрых и честных людей!

Великим джазистам любят давать титулы. Дюк Эллингтон, Каунт Бейси. Это герцог и граф по-английски. А Рознера оркестранты прозвали Царём. Но, как известно, цари и короли живут-живут, а потом им иногда… голову *(жестом отрубает голову)* или *(складывает пальцы в пистолет)* пиф-паф. А одного баварского короля так вообще утопили. Чтобы не задерживал добрых и честных людей. Ведь у добрых и честных так много впереди добрых и честных дел. Всех и не переделаешь, но они всё равно стараются. И всё – для светлого будущего.

Сейчас вы услышите шуточную перекличку «Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст». *(Удаляется.)*

Сцена освещается. Он разделена на две части: сцену Эдди («Э») и сцену Рут («Р»). На сцене «Э» затемнение.

Сцена «Р». Два стула для ожидания перед кабинетом майора Львовского отделения МГБ. В сопровождении лейтенанта внутренних дел на сцену выходит Рут в шикарной норковой шубе, модных полуботинках и шляпке. В руке держит небольшую сумочку.

ЛЕЙТЕНАНТ. Подождите здесь.
РУТ. Как долго?
ЛЕЙТЕНАНТ. Товарищ майор вас вызовет.
РУТ. Я оставила маленькую больную дочь со знакомой. Скажите там, что я очень спешу.
ЛЕЙТЕНАНТ. Садитесь.
РУТ. Пожалуйста, мне только узнать, где мой муж. Я на минутку зашла.
ЛЕЙТЕНАНТ. Я передам.

Сцена «Э» освещается. Во время следующего действия на сцене «Э», Рут на сцене «Р» сначала сидит в шубе, потом снимает её и вешает на соседний стул. Вынимает из сумочки зеркальце и помаду, подкрашивает губы и осматривает своё лицо. Разглаживает чулки. Старается скрыть волнение. Крутит на пальце бриллиантовое кольцо, копается в сумочке, меняет позицию ног, подходит ближе к двери, прислушивается, возвращается на стул. Обхватывает себя руками и качается, потом спохватывается и сидит с прямой спиной, сумочка на коленях. Мимо проходит лейтенант. Она прочищает горло, чтобы позвать его, но он быстро проходит мимо. Она подходит к двери и стучится. Оттуда доносится мужской голос: «Я занят. Ждите». Она возвращается, садится.

Тем временем на сцене «Э» отворяется дверь в кабинет следователя. Входит Эдди, осунувшийся, волосы в беспорядке. Невидимый конвоир закрывает за ним дверь. За столом сидит следователь. Сбоку в тени виден (или, по решению режиссёра, слышен) его секретарь, сидящий перед печатной машинкой. Посередине кабинета стоит стул. Сбоку шкаф с массивными створками.

СЛЕДОВАТЕЛЬ *(подходит близко к Эдди).* Имя?
ЭДДИ. Рознер, Эдди.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Ну как, вспомнили?
ЭДДИ. Вспомнил что?
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Как вы шпионили?
ЭДДИ. На кого?
СЛЕДОВАТЕЛЬ. А это мы сейчас узнаем. Садитесь.
ЭДДИ. Я не понимаю, почему вы меня здесь держите.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Потому, что вы арестованный.
ЭДДИ. Но за что?

СЛЕДОВАТЕЛЬ. А вы не догадываетесь? Читал я ваше дело. Уже неделю с вами беседуют, а вы всё прикидываетесь наивным дитём. Вы были задержаны во время нелегального проживания во Львове в квартире гражданки Гени Борисовны Диренбикер без прописки. Так?
ЭДДИ. Задержались на несколько дней, так разве за это арестовывают и в тюрьме держат? По какой статье?
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Это мы решаем, кого арестовывать и по какой статье. То есть вы признаетесь, что нелегально проживали в квартире гражданки Диренбикер?
ЭДДИ. Не проживал, а гостил несколько дней у Гени Борисовны.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. А какие у вас были планы после окончания визита?
ЭДДИ. Репатриироваться в Польшу.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Ага! Бежать через границу!
ЭДДИ. Не бежать, а ехать на поезде.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Метод передвижения не имеет значения. Вы собрались изменить своей родине.
ЭДДИ. Почему собрался? Я своей родине уже давно изменил, в 1934-м. Уехал подальше из нацистской Германии.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. То есть вы меняете родины, как перчатки? Чуть что не так, вы бежите в другую?
ЭДДИ. Нужно было, что ли, дожидаться в Берлине, пока меня нацисты в концлагерь пошлют и в пепел превратят?
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Было же в Германии антифашистское подполье.
ЭДДИ. Наверное, было. Но меня уже там не было, а то бы я постарался присоединиться к подпольщикам, если бы меня до того не убили.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. А почему своей второй родине изменили? Польше.
ЭДДИ. Пытался выжить. Перешёл с женой и её семьёй на советскую территорию.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. А чего ж в Польше вы не присоединились к подпольщикам?
ЭДДИ. Их ещё не было, а фашисты уже были.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Вот видите! Вы всё время сбегаете, не дожидаясь возможности бороться с врагами.
ЭДДИ. Я дал более трёхсот концертов на фронтах. Сам товарищ Рокоссовский вручил мне подарок с личной надписью. Меня наградили медалями «За оборону Москвы» и «За освобождение Варшавы». Я играл в партизанских отрядах. Под боевым обстрелом получил ранение.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Вот видите! Потом и кровью защищали свою новую родину, а теперь – драпать!
ЭДДИ. Но я не собирался делать ничего нелегального. Как житель Польши на 1939 год, я имею право на репатриацию.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Не врите. Польша – это только первая ступень. Потом вы собирались ехать в Америку!
ЭДДИ. Если бы на гастроли пригласили, то поехал бы, а так…
СЛЕДОВАТЕЛЬ. А ваша мать где сейчас живёт?
ЭДДИ. В Бразилии.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Вот видите! А говорите, что не шпионили… Ай-яй-яй, как маленький. Думали меня обвести вокруг пальца. А где Бразилия находится?
ЭДДИ. В Южной Америке.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Вот! В Южной, в Северной – всё одно: Америка! Кто был вашим связным?
ЭДДИ. Вы заблуждаетесь.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Я заблуждаюсь? А это мы сейчас проверим. *(Подходит к шкафу.)* А ну-ка дайте мне свою руку. *(Силой приставляет пальцы Эдди к косяку створки шкафа.)* Не двигайте пальцами. Готовы?
ЭДДИ. К чему?

Следователь резко открывает створку, зажимая пальцы Эдди в тиски, и через три секунды закрывает дверь. Эдди кричит и хватается за увечные пальцы здоровой рукой.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Это, как говорится, увертюра. Чтобы сфокусировать ваше внимание на главных темах произведения. Пальчики у нас лейтмотивом пойдут, если память вам опять отказывать начнёт. А лейтмотив можем сыграть и громче, а ещё, как в джазе, синкопочек добавить. Я кой-чего в музыке тоже разбираюсь. Сам играл в духовом оркестре. Знаю, что для музыканта главное. Ну, что нюни распустили? Садитесь.

Эдди садится на стул.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. На какой частоте работал радиопередатчик, по которому вы передавали шпионские сведения? Как шифровали донесения?
ЭДДИ. Какой радиопередатчик?
СЛЕДОВАТЕЛЬ. У вас при обыске был найден нелегальный радиопередатчик.
ЭДДИ. Это обыкновенное радио. В московской комиссионке купил.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Вы мне сказки Венского леса не рассказывайте. Кроме матери у вас родственники за границей есть?
ЭДДИ. Я уже давал показания по этому поводу.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. Так это другим следователям, а мне тоже интересно.
ЭДДИ. Они же в дело записали, и я расписался.
СЛЕДОВАТЕЛЬ. А я, может, вашу память хочу проверить.
ЭДДИ. Зачем?
СЛЕДОВАТЕЛЬ. А знаете, что ещё важно для духовиков? Не только пальчики… Как они, кстати? Отошли уже? *(Молниеносно, как бы между делом, ударяет Эдди кулаком в зубы.)*

У Эдди начинает струиться кровь изо рта. Следователь берёт у секретаря протокол допроса и кладёт на стол перед Эдди, а рядом кладёт ручку.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Подпишите протокол допроса и вас отведут в камеру.

Эдди читает протокол.
Сцена «Р». Дверь кабинета открывается. На пороге стоит вальяжный, улыбающийся майор МГБ. По желанию режиссёра, следователя в сцене с Эдди и майора в сцене с Рут может играть один актёр.

МАЙОР. Рут Зигмундовна Рознер! Кого я вижу! Рад, очень рад личной встрече. Заходите.

Рут заходит и садится на предложенный стул.

МАЙОР *(напевает несколько фраз песни Рознера «Ай да парень, паренёк»).* Да, бывал я на концертах оркестра Рознера. Это было потрясающе… Пока не забыл… А где ваш пропуск в здание?
РУТ. Сейчас найду. *(Копается в сумочке.)*
МАЙОР. Давайте сюда сумочку. Я сам. *(Рут подаёт ему сумочку, и он, не смотря, кладёт её в ящик стола.)*
РУТ. А как же?..
МАЙОР. Да сейчас не о сумочке речь.
РУТ *(скрывая волнение).* Да, да. Я очень спешу. Оставила маленькую больную дочь со знакомой. Она температурит, а я здесь уже четыре часа. Я быстро вам скажу о цели своего визита и…
МАЙОР. Да вы не торопитесь. За дочерью вашей присмотрит Геня Борисовна. Не волнуйтесь. Дочь ваша в надёжных руках.
РУТ. Моего мужа…
МАЙОР. Давайте всё по-порядку. Так-с, для начала заполним анкету. *(Кладёт перед ней анкету и ручку. Рут её заполняет.)*

Сцена «Э».

ЭДДИ *(кладёт протокол на стол).* Я это подписывать не буду. С иностранными разведками связи никогда не имел. Советскому Союзу не изменял. Имею право репатриироваться. И вообще, меня практически не кормят. Что я такого ужасного сделал, чтобы голодать?
СЛЕДОВАТЕЛЬ *(улыбается).* Ах, какие мы нежные. По-моему, пришло время вспомнить лейтмотив пальчиков. *(Поднимает силой Эдди со стула, тащит к шкафу и опять зажимает ему пальцы. Эдди охает и теряет сознание.)*

Затемнение на сцене «Э». Сцена «Р».

РУТ. Не хватает места для родственников за границей. Здесь только две линии.
МАЙОР. Интересно. Кого вы вписали в эти линии?
РУТ. Отца. Он в Палестине. Мать – они с папой в разводе – в Польше.
МАЙОР. Нам для дорогих родственников бумаги не жалко. *(Кладёт перед ней чистый лист бумаги.)* Пишите, пишите. А кто ещё у вас заграницей?
РУТ. Сводный брат в Польше. Дядя в Палестине. Тетя во Франции. Двоюродная сестра в Аргентине, другая в США. *(Пишет.)* Но зачем мне писать о своих родственниках? Я ведь пришла узнать, когда отпустят моего мужа. Он ни в чём не виноват.
МАЙОР. Мы во всём разберёмся. По порядку. Главное – порядок. Всему своё время.
РУТ. Но он у вас уже неделю находится. На каком основании? Я ведь имею право знать причину его задержания? Пришли и забрали. А дальше что? У нас ребёнок маленький, да ещё корью заболела. Когда вы отпустите Эдди?

МАЙОР. Когда разберёмся.
РУТ. А когда вы разберётесь? Каждый день имеет значение. Я не могу ждать.
МАЙОР. Можете. Уверяю вас, что можете. Ничего. Мы во всём разберёмся. А теперь пошли.
РУТ. А Эдди? Куда пошли?
МАЙОР. В тюрьму.
РУТ. На встречу к Эдди?
МАЙОР. К вам в камеру.
РУТ. Но я же сама сюда пришла, своими ногами, чтобы узнать о муже.
МАЙОР. Раз уж пришли, то и займёмся вами. Зачем же добру пропадать, как говорится.

Затемнение.

Сцена 2
ГОЛОДОВКА

Прожектор выхватывает из темноты фигуру Гофмана.

ГОФМАН. Помните сказку о принцессе на горошине. «Ну как же они сразу не поняли, что принцесса – это принцесса», – объяснял я своему деду, когда был маленьким. «Принцесс не по одежке надо определять. Им под одёжкой не спрятаться, потому что принцесство у них внутри. Такие уродились. Но зато горошина у меня под подозрением. Если на неё столько матрасов положить, да наверху ещё принцессой придавить, от горошины шмяк останется». А дед глаз прищурил и говорит мне по-заговорщицки: «Запомни, Файвел, есть горошины, которые остаются целыми даже после того, как их раздавили. Они запрыгивают к нам в коп, – в голову, значит, – и покоя не дают». «Так как же с ними бороться»? «О них нельзя молчать. Когда о таких горошинах рассказывают или поют, они потихонечку и рассыпаются».
Сейчас прозвучит русская народная песня «В камере горошина лежала» в исполнении женского трио. 1946-й. Львов. Тюрьма отделения МГБ. *(Удаляется.)*

Сцена освещается. На нарах в камере две зэчки, Зина и Марыся. Рядом, на пустых нарах разложена шуба Рут.

МАРЫСЯ. Ой, не нравится мне эта катавасия.
ЗИНА. Рутка ведь по-честному поступила, нас под монастырь не подвела. Написала, что по своей воле объявляет…
МАРЫСЯ. А як ты знаешь, што написала?
ЗИНА. Она же обещала.
МАРЫСЯ. Дык мой Михась тож обящал, што любить меня будет усю жизнь, да тольки забили яго немцы под Брэстом. Вот и вся любовь.
ЗИНА. Но он же не виноват, что погиб.
МАРЫСЯ. Вот я и говорю, что не нравится мне эта катавасия. Сиди теперь, трясись. Скажут, што гэта мы у ней пайку забирали. Ой, шо буде, шо буде! А яна чыста пани в норковой шубе. Да тольки чулки драные. С князи да в грязи. На этапе шубу точна выкрадуть… Чуешь, если памрэ зараз, так шуба моя. Чуешь?
ЗИНА. Слышу. Как же не услышать… Я подсчитала. Сегодня неделю как её забрали в одиночку. За неделю можно умереть?
МАРЫСЯ. Не. За неделю не здохнешь, тока пить трэба. Ей там вольют. Как гусю в глотку.
ЗИНА. Так и захлебнуться можно.
МАРЫСЯ. Можа, так ей жа усё роуна жыть ти памирать.
ЗИНА. Не скажи. Она жить хочет.
МАРЫСЯ. Так чаго ж яна на рожон палезла? Галадовку объявила, и нас ящэ подставила.
ЗИНА. А по-другому не получалось. Тебя ещё здесь не было, а она всё допытывалась, где её дочь и муж. Никто даже не мычал в ответ. Семь месяцев то в ледяную камеру, то на допросы, то забывают о ней. За что сидит, сколько будет сидеть, где её семья? Это мы сидим да помалкиваем, а она хоть и паненка изнеженная… но смелости хватило. Решилась.
МАРЫСЯ. Мне адна зэчка казала в другой камере пра сябе, шо як яна сазнанне з голаду потеряла, так яе в лазарет поволокли, да по полу, по полу. Усю кожу на спине садрали. Эта яна потом уж боль почуяла. Ей в рот засунули трубку и чаго-то вливали, и капельницу тож ставили. Гэта целая навука, да там в лазарете вучоные, знают, как с галадоущыками бароцца.
ЗИНА. А бывает, что всё-таки умирают?
МАРЫСЯ. А як же. Мы жа здесь не с санаториев прибыли. Уже кожа на костях болтается, и зубы шатаюцца.
ЗИНА. Я помолюсь за неё.

МАРЫСЯ. Так яна ж не наша.
ЗИНА. Как не наша?
МАРЫСЯ. А вот так! Я их третим глазам чую.
ЗИНА. А ты сама чья будешь?
МАРЫСЯ. Папкина и мамкина.
ЗИНА. А я?
МАРЫСЯ. Тож. А у Рутки папка и мамка из другого теста сделаны.
ЗИНА. Так и пожалеть нельзя? Мы здесь все из одного теста: зэчки. Смотри, как нас любят хватать и держать. Побойся бога, если людей не стесняешься.
МАРЫСЯ. А бог не стеснялся, коли меня солдаты насильничали гурьбой.
ЗИНА. Так то ж немцы насильничали.
МАРЫСЯ. Не. Наши.
ЗИНА. Как наши?
МАРЫСЯ. Как, как! Разкакалась здесь.
ЗИНА. Ты как знаешь, а я за Рутку помолюсь. У бога все свои. *(Крестится и молится шёпотом. Марыся сначала косится не неё, а потом вздыхает и присоединяется к молитве.)*

Слышен скрежет ключа в двери. Охранник открывает дверь, втаскивает стонущую Рут и бросает на нары, накрытые её шубой. Вручает Зине записку со словами: «Отдашь ей, когда очнётся». Уходит. Зэчки разговаривают, рассматривая Рут.

МАРЫСЯ. Так што там в записачке?
ЗИНА. Это ж Рутке.
МАРЫСЯ. Честная ты, как коммунистка в кине.
ЗИНА. Только теперь такие, как я, не в кине, а в тюрьме.
МАРЫСЯ. То-то, смотрю, ты молиться стала. Раньше надо было. (*Нагибается к Рут).* Рутка, Рути… Шо они з табой тварыли там? Рутка, где болит? (*Зине.)* Можа, у ней спина раздраена, как у той? Помоги. На живот надобно нашу прынцессу паложить, шоб полегчало…

Зэчки переворачивают Рут на живот. Её платье разодрано на спине и под клочьями ткани видна кожа в синяках и ранах. Рут стонет, но реже и тише.

ЗИНА. Полегчало?
РУТ. Чуть.
МАРЫСЯ. Голодовку сама прекратила или чой?.. Ой, што я усё балтаю и балтаю. Табе ж записку охранник прынёс. *(Зине.)* Где яна тая записка? *(Рут.)* Табе прачытать ти сама смагёшь?
РУТ. Прочитайте. Я не вижу.
ЗИНА. Как не видишь? Глаза же открыты.
РУТ. Темно в глазах.
МАРЫСЯ. От голода, мабудь.
РУТ. У меня там иногда темнело в глазах, а потом отходило. Мне приговор дали подписать… Читаю его, и буквы расплываются. А потом полная темнота.
ЗИНА. Так подписала приговор?
РУТ. Да им какая разница? Суда не было, адвоката не было, обвинения я тоже не разобрала, а приговор был…
МАРЫСЯ. Дык яки прыгавор?
РУТ. Ссылка куда-то в Кокч… Кокчвар или Кокчувар…
ЗИНА. Кокчетав. В Казахстане. Дыра. Два притопа, три прихлопа – вот и весь посёлок.
МАРЫСЯ. Да всё ж лепей, чем здешния два прытопа налева, три прыхлопа направа. А срок яки?
РУТ. Пять лет.
МАРЫСЯ. Ну эт детский. Подфартило! Табе кольки годков сейчас?
РУТ. Двадцать шесть.
МАРЫСЯ. Во! Освободишься молодкой. Ай, повезло табе, Рутка. *(Зине.)* Дык, чытай записку.
ЗИНА *(разворачивает и разглаживает смятую записку).* «Ваша дочь находится у Деборы Марковны Сантатур». Подписано… майор львовского МГБ Покаташкин. И всё. *(Пожимает плечами.)*
МАРЫСЯ. А где гэта Сантатур? На Сатурне?

Рут плачет.

ЗИНА. Рутка – это же победа! Теперь у тебя имя есть, да не абы какое, а странное. Дебора Марковна Сантатур. Значит, легче будет найти.
РУТ. Дебора… Это Доба – одноклассница моей мамы. Я видела её один раз.
ЗИНА. Где?
РУТ. В Москве навещала по просьбе мамы. Боже, если бы вы знали… Доба – это ходячее несчастье. Вдова на комариной пенсии. Завтракает чаем с сухариком, обедает картошкой, а на следующий день наоборот. А тут ещё моя Лина. Как это всё устроилось? Как она узнала, где Лина? Может, мама попросила?
ЗИНА. Мамы, они… А мы…
РУТ *(как в полузабытьи).* Но ведь сработало! Ведь я их победила. Они сдались. А как же иначе… Главное – что? Главное – верить. Так Эдди всегда говорит. Главное, очень верить – и все поверят. Я верила. Лежала там, а перед глазами пятна какие-то начали скакать, потом расплываться. И всё пропадало. Тащили куда-то. Всё вокруг мокрое, липкое. Кричали, кричали на меня, а что кричать? Ну не открывался у меня рот. Я ему приказала склеиться. Так они в нос что-то запихивали. Но рот я не открывала. Я же верила: пока рот у меня закрыт, я выигрываю, и они мне, в конце концов, скажут, где Эдди и где моя Линуся. Вот я и выиграла. Пусть Доба. Какая ни есть, но она мамина подруга. Она своя. Она за Линусей присмотрит. Значит, мы не потеряемся. Значит, я её увижу. Вы понимаете? Главное верить и не сдаваться. Главное – верить. Главное – верить…
МАРЫСЯ *(шепчет Зине).* А где муж, не казали. Не к добру гэта. Можа, яго таго…
ЗИНА. Может… У нас всё может, но сейчас главное, что дочь жива и что Рутка в ссылку идёт, а не в лагерь. А муж…
МАРЫСЯ. А, можа, ну яго. Сегодня ён ёсть, а завтра… Такая пани – яна другого найдёть. Тока пальцами щёлкнет.

Затемнение.

Сцена 3
ОРКЕСТР ХАБАРЛАГА

Прожектор выхватывает из темноты фигуру Гофмана.

ГОФМАН. Чем отличается язык от диалекта? Ну? Это же совсем старая мулька. Ну… Правильно: армией и флотом. Как немецкий от маминого. А чем отличается дирижёр государственного оркестра БССР от дирижёра оркестра управления ГУЛАГа? Опять правильно: клеткой. У первого золотая, у второго железная. Как у певчей птицы. И чёрт его знает, поёт она или плачет.
Выступает оркестр культурно-воспитательной бригады по спасению утопающих. 1949-й. Хабарлаг. *(Удаляется.)*

Сцена освещается. Репетиция лагерного оркестра происходит в столовой. Зэки-оркестранты чистят свои духовые инструменты и разыгрываются. Среди них – Шнобель. Эдди просматривает нотные листы, напевая что-то под нос.

Оркестранты переговариваются: «Слышали? Трындель освобождается через два месяца», «Воля – это тебе не тубу на горбу таскать», «Спок, Царь замену найдёт», «Не в нашем лагере, так в другом», «I Или из-под земли достанет», «I I оживит, если нужно» «Тише ты, ещё услышит», «Без тубы и ни сюды и ни туды».

Появляется Морда с корзиной выстиранных кухонных тряпок, мастерски насвистывая мелодию «Каравана» или другую популярную в то время мелодию. Левый рукав его рубашки завязан на культе ампутированной кисти. Свист вызывает интерес у Эдди.

ЭДДИ *(Морде).* Эй… Эй! Да, вы. Подойдите ко мне, пожалуйста.
МОРДА. Пожалуйста… Вежливый… *(Эдди.)* Вежливые какие. А я отвык.
ЭДДИ. Откуда?
МОРДА. С прииска имени Будённого сюда на работу в дезинфекции. По состоянию здоровья.
ЭДДИ. Откуда родом? Акцент, вроде, аидский.
МОРДА. Из Варшавы. Бежал в Белосток, партизанил, ну а потом по пятьдесят восьмой. Как все…
ЭДДИ *(вздыхает).* Как все… А ну ещё что-нибудь насвистите.

Морда ставит корзинку на пол и высвистывает несколько трудных рулад.

ЭДДИ. Мне музыканты на медные духовые в оркестр нужны. Пойдёте?
МОРДА *(откашливается).* Так я ж не умею.
ЭДДИ. Не вы первый. Научу. Было бы желание.

МОРДА. Так разве на одном желании далеко уедешь? *(Выставляет левую руку.)*
ЭДДИ. Всю кисть?
МОРДА. Угу.
ЭДДИ. Хм… Рука левая. Вы правша?
МОРДА. Да.
ЭДДИ. Но желание, желание-то у вас есть? Вы культю сейчас в расчёт не принимайте. Научиться хотите?
МОРДА. Но как?
ЭДДИ. Главное – что? Желание. Вы должны очень захотеть. Вот… *(Подходит к тубе, лежащей на скамейке.)* На вентили вы пальцами правой руки будете жать, а поддерживать тубу можно и без кисти. Не совсем удобно, но, если захотите, приспособитесь.
МОРДА. Вы это серьёзно?
ЭДДИ *(жестикулирует во время ответа, показывая расстояние руками: небольшое на слово «а бисел» и большое на слово «а гройсе»).* А биселэ шучу, а гройсе серьёзно.

Слышен женский голос за сценой: «Морда, тебя только за смертью посылать».

МОРДА *(Эдди).* Я уже и так… Накажут.
ЭДДИ. Айн момент. Сейчас всё устрою. *(Громко женщине за сценой.)* Алевтина Григорьевна… *(Морде.)* Как вас зовут?
МОРДА. Мордехай. Мордха, но все зовут Мордой.
ЭДДИ. А отчество?
МОРДА. Ну… Шевелевич.
ЭДДИ. Алевтина Григорьевна, голубушка, это я задержал Мордху Шевелевича на минутку.

Женский голос за сценой, кокетливо: «Эдди Игнатьевич, для вас я подожду минутку плюс вечность».

ЭДДИ. Сгоняйте к ней на кухню и сразу обратно.

Морда убегает с корзиной тряпок, а оркестранты начинают ворчать себе под нос, но так, чтобы Эдди слышал: «Этот Культя-Морда раньше свистеть по-тубьему научится, чем играть на тубе», «Нового любимчика выискал», «Тоже мне музыКакт», «Лабух с синкопой».
Эдди хватает в руки дирижёрскую палочку и раздражённо стучит по пюпитру.

ЭДДИ. Товарищи зэки, холера ясна! Я ещё пока не глухой. Вы думаете, чем мы здесь занимаемся?

Голос из оркестра: «Репетируем».

ЭДДИ. А для чего мы репетируем?

Голос из оркестра: «Чтобы не облажаться».

ЭДДИ *(указывая палочкой на каждого, к кому обращается).* Тебя я подобрал в больнице дистрофиком. Тебя вывез с лесоповала. А ты, немецкий барон Вильгельм фон Драугель, в девичестве Мюнхгаузен, великий трубач всех воюющих стран и народов, ни по-немецки говорить не мог, ни чистый звук из трубы извлечь. Для чего я это сделал? Думаете, вы такие цацы? Да на Колыме талантов, что бриллиантов в копьях царя Соломона… А? Что молчите? Мы здесь все выживаем. Спасаемся. Под моим руководством.

Появляется Морда. Подходит к Эдди.

МОРДА. Эдди Игнатьевич, мне там Алевтина про вас такой гимн спела, что мне прямо стыдно даже рядом стоять.
ЭДДИ. Стыдно стоять, тогда садитесь. Вот сюда. На спинку не облокачивайтесь. Спина прямая. Ноги чуть-чуть раздвиньте. Вот так. *(Подносит тубу к сидящему Морде.)* Возьмите инструмент. Вот так. Видите эту пипочку? Это мундштук. Представьте себе, что это женские губы. Ах, какие вы удачливые. Вам их целовать и целовать.

Морда тянется, чтобы дунуть в мундштук.

ЭДДИ. Стоп. Слушайте старшего. Туба – это ваша любимая девушка.

МОРДА. Алевтина?
ЭДДИ. Алевтина – не *ваша* любимая девушка. Это урок номер один. Понятно? *(За спиной Эдди оркестранты посылают сигналы Морде: режут рукой по шее, посылают воздушные поцелуи за сцену, обнимают себя за плечи, играя пальцами на спине.)*
МОРДА. Это я так, для примера. Буду думать об артистке Серовой.
ЭДДИ. Молодец. Сообразительный. Урок номер два: чтобы девушка нас больше любила, что мы должны делать?

Морда обхватывает тубу руками и опять тянется к мундштуку.

ЭДДИ. Итак, урок номер два. Не вы пытаетесь дотянуться до её губ, а она должна найти ваши. Понятно? Вы ей по-зво-ля-е-те. Тубу нужно держать на такой высоте, чтобы мундштук находился на уровне губ. Попробуйте разные позиции. Повертите свою возлюбленную. Так… Или так… Чуть левее. Теперь наклоняйте её к своим губам. Видите? Теперь вы хозяин ситуации.

Морда безуспешно дует в мундштук. Появляется Алевтина в кухонном фартуке. Смотрит на Эдди влюблёнными глазами.

ЭДДИ. Теперь произнесите букву «м». Так. Хорошо. Теперь разожмите зубы и сожмите губы. Теперь пойте: «М-м-м». Сожмите губы сильнее. Ещё сильнее. *(Показывает как.)* Губы должны вибрировать. Вот. Молодец. А теперь… *(Оборачивается, замечает Алевтину, улыбается ей, на секунду теряет нить разговора.)* А теперь… вибрируйте в мундштук. Когда наша туба-девушка получает вашу вибрацию, что происходит? Правильно, она стонет. *(Стонет. Раздаются смешки оркестрантов.)* Громко стонет. *(Морда дует в тубу.)* Это пока у вас бабушка стонет, но всё ещё впереди. Давайте ещё раз. Дудите. Молодец! И ещё раз. Дудите. Ну как вам? Нравится?
МОРДА. Кто бы мог подумать!
ЭДДИ *(подает Морде бумагу и карандаш).* Напишите здесь своё полное имя и номер, и я всё устрою.
МОРДА. Вскакивает со стула вместе с тубой. Эдди Игнатьевич! Эдди Игнатьевич! Эдди Игнатьевич!
ЭДДИ. Осторожно, холера ясна, любимую девушку так не сжимают, а то и раздавить можно. Правда, Алевтина Григорьевна?

Алевтина краснеет от удовольствия и прячет улыбку. Эдди забирает у Морды тубу, танцует с ней несколько кругов вальса, поглядывая на Алевтину, и кладет на скамейку.

ЭДДИ *(Морде).* Можете идти. Ауфидерзейн. Я всё устрою. Вас вызовут. *(Морда прощается кивком и уходит. Эдди берёт дирижёрскую палочку и стучит по пюпитру.)* А теперь товарищи славяне, финны, татары, аиды, немцы и дети дружбы народов, начинаем… И шмаляем джаз, холера ясна! И помните: мы шмаляем лагерный джаз. Это вам не марш строем и не американский джаз. Мы идём а биселэ-а бисилэ, чуть-чуть «кто в лес, кто по дрова». Smile, улыбаемся! Создаём настроение нашим зрителям! Зэкам, чтоб не унывали. Начальству, чтобы они нам не давали унывать. И… *(Бросает взгляд на Алевтину и взмахивает палочкой.)*

Оркестр играет «Чарльстон» из репертуара оркестра Рознера.
Затемнение.

Сцена 4
ПЕСНЯ СТРАНСТВИЙ

Прожектор выхватывает из темноты фигуру Гофмана.

ГОФМАН. Сколько народов, столько и традиций. По слухам, в старые времена эскимосы дорогую жену гостю в постель укладывали, чтобы тепло было. Может, даже и жену спрашивали, но история об этом умалчивает. У нас дома в буфете стоял сервиз из лиможского фарфора. Только для гостей. Грузины гостю подарят то, что тот похвалил. Казахи для гостя последнего барана зарежут. А русские всегда, бывало, стол накроют и чарку нальют и, если надо, сами на пол лягут, а гостя на хозяйскую кровать положат. Да чего там! У всех народов, кроме воинственных дикарей, для гостя mia casa, su casa. Это по-испански: мой дом – твой дом.
Так было всегда, когда каждый хозяин был сам себе хозяином. Но не в 1952-м, из которого мы услышим песню странствий освобождённой женщины в исполнении хора и меццо-сопрано. Куплет первый: Москва.

Гофман удаляется. Сцена разделена на правую и левую. Свет падает только на ту половину, на которой происходит действие.
Правая сцена. Ванная в квартире Добы. Рут в домашнем халате тщательно моет руки, потом так же тщательно вытирает их полотенцем, рассматривает ногти, и начинает мыть опять, усердно мыля и используя щёточку.

ЛИНА *(за сценой).* Мама, ну сколько можно ждать!
РУТ. Сейчас. Только руки домою.
ЛИНА *(голос за сценой).* Ты скоро кожу сотрёшь. У меня задача не получается.
РУТ. Спрашивай.
ЛИНА. Мне показать нужно.

Рут вытирает руки. Осматривает ногти. Достаёт новый кусок мыла в красочной упаковке и вдыхает аромат.

ЛИНА *(входит в ванную и смотрит на маму с укоризной).* Мама, мамочка…
РУТ. Я всё понимаю, но… Вода из крана льётся. Горячая! И нет ей конца. И мыло пахнет… земляникой. Это такая роскошь. Как раньше!
ЛИНА. Ты думаешь, что как только папа сойдёт с поезда, он бросится проверять, чистые ли у тебя ногти? И, вообще, когда это ещё будет… Через четыре года я уже вырасту.
РУТ. Это там время тянется бесконечно, а здесь я даже не заметила, как прошла неделя. Всё будет хорошо. Вот папа вернётся, и мы заживём, как раньше!
ЛИНА. Как в сказке…
РУТ. Иди. Я сейчас приду.

Лина выходит.

РУТ *(рассматривает себя в зеркале, поправляет волосы).* Сказка… Как всё относительно. Ах, Эдди, Эдди! Через четыре года я уже состарюсь. Мне будет тридцать пять. Жизнь прошла. И так уже начала преждевременно седеть, но во мне всё бродит, кипит, а пару выйти некуда. Эдди, мой нежный ганэф. Жду… *Vous… (Поёт куплет из песни «Жду».)*

Жду, опять напрасно жду
И средь алей брожу.
Милый друг, если ты слышал стук
Этого сердца,
Жду…

На фронте это был мой конёк. «Жду» на французском и русском. Платье скроила сама из какой-то шторы. Покрасила ткань в нужных местах в бордовый цвет. Выходила в капюшоне. Лица не видно. Загадочная фигура похожая на бордовый бутон. Эдди даже не играл вступление на трубе, чтобы дать блистать только мне. Конечно, он знал, что певица из меня не великая, но говорил: «Ты ведь актриса, золотце моё. Главное убедить зрителей, что ты звезда, звезда с большой буквы, и они поверят во всё, пойдут на край света. Как ты за мной». И вот я сбрасывала с головы капюшон. Он падал внутренним белым воротником вокруг моих молочных плеч. А я молоденькая блондинка с бордовыми губами. Солдатики шумно вдыхали, а потом при первом *Vous* так же хором выдыхали. *(Выдыхая.) Vous…*
Эдди может загипнотизировать зрителей. Да не только зрителей. Если бы он не был трубачом-виртуозом, то вполне мог бы стать вторым Вольфом Мессингом. Или первым.

Стук в дверь.

РУТ. Иду, иду…
ДОБА. Рути, это я.
РУТ. Открыто.
ДОБА *(входит).* К тебе пришли. Двое в форме.
РУТ. У меня же все документы в порядке. Мне так и сказали: «Восстановлена во всех правах. Можете ехать куда хотите».
ДОБА. Где сказали?
РУТ. Начальник милиции Караганды.
ДОБА. В Москве свои начальники. Я этих задобрить хотела и по рюмке чая дала, но они только озверели. Требуют тебя с документами.

Рут всплёскивает руками и выходит за Добой из ванной.

Она переходит на левую сцену. Гофман выходит с женским пальто и помогает ей его надеть. Пальто не по размеру, явно с чужого плеча.

ГОФМАН. Куплет второй: Гомель. *(Удаляется.)*

Перед рыночной аркой стоит Гита, молодая женщина в лохмотьях. Одной рукой она держит младенца, завёрнутого в тряпьё, другой – железную кружку для подаяния.

ГИТА *(жалостно)*. Подайте копеечку. На кусок хлеба, а девочке моей на пелёнки. Пожалейте несчастную сироту.
РУТ *(шарит в кармане, выуживает несколько копеек и бросает в кружку)*. Простите, ради бога. Я вас здесь уже три дня подряд вижу с ребёнком. С отцом что-то случилось?
ГИТА. Мой? Умер. А муж в больнице. А вы идите, живите своей жизнью, радуйтесь. Война закончилась. Бомбы не летают. Крыша над головой есть. В родной город вернулась. *(Гита отворачивается от Рут и начинает бренчать мелочью в кружке.)* Подайте копеечку. На кусок хлеба, а девочке моей на пелёнки. Пожалейте несчастную сироту.
РУТ *(отходит от Гиты)*. Иди, она говорит. Дочь при ней. Муж, какой-никакой, при ней, и крыша в родном городе. Она нищая, но она нищая дома. А я нищая иностранка. Без прописки. Муж в лагере на краю света. Дочь у Добы… Иди, она говорит! Куда? Каждый день рано утром я должна выйти из квартиры, якобы на работу, а обратно для конспирации только к шести. И целый день шатайся по улицам, как караван в пустыне. (*Доносится звуки «Каравана».)* Хозяева не должны знать, что на работу меня нигде не берут. А не берут потому, что прописки нет, а прописку не дают потому, что я вернулась из ссылки, а такие «в нашем городе не нужны», а без прописки на работу не берут или так говорят. Как только откроюсь хозяевам, придётся съехать, но куда? В Москве не прописывают, в Минске не прописывают. Теперь в Гомеле не прописывают. А какие мы здесь концерты давали сразу после освобождения города! Вокруг разруха. Каркасы зданий возвышались над руинами, а мы дали восемь концертов. И на каждом я пела «*Vois*». Зима, открытая платформа грузовика – и я в своём неувядающем платье-бутоне. *(Под усиливающиеся звуки «Каравана» бредёт на правую половину сцены.)*

Правая сцена. Появляется Гофман.

ГОФМАН. Куплет третий: Рязань. Отделение МГБ. *(Удаляется.)*

В кабине за столом сидит майор. Заходит Рут.

РУТ. Товарищ, начальник, помогите! Я же восстановлена в правах. И на работу меня уже берут в филармонию. И квартиру я подыскала. А прописку не дают. Только на вас надежда.
МАЙОР. Давайте документы. Кто вы?
РУТ. Вы меня не узнаёте?
МАЙОР *(пристально смотрит на Рут, узнаёт, читает её документы)*. Ну и что?
РУТ. По старой памяти. Вы же были нашим поклонником. Букеты в гримерку присылали. Одно ваше слово и меня пропишут.
МАЙОР. Ну и что, что букеты присылал? Это было до того как. Нам в городе такие не нужны.
РУТ. Так что же мне делать? Я нигде не могу найти себе пристанища. Ношусь, как Летучий Голландец, по разным городам, и нигде меня не прописывают. Умоляю вас. По старой памяти.
МАЙОР *(официально)*. Вот ваши документы. Уезжайте отсюда.
РУТ. Как? Что же мне делать?
МАЙОР. А мне какое дело? Хоть вешайтесь. *(Пожимает плечами.)*

Рут стоит и долго смотрит на него, но он прячет глаза и машет рукой, чтобы она уходила.

Она переходит на левую сцену. Уборная этого же здания. Свет падает из высокого узкого окна. Под ним умывальник. Рут вынимает из чемодана верёвку. Проверяет прочность умывальника, взбирается на него. Приспосабливает верёвку к ручке окна и накидывает петлю себе на шею.

РУТ. Теперь буду ждать. Будь что будет. Я же актриса. Может это и последняя моя роль, но сыграю её так…

На последней фразе открывается дверь и заходит уборщица с ведром. При виде Рут, стоящей на рукомойнике с закрытыми глазами и наброшенной на шею верёвкой, она начинает кричать.

УБОРЩИЦА. Упаси боже! Да что ж ты сделать собралась? А ну слезай немедля! *(Приближается к Рут).*
РУТ. Если притронетесь, я спрыгну.
УБОРЩИЦА *(останавливается).* Да нет такого горя, чтобы шею себе ломать. Одумайся. Слезай, милая! Посмотри, какая ты молодая, да ладная. Ну чего тебе вешаться? Эт только кажется, что проблемы твои неразрешимые, а через десять лет смеяться над ними будешь. Слезай. Дай, я тебе помогу. *(Делает движение в сторону Рут.)*
РУТ. Ещё шаг и я спрыгну. Нет мне больше жизни. Нет прописки – нет человека. Я не человек. Меня уже нет. Уйдите, не мешайте.
УБОРЩИЦА *(кричит).* Люди, люди, помогите! Женщина вешается! Караул, помогите, люди дорогие! Товарищи! Сюда! Сюда! На помощь! *(Продолжая кричать о помощи, она выбегает в коридор.)*

Затемнение.

Сцена 5
ВОССОЕДИНЕНИЕ

Прожектор выхватывает из темноты фигуру Гофмана.

ГОФМАН. Песня о любви, верности и дружбе. 1953. Москва. *(Удаляется.)*

Сцена освещается. Доба сидит у себя дома на стуле или в кресле с видом жюри на показе мод. На буфете или стене висят большие часы. Из-за кулис выходит Рут, застёгивая пуговицу на платье, и дефилирует перед Добой.

ДОБА. Во всех ты, душенька, нарядах хороша. Даже если он единственный.
РУТ. Цвет не очень тусклый? Я и так бледная… *(Смотрит на часы.)*
ДОБА. Можешь повязать платочек на шее.
РУТ. А-а… *(Делает непроизвольное движение обеими руками, защищая свою шею).*
ДОБА. Рути, ты об этом лучше вспоминай с улыбкой. Ведь сработало. Они с испугу и дали тебе прописку. Соль им в очи и перец в нос. Пусть сами вешаются… на сахарных верёвках, чтобы им было сладко в последние секунды.
РУТ *(смеётся и осматривает своё платье).* Может, брошь яркую…
ДОБА *(вздыхает).* Откуда? Я уже и забыла, когда все свои цацки распродала.
РУТ. И другого платья нет. *(Смотрит на часы.)*
ДОБА. Бубэлэ моё, губки подкрась и будешь сиять, как свежая роза. Он ведь не из Ниццы или Парижей прибывает. Сама ж видела, что тюрьма с людьми делает. А лагеря не лучше. Отвык он там от женской красоты. Ничего, ничего, подняли тебя на ноги, поднимем и Эдди. Вот скажи, не мог этот *(демонстративно откашливается, шёпотом)* усатый сдохнуть раньше? Одни радуют людей своей жизнью, другие – смертью. Жалко, что не ранней. Трудно поверить, но соседи плакали в тот день, а о столпотворении на похоронах я и не говорю.
РУТ. Может, хотели удостовериться, что он действительно умер, но, честно говоря… Когда по радио объявили, я на работе была…
ДОБА. Лампочки Ильича поджигала?
РУТ. Вот вы опять. Работа была расчудесная.
ДОБА *(саркастично).* Младшая помощница младшего ассистента третьего заместителя бухгалтера Рязанского энергосбыта.
РУТ. Зато ниже падать было некуда. Так безопасней. Когда услышала новость про… таракана… слёзы так и хлынули. Долго рыдала.
ДОБА. Глупышка ты моя.
РУТ. Иногда люди от счастья плачут, но я плакала ещё от ужаса и от злости. Ведь он мог поторопиться семью годами раньше… И потом, страх неизвестности. Это когда капитан на пиратском судне сдох, а помощники перерезают друг другу глотки за власть. Так корабль по недосмотру и на мель может сесть.
ДОБА. И сядет. В какой-то момент.
РУТ. И это тоже страшно.
ДОБА. Жить страшно, да и помирать не в радость. Поэтому будем делать что должно.
РУТ. Я, наверное, постарела, да? Вот посмотрите – морщинка возле глаза появилась.
ДОБА. Морщинка… Бубэлэ моё, постарела – это когда морщинок не счесть. Иди-ка, моя козочка, проверь, как там бульон поживает на плите. Займи себя чем-нибудь. Читай, пой…
РУТ *(напевает).* Милый друг, если ты слышал стук… Этого сердца… Жду…

ДОБА. И не забудь губы накрасить. (*Смотрит на свои наручные часы.)* А я схожу по делам. Лину из школы встречу. Во Дворец пионеров на кружок отведу, потом погуляю с ней в парке. Не будем путаться под ногами.
РУТ. Добочка Марковна, вы ангел.
ДОБА. Осторожнее с комплиментами, а то возьму и взлечу. *(Целует Рут в лоб и уходит за кулисы.)*

Рут стоит с мечтательной улыбкой на лице. Обнимает себя за плечи. Протягивает руки, как будто обнимает кого-то за шею, целуется с ним и гладит его по голове.

РУТ. О Эдди, а помнишь, как мама прозвала тебя ганэфом? Ты мой единственный и неповторимый ганэф. Мы выкарабкаемся, мы ещё поживём. Назло врагам, на радость маме! И знаешь, что я задумала… Когда стояла с верёвкой на шее, загадала, что, если выпадет жить, мы обязательно родим ещё одну девочку. И мальчика. Да кто получится. Ты ведь детей любишь. Будем жить да попевать и детишек рожать… Эдди… Эдди… Я сейчас просто лопну от желания. Семь лет ждала, а последние минуты просто невмоготу. Милый друг, ну где ты, чёрт побери! *(Топает ногой.)* Где ты, где ты! Чёрт подери, где ты!

Достаёт письмо из шкафчика.

РУТ *(читает вслух).* Золотце моё, не могу дождаться, когда заключу тебя с Линусей в объятья. Я на свободе! Семь лет страданий, ужаса, каторжной работы закончились. Описать это трудно, да ты и сама, скорее всего, испытала многие из этих… прелестей. Волосы у меня на голове, ну те, что ещё остались, встают дыбом от мысли, через что ты, должно быть, прошла. Если это была и десятая доля того, что выпало мне в начале срока, то это уже можно назвать схождением в ад. Не думал, что выживу.
ЭДДИ *(голос в записи).* Слава богу, мне повезло, что в руководстве лагерей вспомнили, кто я, и перевели с тяжёлых работ. Представь меня в шахте, на строительстве цементного завода, парикмахером у зэков? Чего я только в лагере не делал перед тем, как мне поручили перевоспитывать заключённых занятиями музыкой и игрой в оркестре. Надеюсь, что ты уже начала обучать Лину музыке. У неё просто обязан быть талант с такими родителями, как мы. Но, если музыка ей придётся не по душе, тогда нужно идти во врачи. У музыкантов и медиков в лагерях бо́льшая возможность выжить.
РУТ *(читает вслух).* Я был одним из первых, кого выпустили. Спасибо «безвременной» кончине великого вождя и нашему давнишнему белорусскому покровителю. Он теперь в Москве. Кому я только ни подавал прошение, но, когда подал на его имя, меня вскоре освободили, хотя ещё не реабилитировали. Это займет время, а пока я поселился у друзей в Хабаровске. Они добрые и отзывчивые люди. Она танцевала у меня во втором, вольнонаёмном ансамбле. Меня выпускали из зоны на репетиции и концерты.
ЭДДИ *(голос в записи).* Сейчас задержка в гостях вынужденная. Нет денег на билет, во-первых, а, во-вторых, я имею право прилететь в Москву, только если у тебя есть московская прописка. Через общих друзей узнал, что ты, в конце концов, смогла перебраться в Москву к Добе Марковне, но неизвестно, на каких правах. Как только подтвердишь факт своей московской прописки и вышлешь денег на два авиабилета из Хабаровска в Москву, я сразу прилечу. Помнишь, какие у меня были заначки? А теперь денег у меня нет. От слова «совсем». В лагере давали 7 рублей в месяц. Едва хватало на зубную пасту, да и то спасибо за то, что остались зубы, чтобы ею чистить. Расскажу при встрече.
РУТ *(читает вслух).* Перевод вышли по адресу Наталье Бычковой, улица… *(Остальной адрес читает про себя.)*
РУТ *(в зал).* Да! Прописка у меня наконец-то московская! Помог мамин приятель Эренбург, вернее, его секретарша. *(Читает дальше письмо про себя. Поднимает глаза. В зал.)* Но почему денег на два билета? Может, товарищу помогает? Сумма устрашила меня. Я ведь за копейки на поезде из Кокчетава возвращалась, а тут билеты на самолёт… Того, что я зарабатываю в ремесленной артели актёров-инвалидов и ветеранов и того, что мама присылает, нам едва хватает на скромную жизнь. Но… и тут мир не без добрых людей. Райкин одолжил по дружбе и сказал, чтобы не торопилась отдавать. Вот это настоящий человек. С большой буквы «Р» – рыцарь.
РУТ *(продолжает читать письмо вслух).* Телеграмму посылать дорого. Вылечу без извещения, но позвоню, как только прилечу. *(Складывает письмо.)* Как только прилетел сегодня, сразу позвонил! *(Голосом Эдди.)* «Золотце моё»… У меня сразу что-то оборвалось внутри и полетело. И вот сейчас он появится здесь. Сейчас, сейчас, сейчас.

Звонит звонок в дверь. Рут бежит за кулисы. Возвращается с Эдди. Он одет в скромный, но опрятный костюм, рубашку с галстуком. В одной руке чемодан, в другой футляр с трубой. Он ставит их на пол.

ЭДДИ. Золотце моё! *(Он и Рут одновременно бросаются друг другу в объятья. Звучит фрагмент песни «Это не сон».)*

Затемнение.

В том же месте, немного позже. Сцена освещается. Сначала свет падает на чемодан и футляр, которые стоят там же, где и раньше. Рут и Эдди входят на сцену, якобы из спальни, окрылённые любовью и недавней интимной близостью. Рут поправляет свою причёску, Эдди – галстук.

ЭДДИ. Рути, mia bella! Bella Bellissima. La vita e belissima. А! Жизнь прекрасна! Семь лет с хвостиком. Большую часть молодости у нас украли. Ничего, ничего. Мы выжили и опять вместе. Не страшны нам ни бури, ни тюрьмы, когда мы есть друг у друга. Семь лет. Столько за это время произошло! Столько нам надо друг другу рассказать. Не знаю даже, с чего начать и как. *(Смотрит на чемодан. Раскрывает его и достаёт пачку фотографий. Подаёт Рут по одной и рассказывает.)* Это мой лагерный ансамбль. Шнобеля узнала? Тоже освободился. А! Какие музыканты! Любой вольный оркестр позавидует. А вот мой ансамбль за зоной. Не такой профессиональный, как из зэков. Не отборный, но ничего. Когда молоденькие девушки на сцене пляшут, фальши и петухов в оркестре никто не слышит. А вот это Наташа. Наталья Бычкова. Моя подруга. Душевная женщина. Если бы не она, потерял бы передние зубы. Цинга у меня началась. До этого следователь их чуть не выбил. Зубы шатались, но потом зажили, а тут новая напасть. Шатаются, кровят. Кормили впроголодь и гадостью. Вот Наталья и сжалилась надо мной. Стала лук и чеснок мне приносить. Святой человек. А вот здесь… Это Наталья, я и…
РУТ. А как она беременной танцевала? Или это не её младенец?
ЭДДИ *(с задержкой, тихо)***.** Это наша с ней дочь. Света.
РУТ. Не расслышала.
ЭДДИ. Это Света – наша с ней дочь. На Линусю очень похожа.
РУТ. Так. Так… Так. *(Отстраняется и каменеет.)* Вот и дождалась ты, bella belissima, своего счастья. Твой муж вернулся.
ЭДДИ. Но я ей сразу сказал, что женат и люблю свою жену и дочь, и что никогда от них не уйду.
РУТ *(саркастично)***.** Как благородно с твоей стороны!
ЭДДИ. Ну как же я мог не отозваться на чувства женщины, которая меня практически спасла! Зубы… Зубы для трубача – это всё, а Наташа такая добрая, отзывчивая и всё-всё понимает. Она нам не будет мешать. Она всё понимает. Я женат и люблю только тебя.
РУТ. Она всё понимает, а Света?
ЭДДИ. Что Света? Света – младенец. Мы её на руках держали во время полёта.
РУТ. Какого полёта?
ЭДДИ. В Москву. Не мог же я их там бросить. Это же…
РУТ *(перебивает)***.** Неблагородно?
ЭДДИ. Да.
РУТ. А теперь какие у тебя планы?
ЭДДИ. Ты моя жена. Что случилось, то случилось. Семь лет – большой срок, и кто мог предполагать, что усатый вот-вот умрёт, и меня выпустят заранее. Так получилось. Дети не виноваты. Ты не виновата. Наташа не виновата.
РУТ. И ты не виноват. Никто не виноват. Цинга виновата, что на свет появилась девочка Света. Невинный ребёнок. Так какие у тебя планы?
ЭДДИ. Я же ответил. Так получилось.
РУТ. Так получилось – это не план.
ЭДДИ. Вот увидишь, я организую новый оркестр. Он будет ещё больше и лучше, чем раньше. Наберу замечательных музыкантов, танцоров, чечёточников, и прогремим мы на весь советский мир!
РУТ. Советский мир. А как же с репатриацией?
ЭДДИ. Время ушло. Даже не знаю, как это теперь сделать и, к тому же, как я могу оставить Наташу с ребёнком!
РУТ. Значит твой план – не оставлять Наташу с ребёнком. Понятно. А я с ребёнком?
ЭДДИ. Я же вернулся к тебе с Линой. Я люблю тебя. Ты моя жена. Я с тобой.
РУТ. А Наташа со Светой?
ЭДДИ. А они отдельно. Света – мой ребёнок. Наташе я благодарен.
РУТ. А жить? Жить где они будут? С нами?
ЭДДИ. Ну что ты? У Добы Марковны мы все не поместимся. Я Наташу пока в гостиницу поселил. Меня там помнят, а деньги у Гофмана занял.
РУТ. А потом?
ЭДДИ. Мы что-нибудь придумаем.
РУТ. Кто «мы»?
ЭДДИ. Ну, мы. Ты, я и Наташа.
РУТ. Эдди, нет тебя, меня и Наташи.
ЭДДИ. Но ведь есть. Из песни слов не выкинешь.

РУТ. Очень даже выкинешь. Из твоей «Тихой воды» очень даже замечательно выкинули все слова и вставили новые, как будто «Тихой воды» никогда и не было, а только… *(Напевает.)* «Ай да парень, паренёк»! Ай да Эдди, паренёк, вся отвага между ног.

ЭДДИ. Зачем ты так грубо!? Ты же знаешь, как женщины вешаются на музыкантов. Проходу не дают. Ты же знаешь и видела. Да и тебе проходу не давали. Это же наше проклятие.

РУТ. Я смотрю, что не такое уж проклятие, если помогло зубы спасти. Тоже мне нашёлся «жертва женских посягательств».

ЭДДИ. Золотце моё. Прости мои слабости. Я ведь только грешный человек. Знаешь, сколько в зоне вокруг меня крутилось разных бабёнок. Я же не каменный. Вокруг холод, голод, каторжная работа, грязь… Да что там! А тут тебя хотят пригреть, обласкать, луковицу дать. Мы же не маленькие дети, тем более, ты сама побывала в тюрьме и в ссылке. Рути, mia cara bella, belissima Рути, золотце моё, всё перемелется – мука будет. Главное – что? Главное – верить! Верить, что возможно всё! Решили – сделали. Мы ведь ещё молоды. Мне только сорок четыре! Мы устали, но мы оттаем, расправим крылья, будем счастливы!

РУТ. Да, Эдди. Мы будем счастливы. Обязательно. Ты будешь счастлив с Наташей и Светой, а я буду счастлива с Линой.

ЭДДИ. Но я не хочу быть с Наташей. Я хочу быть с тобой.

РУТ. Я тоже хотела быть с тобой, но что поделать, если не складывается.

ЭДДИ. Сложится. Мы же любим друг друга. Ты же без меня так и будешь мыкаться на копеечных непонятных работах. Разве это дело? Я о тебе всегда заботился и теперь сделаю всё для тебя и Лины. Ты у меня опять, как лялечка, ходить будешь, в шубах и бриллиантах. Петь на лучших сценах в дорогих костюмах. Или можешь вообще не работать. Как захочешь. Оступился я, Рути, ну, с кем не бывает. *(Пытается поцеловать её.)*

РУТ *(уклоняется и отступает от него на шаг и медленно осматривает его с ног до головы, выходит на авансцену)***.** Позор. Какой позор. *(Закрывает лицо руками.)* О чём я? Какой позор? Это *меня,* что ли, должен стыд разбирать, когда поползут сплетни… вернее, когда правда вылезет наружу? Обида?.. Смертельная. В ссылке вокруг меня крутились многие. Достойные, красивые, умные, удобные, и да… иногда желанные, но у меня в голове висела икона Эдди, и мой взор был обращён только к ней, к чудотворной… Она плакала… А это была моя кровь… А теперь, Рути, вспомни что на самом деле главное: не сотвори себе кумира. Не сотвори себе кумира.

Подходит к Эдди. Обнимает и гладит по голове.

РУТ *(Эдди)***.** Я, по-моему, никогда тебя ещё так не жалела. Бедный мой, ганэф. Три волосины на голове, круги под глазами, худой, замученный, несчастный. Ещё без прописки, без работы, без денег. Бедный мой, большой маленький мальчик. Трудно тебе было. Оступился. Бывает. По-человечески я тебя понимаю… Как же не понять. Зубы для трубача – главное. По существу, без трубы ты не чувствовал бы себя мужчиной. Я с музыкой не могу конкурировать. Ты выбрал музыку. Понимаю. *(Отступает от него на шаг.)* Но ты из всемогущего ганэфа превратился в бедного и беззащитного немолодого мальчика, которого хочется жалеть и гладить по головке. Но любить? Ты отрезал себя Наташей и Светой. Ты отрезанный ломоть. Я не знаю, как тебя любить. Как? Нет…

ЭДДИ. Рути, прости меня, идиота. *(Дотрагивается до её руки.)*

РУТ *(отбрасывает его руку, съёживается, обхватывает себя за плечи)***.** Нет, нет! Это невозможно. Это никак не возможно. Ты для меня больше не…

ЭДДИ *(перебивает)***.** Ради бога, не произноси этих слов. Пока они не сказаны, всё ещё возможно склеить. Ты в шоке. Расстроена, да что там расстроена – ты готова разорвать меня на куски, но это пройдёт, а любовь останется.

РУТ *(пауза)***.** Разорвать тебя на куски? Зачем? Ты жалкий и несчастный, запутавшийся… Конечно, ты воспрянешь, создашь оркестр, будешь гастролировать. Опять станешь Царём, но ты для меня больше не…

ЭДДИ. Рути! Остановись. Не… произноси эти слова.

РУТ. Ты для меня больше… не мужчина. Так получилось. Оно само. Вдруг. У меня внутри что-то защёлкнулось… Се ла ви. Я всё равно уеду в Польшу. Буду играть в театре у мамы. Может, даже и в кино. Потому что главное – что? Чему ты меня всегда учил? Главное – верить! И я верю и знаю, что выживу без тебя. Я всегда буду тебе другом. Ты всегда будешь для меня Царём трубы и джаза, отцом Линуси. Всегда, но то, что разбилось, не собрать.

ЭДДИ. Почему не собрать? Как? Ведь я только вернулся. Я ждал встречи с тобой семь лет. Всё представлял себе, как это произойдёт, как ты скрутишься у меня калачиком на груди, моя девочка, моё золотце… Так сразу? Без права на реабилитацию! Рути, это жестоко! Я же не виноват, что нас разлучили на семь лет! Я не виноват! *(Плачет. Рути обнимает его и тоже плачет. Звучит номер «Прощай любовь».)*

Затемнение.

ЭПИЛОГ

Прожектор выхватывает из темноты фигуру Гофмана.

ГОФМАН. Как известно, два аида – три мнения: ехать, не ехать, другой глобус искать. Передвигаемся мы, подобно ферзю в шахматах, во все стороны: вперёд, назад, вбок и по любой диагонали и, главное, на любое расстояние. У некоторых просто шпильки в тохесе сидят, других сгоняют с нажитых мест, третьи ищут лучшей жизни. Ферзь – художник. Иногда свободный, иногда осуждённый, иногда освобождённый. Их мало. На доску по одному. А пешек много. Что пешка? Ходит куриными шагами. Даже король тюх-тюх, а дальше одной клетки двинуться не хочет.

Но теперь весь мир приходит в движение. Всех волей-неволей переводят в ферзи. И хотел бы кто прожить всю жизнь пешкой, да мало кому удастся. Если не мы, то наши дети станут странниками. Хорошо ли это, плохо ли – одному богу известно. Эдди часто меня спрашивал: «Скажи, почему так трудно в наши дни родиться, жить и умереть с видом на одну и ту же реку, чихая от запаха одних и тех же цветов и разговаривая с внуками на одном и том же языке?».

Но потом ему всё же повезло. С большим трудом, незадолго до вечности, ему удалось вернуться и пожить четыре года в родном Берлине.

А до этого последнего хода ферзём, он, как и обещал Рути, создал в СССР новый оркестр. Оркестр Эдди Рознера! Ещё более знаменитый, чем первый. *(Напевает.)* «Пять минут, пять минут! Бой часов раздастся вскоре! Пять минут, пять минут!». Это играли мы. Да, шестнадцать лет успеха и гастролей, борьбы с бюрократией и фальшью пролетели, как пять минут. Но… Когда Эдди в 1973 году уехал на родину, в Берлин, приёмная родина изъяла его имя, вычеркнула.

В 1956-м Рути с Линой уехали в Польшу. Она писала мне…

РУТ *(голос в записи)***.** Наконец, я опять на сцене. С мамой, в мамином театре и на мамином языке! Но тучи сгущаются. Опять. Ах, как нас любят тучи! С востока они закрывают от нас солнце красным цветом, а местные тучи всё больше чернеют и скоро полностью закроют окно. Du farshtaist? Понимаешь? Закроют окно. Поэтому решили отправиться на гастроли по Европе, а потом осесть в Голдене Медине.

ГОФМАН. Я же виртуоз-эзоповед. Разобрался. Осесть в Голдене Медине – эмигрировать в Золотую Страну. В Америку, значит. В 1992-м звоню ей в Нью-Йорк: «Рутка, у нас теперь полная свобода, приезжай в гости!». И потом всё-время зазывал навестить, но то у неё мемуары выходили, и встречи с читателями распланированы на полгода вперед, то расписание в театре не позволяло. То одно, то другое. А я думаю, третье: боялась. Были ли у неё мужчины? *(Пожимает плечами.)* Она всё отшучивалась: «Самые красивые женщины – блондинки, а самые верные – седые. Вот я и крашу свою седину в русый». Поди разберись. Но, с другой стороны: кто ж мог сравниться с Эдди?

Я? Ну что обо мне. Пою и танцую наяву и в мечтах. Рассказываю сказки и истории о прошлом. А эта история подошла к концу. Остался у нас всего один номер. Финал, в котором все счастливы, правда, по отдельности.

Из-за кулис показывается труба, устремлённая вверх. Звучит номер «Сент-Луис блюз». Постепенно и сам Эдди появляется из-за кулис, продолжая играть на трубе. Он подходит к Гофману. Они приветствуют друг друга кивками, идут вглубь сцены и наблюдают за действием. Музыка стихает.

Действие возвращается на Римский Форум и происходит после кражи Рутиной сумочки.

РУТ *(Лине)***.** Почему опять у меня! В тюрьме, в предварительном заключении мы ещё были в своём. У меня крали всё: туфли, мыло, чай. Всё, кроме норковой шубы. Уж слишком заметная она была… Я её обменяла перед этапом на старое пальто, чтобы не привлекать внимание… На этапе у меня тоже крали всё. Но когда украли ботинки…

ЛИНА *(подхватывает)***.** То ты пальто перестала снимать даже во сне.

РУТ. Линка, да ты всё наизусть уже знаешь! *(Усмехается.)* Хорошо, что я паспорт с деньгами в гостиничном сейфе оставила, а в сумку так, просто мелочь положила. Пусть с этой сумкой воры стащили у нас все напасти и болезни. Пойдём, Линусь, я тебе покажу ещё один пуп. Знаешь, когда на чём-то зацикливаешься, то мир сужается. Эдди был моим всем. Центром моей вселенной. Моим Umbilicus Urbis Эдди. В него я бросила свою молодость, свою любовь, свои мучения. А вот там… видишь? Там новый пуп – Milliarium Aureum. Построен ещё при Марке Аврелии. Он колонной устремлялся в небо. Теперь к нему вели все дороги в Рим, а о старом пупе мало кто вспоминал.

Начинает очень тихо звучать песня «Тиха вода» без слов и продолжается до финальной реплики Рут, после которой звук усиливается до закрытия занавеса.

РУТ. Когда мы с тобой репатриировались в Варшаву, я до самого последнего момента боялась, что нас снимут с поезда и не выпустят из Союза…
ЛИНА. А я боялась, что никогда не смогу выучить польский, а ты меня всё наставляла: «Главное – что? Главное – верить, что сможешь выучить. Главное – верить, что получится, не отвлекаться и не думать о препятствиях, не думать о том, почему не выйдет, не думать о „нет“, а только желать „да“». Всегда «да», «да», «да». Смешно. Ведь, когда вы с папой расставались, он верил до последнего момента, что ты от него не уйдешь. И думать не хотел о «нет», но, видно, правило не срабатывает на сто процентов.
РУТ. Просто мы оба очень хотели, только прямо противоположные вещи.
ЛИНА. Мам, а ты была вода или камень?
РУТ. Камень. Упёрлась «нет» – и всё. Камень, правда, тихая вода точит, капля за каплей, но Эдди об этом забыл.
ЛИНА. Не забыл он, мама. Не может он быть водой. Ты же знаешь – он же огонь!
РУТ *(усмехается)*. О, да. Он огонь! Вот поэтому он великий музыкант. И, конечно, ганэф! Мой любимый ганэф!

Занавес.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Коллекцию записей оркестра можно найти на youtube, например, по ссылке https://youtu.be/h6Ap9nACJkg

Наибольшую музыкальную аутентичность спектаклю придаст использование рознеровских фонограмм или аранжировок. Хотя манера игры и звук американских трубачей Гарри Джеймса и Рэя Антони, исполняющего репертуар Гарри Джеймса, отличается от рознеровской, режиссёр может решить использовать их записи, так как они сохранились гораздо лучше, чем записи оркестра и соло Рознера. Подробнее о манере игры Рознера и американских трубачей этого периода написал специалист по истории советского джаза Яков Басин в личном письме автору пьесы:

«Рознер вошёл в джаз тогда, когда ещё большинство трубачей „работали“ под Армстронга, а Луи играл на корнете. До войны у Рознера тоже был корнет. А у Джеймса и Энтони был флюгельгорн, а это и звук иного тембра, и „бравурность“ стиля и т.д. Для сравнения с саксофонами, чтобы легче было определиться: у Рознера был альт, а у Джеймса – тенор. К тому же Рознер был необычайно лиричен, что отражается на всех его сольных партиях. Как эталон тембра звучания его инструмента надо использовать исполненный им „Караван“ Эллингтона. Рознер часто играл открытым звуком так, как будто у него в руках ещё и сурдина. Для общей характеристики его манеры игры и звукоизвлечения я бы выбрал слово „нежность“».

АНДРЕЙ НИКИТИН

ИДЕАЛЬНЫЙ МИР
рассказ

Илья поправил галстук, выглянул из окна на синее море, мимо которого проезжал поезд. В небольшом помещении уборной было тесно. Автоматически его обрызгал дезодорант, слилась вода в унитазе и на электронной табличке слева от дверей прошла строка с показателями его температуры, отношения роста к весу, так же несколько слов о погоде и советы на день. Это было привычно.

Илья уже закончил дела и мог немного отдохнуть. Он вернулся в комнату. Робот-официант тут же возник из-под пола.

– Виски со льдом и салат из фруктов, – сказал Илья, глядя в окно. Робот исчез. Илья откинул голову на выдвижную подушку и ощутил, как кресло начало нагреваться. Это сработала автоматическая массажная система, определившая, что у него болит, по нервным импульсам тела, ещё при входе в комнату.

Илья глянул на лампу под потолком, слегка прищурился и свет мгновенно стал тусклее. Через минуту вновь бесшумно появился робот. Илья ощутил в руке бокал, глотнул виски, потянулся на ощупь другой рукой и наткнулся на фрукты. Море осталось позади. В небе летела стая птиц. Илья жевал и думал о том, что в мире полно бедных людей. Он возвращался из бедной страны, где нет технологий, где люди сами себе готовят, где робот не будит вас по утрам и не относит в кровать, если вы пьяны. Подобных стран много, но люди там кажутся счастливыми. Они танцуют по вечерам при свете огня, устраивая себе праздники в любое время, они болтают друг с другом не через мониторы и наушники, они пьют настоящую жидкость, морщась, закусывая, а не глотают две таблетки, содержащие столько же алкоголя, но без горечи.

Всё это Илья видел за последние несколько дней, всё это он прочувствовал на себе и, несмотря на их мнимую радость, они нуждались в помощи. Илья хотел помочь этим людям. Автоматизирование систем упрощает жизнь. Есть техники, которые обслуживают систему, ведь они есть всегда, но с каждым годом их становилось всё меньше. Роботы меняли людей во всех сферах деятельности. Роботы получали знания быстрей людей, они не ошибались, они не завидовали, не ревновали, не колебались. Им была нужна только энергия, больше ничего. Система защиты не позволяла роботам вредить человеку, и сами роботы, зачастую присутствовавшие на совещаниях, были согласны с необходимостью этой защиты.

Поезд плавно остановился, в купе раздался запах персиков. Илья открыл глаза, привстал в кресле, улыбнулся. Он любил запах персиков и понял, что система уловила его желание и старалась ему угодить.

Илья шёл вдоль улицы, глядел на небоскрёбы зданий, разноцветные огни, уходившие в небо, и пытался подсчитать в уме все недостатки и сложности, связанные с переходом к автоматизации. Сразу это сделать невозможно, людей нужно подготовить. Сам вид этой новизны и глобальности нагоняет страх. Илья остановился у дверей здания, перед входом стоял мужчина с плакатом.

Верните людям право выбора!

Илья глядел на плакат. Он понимал желание мужчины. Всегда были подобные уникалы, желающие на что-то влиять, желающие казаться более значимыми, чем роботы. Да и просто некоторые люди хотели привлечь к себе внимание.

– Мужчина, что вы делаете?

– Я пытаюсь всех разбудить, – сказал мужчина, отложив плакат, – вы стали как зомби. Вы разучились работать сами. Роботы не могут полностью заменить человека. Это ошибка человечества. Мы хотим снять с себя напряжение, расслабить мозги, но это сделает людей идиотами.

– Но ведь мы и создали роботов для работы. Они делают всё.

– А если робот сломается?

– Его починят другие роботы. Оглянитесь! Город автоматизирован. Скоро человеческий фактор сведётся к минимуму.

– Нет, парень. А что, если все роботы перестанут подчиняться? Что тогда?

– Этого быть не может, – сказал Илья, – робот надёжен.

– Всё может быть, парень. Вечного ничего не бывает. Рай, что вы пытаетесь создать, тоже не вечен. Когда-нибудь всё это рухнет.

– Ну, защита всех систем работает безупречно. Всё контролируется и проверяется.

– Да? А кто платит за эту энергию? Кто добывает её? Это ведь не роботы.

– Ну, не всю энергию добывают люди, есть и независимые системы. Я не понимаю, что вам не нравиться? Отработайте двадцать лет, как и положено, и до конца жизни вам больше не придётся работать, а всю работу за вас будут делать роботы. Для этого и трудились инженеры всего мира. Для этого и не спали ночами, чтоб мы могли отдыхать большую часть времени.

– Это всё глупость, – сказал мужчина, – так не бывает. Роботы могут захватить этот мир, и для них это будет как дважды два.

– Вот тут вы ошибаетесь, милейший, – сказал Илья, усмехнувшись, – центральная система управляется людьми. Там нет ни одного робота, и это самая серьёзная защита. В здании только люди. Люди контролируют машины на самом первом уровне. Одно нажатие кнопки вырубает всю систему электроники, на случай, если как вы говорите, роботы захватят мир.

– Всё так и будет, – сказал мужчина, но Илья уже понял, что не стоит обращать на него внимание. Он прошёл к двери, робот Роджер мгновенно открыл дверь и пропустил своего хозяина. Илья даже не заметил, что робот всё это время был рядом. Роджер никогда не мешает, но всегда помогает. Отличный робот.

На экране возникло лицо. Илья сидел в кресле, пил холодный сок и помахал рукой в знак приветствия. Человек с экрана кивнул.

– Миша я хотел поговорить о финансировании отдельных бедных участков страны. На данном этапе это невозможно. Люди не готовы так внезапно войти в наш мир. Для этого нужно время.

– Почему ты так решил? Ты читал электронный вывод робота о жизни отдельных не автоматизированных городов?

– Нет, я не давал запрос. Сейчас наберу. Я не об этом хотел поговорить. Понимаешь, я общался со многими людьми, но они просто не понимают, для чего подобное автоматизирование. Какой-то парень сказал, что это глупость, что человека нельзя заменить. С одной стороны он прав, но ведь робот не ошибается. Робот надёжен. Робот знает, что нужно человеку, робот не может навредить человеку. Если доступным языком объяснить это толпе, то всё будет в порядке. Но проблема в другом. Я показывал фотографии нашего города, объяснял принцип работы систем, одни смеялись, другие пугались.

– Что это за забитый народ? Где ты был?

– Я уверен, Миша, что такие забитые места по всей стране, и их очень много. Окраина Мельбуса не так уж и далека от черты, их стоит чуть-чуть прижать и они поддадутся.

– Давай я сперва сам почитаю твои отчёты, и через день-два соберём комиссию, а после будем думать, как продвигать дальше автоматизирование. Сегодня я не могу принять решение.

– Хорошо. Тогда до встречи.

Монитор погас.

Илья задумчиво глядел в окно на разноцветные огни города. Слышался слабый шум, работала техника. Автоматика управляла всем зданием. Илья обернулся, в дверном проёме стоял робот.

– Роджер, что ты хотел?

– Две вещи, сэр. Я нашёл себе замену. Её зовут Матильда.

– Зачем, Роджер? Ты прекрасно справляешься с обязанностями.

– Сэр, я знаю, что вы привыкаете ко мне, и тем печальней будет неизбежное расставание в дальнейшем. Сейчас та самая стадия, когда расставание не причинит боли. Роботы не вечны, вы знаете об этом. Я пойду служить другому, чтоб мы больше никогда не увиделись. Или же меня можно разобрать.

– Поговорим об этом позже, Роджер. Ты распечатал мнение о Мельбусе? Я хочу подготовиться к завтрашнему дню.

– Да, сэр, я написал то, что думаю лично для вас в двух словах, кроме самого отчёта. Я никогда не видел столько людей, работающих без автоматизации. Они всё делали сами, сэр. Я будто попал в мир без роботов, и думаю, что сумел оценить возможности человека. Потому я хотел поговорить о защите. Не всё оказалось так, как я думал.

– О какой защите?

– О защите системы, сэр. Знаю, вы не согласитесь, но машины считают и мыслят лучше людей, и это подтверждено не раз. Нельзя оставлять контроль системы лишь человеку. Это неправильно. Я считаю, что центральная система должна управляться роботами.

– Роджер, ты хочешь, чтоб роботы контролировали роботов? Это смешно. Я понимаю, как ты мыслишь, но не нужно начинать читать мораль. Всё давно решено. По-твоему лучше, если система останется без человеческого контроля? И вообще, поговорим позже. Сейчас я занят.

– Слушаюсь.

Робот исчез за стеной, бесшумно, как всегда. Илья вновь повернулся к окну и выпил полный стакан виски.

– Вам звонят, сэр, – сказал женский голос, – это Михаил.

Илья заснул в кресле, и сейчас вскочил, протёр лицо ладонью.

– Я слушаю, – сказал Илья, привстав. Свет в помещении включился на половину яркости, вспыхнул монитор телевизора.

– Илья, ты слышал, что произошло?

– Что произошло?

– Я слышал о происшествии. Что-то с персоналом.

– Где?

– В центре энергоснабжения.

– Что там случилось?

Илья мгновенно оглянулся, подозревая, что система дала сбой, что роботы восстали, как утверждал человек с плакатом на улице. Это произошло вопреки системе защиты. Где Роджер? Роджера нигде не было. Он наверняка теперь стал врагом. Илья не верил. Просто невозможно, чтоб роботы восстали. Они точны, они исполняют команды, они надёжны.

– Мне сказали, что несколько сотрудников напились на работе, – продолжал Миша, – что это означает?

– Напились на работе? – переспросил Илья, повернувшись к монитору. Он задумался, не поняв сути, – но зачем?

– Вот и выясни это, Илья. Ты ведь отвечаешь за безопасность и бесперебойную работу персонала. Я не могу связаться с ними. Что-то произошло со связью.

– Ну, я только частично отвечаю за это.

– Я звонил, но никто не отвечал. Это странно. Что там могло…

Экран погас, свет в помещении тоже. Стало темно. Лунный свет медленно вливался в комнату, глаза привыкли. Илья рефлекторно нажимал на кнопку пульта.

– Дать свет.

Ничего не изменилось.

– Роджер, что произошло?

Тишина. Непривычная, пугающая. Никаких звуков. Где-то послышался металлический скрежет, затем снова тишина. В голове шумело. Мобильная сеть стала недоступной. Уличные огни гасли, лишь серый свет проникал в помещение. Илья нащупал мобильный телефон и подсвечивал дорогу. Двери не открывались, окна заперты, голосовая связь не работала. Илья попробовал выломать дверь, но она не поддалась. Стало тихо, но в ушах продолжалось какое-то гудение, незаметное в обычное время, когда работают вытяжки, вентиляторы и охладители.

Илья вошёл в комнату Роджера. Робот бездвижно сидел на полу, рядом сидел ещё один робот, которого Роджер приготовил на замену. Оба неподвижны. Илья слышал, как соседи беспомощно выкрикивали имена роботов. Кто-то звал на помощь, кто-то просто кричал. Слышался треск металла, звон битого стекла. Неожиданно Илья подумал о том, что это устроили специально. Восстали те, кто отказывались от автоматизации городов. Но он тут же решил, что это глупость. Бунт нужно долго и тщательно организовывать. Но что же тогда произошло?

Илья осветил неподвижные силуэты роботов. Было жутко видеть их в таких позах, абсолютно неподвижными. Илья сел за стол, поднял голову к потолку, почесал подбородок. Он догадывался, что могло произойти. Он припомнил несколько дней в Мельбусе, где люди у костра напивались до потери сознания. Они переставали себя контролировать. Неужели подобное могло произойти в цивилизованном городе? Неужели там, где повсюду камеры и роботы контролируют каждый шаг, кто-то мог пройти на работу и напиться до бесчувствия? И зачем? Как это допустили? Здание энергоснабжения контролирует и самих роботов, поэтому там их очень мало. Хорошо, допустим, роботы это упустили, но где же были люди? Охранники, начальство, коллеги по работе. Неужели никто не пресёк подобное нарушение дисциплины?

Илья сидел за столом и глядел на силуэты застывших роботов. Ему припомнилось, что Роджер хотел поговорить.

Сэр, я подготовил отчёт, который вы просили. Это моё мнение о городах, населённых людьми. Я подготовил кроме отчёта вывод в двух словах лично для вас.

Илья оглядел помещение и увидел на полочке отчёт, на нём лежал конверт, предназначенный для Ильи.

Вы можете не прислушиваться ко мне, но я ведь робот, а роботы не ошибаются.

Илья вскрыл конверт и достал листок, на котором умещался весь вывод о жизни людей в городе, не прошедшем автоматизацию. Там было всего два слова.

Человек ненадёжен.

ЧЕЛОВЕК
рассказ

С металлического стола, стоящего посреди круглого помещения, жидкость капала на бетонный пол. На столе остались следы затвердевшего биологического материала, пластиковые трубки, перемазанные слизью, различные механизмы и небольшой моторчик, теперь работавший вхолостую. Он должен был качать жидкость, но лишь гонял воздух, надувая пузыри, которые беззвучно лопались. Эта груда липкой смеси, набор пластика, напоминали по форме что-то осмысленное, какой-то неоконченный объект.

Кловус наблюдал за этим некоторое время, затем подошёл к компьютеру и задумался, прочтя выводы о результате эксперимента.

– Почему объект распался?

Женский электронный голос быстро ответил:

– *Объект не распался. Слияние произошло успешно на 98%. Объект нормально функционирует.*

Кловус обернулся, вновь запечатлев взглядом дёргающиеся пластиковые трубки и булькающий моторчик, который, казалось, запутался между ними и словно дразнился, надувая пузыри из слизи.

– Объект распался и разлился по полу. Он не функционирует, Сара. Произошла ошибка.

– *Никакой ошибки не произошло,* – сказал компьютер, – *Слияние произошло успешно на 98%.*

– Что не так с двумя процентами? В чём погрешность слияния?

– *Состав человеческой особи недостаточно насыщен минералами, железом, углеродом. Протоплазма более низкой температуры, чем кровь человека.*

Кловус начал проверять все данные, введённые в компьютер. Перечень был долгим, и на проверку ушло много времени. В большинстве состав совпадал, наличие примесей не вызывало ничего подозрительного. Всё должно было работать нормально, о чём неоднократно и настойчиво сообщал компьютер, но вместо тела человека на стальном столе лежал какой-то технический мусор.

Моторчик заглох, бульканье прекратилось, наступила тишина, разбавленная гудением работающих ламп и компьютера. Кловус ненадолго оглянулся. Трубки на столе больше не дёргались. Симфония окончена, дирижёр замолк.

Уже несколько дней Кловус пытался создать человека. Материала в комплексе хватало. Можно было использовать повторно биологический мусор, но сама попытка не увенчалась успехом. Никакой ошибки не было. День спустя Кловус вновь пробовал завершить эксперимент. В капсулы с материалом он загружал различные гели, субстанции, клейкие жидкости, в отдельную капсулу были замотаны различной толщины трубки, пластиковые детали всевозможных размеров и форм. Твёрдый пластик хорошо заменял зубы и не требовал отдельных креплений.

– Ну, что же, – сказал Кловус, глядя на общий вес составляющих, сверяясь с расчётами, – пора повторить попытку. В этот раз всё получится.

Кловус вышел из помещения, включил рубильники. Зашумели генераторы. Где-то включилась турбина. Капсулы задребезжали, насосы начали качать жидкости. Кловус смотрел через стекло, как зарождалась жизнь. Трубки ложились в определённой последовательности, принимая форму человеческого тела, жидкость закачивалась по шлангам, моторчик, лежащий в правом верхнем углу, начал гудеть, гоняя густую клейкую массу. Смесь пластика принимала форму. Спустя примерно час Кловус увидел, как начала дёргаться рука лежащего на стальном столе объекта. Цвет кожи был слишком светлым, как песок на пляже. Немного странно, но не более, просто пропорция не та, вот и всё.

Рука зашевелилась и поднялась, пальцы ходили по воздуху. Человек приподнялся на столе и оглядывался. На голове было слишком много волос, казалось, будто он надел шапку. Глубокий вдох, хриплый выдох, снова вдох, выдох. Уже легче.

– Да, дыши, – говорил Кловус, касаясь стекла, пытаясь поближе всё рассмотреть.

Снова вдох и выдох, снова вдох, затем хриплый крик. Человек схватился руками за горло, различные спектры боли расходились по лицу. Человек закричал. Из кожи на руке потекла жидкость. Человек попытался встать на ноги, но не удержался и упал на пол, продолжая кричать и крутиться на месте.

Кловус отошёл от стекла, набрал комбинацию клавиш и через минуту уже был в комнате, глядя, как извивался человек в луже липкой смеси. Человек повернул голову. Глаз был влажным, казалось, что он плакал. Вскоре из глаза жидкость потекла сильнее, щека раздулась. Человек кричал, дёргая ногами. Кловус наблюдал, стараясь ничего не упустить. Тело человека растекалось. Жидкость сочилась из потрескавшейся кожи. Один глаз выпал и покатился к ногам Кловуса, зубы отслоились и упали прямо в глотку, отчего человек на секунду закашлялся, и схватился за горло. Затем крик становился всё тише, а жидкости на полу всё больше. Через несколько минут на полу остались только залитые слизью шланги, и булькающий моторчик.

– *Слияние прошло успешно на 97%,* – раздался голос компьютера.

В этот раз Кловус ничего не убирал. Он зашагал по помещению, глядя на остатки объекта, держась за голову. С каждым днём голова болела всё сильней. Он слышал какие-то странные голоса, хоть в подземном комплексе никого не было, он был уверен. Только Сара, но она была лишь компьютерной программой. Он медленно шёл вдоль ярко освещённых, но пустых коридоров в свою комнату, пытаясь понять причину головной боли.

– Так вот в чём ошибка, – сказал Кловус, нагнувшись над бумагой, – я думаю, в этом всё дело. Теперь я понял.

Он зашагал по комнате.

– Слишком тонкая кожа, покрывающая тело и к тому же состав недостаточно прочный. Эти два фактора дали подобный эффект.

Он поднял голову.

– Ты, глупая железка, не могла сказать, где ошибка?

Тишина.

– Сара.

– *Слушаю,* – донёсся женский голос.

– Сара, состав неверный. И толщина кожи тоже. Стенки слишком тонкие, и потому, когда мотор начинал гонять по телу жидкость, кожа не выдерживала нагрева, трескалась и ткани разрывались.

– *Это маловероятно*, – ответила Сара, – *вероятность этого семь процентов. Искусственная кожа довольно прочна.*

– Но толщина слишком мала.

– *Количество вещества вычислено точно. Ошибки быть не может.*

– Может, Сара, может. Ты неверно распределила толщину покрытия. У тебя получилось, что внутренности более прочны, чем наружный слой. Это неправильно.

Кловус вытер лоб, и продолжил ходить по помещению, иногда поглядывая в сторону металлического стола, который недавно очищал от остатков человека. Нужно было делать вычисления заново. Но не сегодня. Теперь он знал, в чём причина и мог её устранить. Завтра он начнёт всё сначала.

Кловус наблюдал через стекло, как человек поднялся на локте, оглядел руку, затем присел, спрыгнул на пол, придерживаясь за стол, сделал несколько шагов. У него всё получалось довольно просто. Это был настоящий человек. Пришло время с ним познакомиться. Кловус переживал. Всё ли получилось верно? Не будет ли сбоев в организме? Нормально ли работают все жизненные процессы?

Кловус спешил. На секунду он заколебался, остановившись перед дверью, нажал кнопку, дверь отъехала в сторону. Человек стоял перед зеркалом и рассматривал себя, трогая рукой лицо. Когда Кловус вошёл, человек обернулся и отступил. Во взгляде застыл ужас. Кловус сперва не понял, что произошло. Он подходил ближе, но Человек отступал. И страх на его лице принимал всё более ярко выраженную форму.

– Успокойтесь, – сказал Кловус, приподняв руки, – всё нормально. Вы искусственный человек, но такое происходило последние сотни лет. Это нормальное явление. Сейчас вы первый человек, после долгого перерыва. Вы понимаете, что я говорю?

Человек молча кивнул.

– Вот и хорошо. В таком случае, я объясню, для чего создал вас. Вирус уничтожил человечество, людей осталось очень мало. Мы находимся глубоко под землёй. Тут меньше радиация и довольно безопасно. Я мало что помню из прошлой жизни. Обрывки воспоминаний о том, как я попал сюда. Я спускался на лифте. Темнота, затем свет. Частые головные боли. Я очнулся в одном из помещений. Все остальные убиты. Я не знаю, что тут произошло. Со мной только Сара, компьютерная программа, но она глупа как пробка, с ней невозможно разговаривать, и я вообще не знаю, что это за программа, ошибающаяся чаще, чем я. Наверно, я просто хорошо считаю и неплохо всё знаю. Иначе как объяснить моё нахождение тут, где осталась последняя надежда человечества?

– Люди вымерли? – спросил Человек.

– Да. Это происходило постепенно. И теперь данная машина, – Кловус указал рукой на стол посреди помещения, – единственный способ создать людей. Возможно, нужно было создать женщину, и даже две. И тогда, мы могли бы создавать людей естественным, так сказать, способом. Ведь кроме меня тут никого не осталось.

– Мы? – спросил Человек.

– Да, мы. Кстати, меня зовут Кловус. А тебя я буду называть Сэм. Что скажешь?

Человек удивлённо смотрел на Кловуса, затем указал рукой на зеркало. Кловус оглянулся и отшатнулся, не поверив глазам. Затем он посмотрел на свои руки, на тело, на ноги, снова в зеркало. Оттуда на него глядела машина, очень напоминавшая человека машина, с руками и ногами, покрытыми тонкими прослойками кожи, под которыми виднелись стальные пластины и многочисленные провода. Кловус ощупал рукой лицо, затем посмотрел на Человека.

– Выходит, что я робот?

Человек не ответил.

– Нет, не может быть. Я, наверно, человек, такой же, как ты, но созданный из другого материала, – Кловус начал ходить по помещению, размышляя, стараясь избегать смотреть в зеркало, – раньше это работало не так совершенно. Раньше было всё иначе. Правильно?

– Возможно, что и я не человек, – сказал Сэм, задумавшись, – я такой же робот, как и ты.

– Нет, не может этого быть,– сказал Кловус, – не может быть. Я и ты, мы люди.

Кловус остановился, выбежал из помещения, побежал вдоль коридоров. Он пропускал многочисленные двери, некоторые были заперты, некоторые открыты. В конце коридора дверь на поверхность. Это был стальной люк, заваренный по контуру намертво. Кловус попытался открыть эту дверь, но бесполезно.

– Это дверь на поверхность? – спросил подошедший Сэм.

– Да, это дверь на поверхность, глупое существо. Неужели ты не умеешь читать? Тут ведь написано ВЫХОД. Твоя свежеиспечённая пластиковая башка не способна понять прочитанное?

Сэм немного отступил, удивившись внезапному гневу. Кловус подходил ближе, размахивая руками.

– Или ты оказался бракованным, как и многие другие? И я один единственный нормальный человек? Почему остальные погибли? Наверно, они были слабее полудохлой курицы.

Кловус подскочил и схватил Сэма за горло, сильно надавив. Затем послышался хруст, несколько вздрагиваний, Сэм упал на бетонный пол. Несколько секунд по коридорам разнеслось гулкое эхо падения, затем наступила тишина. Кловус смотрел на мёртвое тело, на свои руки, затем оттащил Сэма в ближайшую открытую дверь. Тут были следы крови, перевёрнутая мебель, разбитое на мелкие осколки зеркало. Кловус огляделся, облизал губы и пошёл вдоль пустых коридоров. В некоторых помещениях виднелись лежащие тела, были следы крови. Некоторые тела напоминали роботов. Внезапно Кловус ощутил сильную головную боль. Он мог поклясться, что слышит женский тонкий голосок:

– *Карта памяти заполнена, карта памяти заполнена. Производится очистка событий последней недели.*

Кловус упал на колени и держался за голову, затем потерял сознание и пролежал несколько часов.

Когда он очнулся, голова почти не болела. Он встал, огляделся, протёр лоб, отряхнулся. Он припомнил, что вирус охватил планету чёрными руками и давит людей, как насекомых. Это вынудило уйти под землю.

– Возможно, я последний человек на планете, – тихо сказал Кловус, оглядываясь, прислушиваясь, – но это ненадолго.

Кловус, волоча ноги, поплёлся к аппарату, планируя создать Человека.

СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ

ФАУСТ – СКУКА – МЕФИСТОФЕЛЬ

СЦЕНА I

Ночь. Старинная комната с высокими готическими сводами.

Дух Менделеева и верная жена
алхимика, сидящие над схемой.
Вот пентаграмма, что окроплена
куриной кровью. Вечная дилемма
и шар магический: где кроется душа?
какой её вынашивает орган?
Колоду карт разложим не спеша
над телом, что доставлено из морга.
Ладони потные и хладный лоск чела.
Заварим кофе и раскурим трубку.
Готические, в общем-то, дела
на службе атлетических обрубков
в мундирах чёрных: Мефистофель-ростовщик
и Вагнер – ученик нерасторопный.
Но к микроскопу вдумчиво приник
профессор анатомии подробной.
Над ним горят комета и звезда
всех чернокнижников и каббалистов.
Глухая ночь, но именно тогда
арийский дух особенно неистов!

Ну как её на свет произвести?!
Щипцами? Циркулем? Разрозненное тело.
Но если сосчитать до десяти,
то выйдет, что сначала было *дело*.
Они смешают синий зверобой,
желчь с уксусом и корень мандрагоры.
Отсюда не расслышать нам с тобой,
о чём ведутся эти разговоры
вполголоса, практически в нигде.
Но слишком поздно или очень рано
поёт петух. И Шуберт на воде.
И хор смычков святого Себастьяна
взмывается. Последний элемент
опять не найден. Глупая растрата
червонцев серных, времени. Момент
прозренья. Истина. Расплата.

СЦЕНА II

В философии Канта диалектикой называется логика видимости, которая не приводит к истине.
Википедия. Свободная энциклопедия
Свобода – синоним субъективности, а последняя в один прекрасный день становится невыносима себе самой <…> Свобода всегда склонна к диалектическому переходу в свою противоположность.
Адриан Леверкюн (Т. Манн. «Доктор Фаустус»)

Каким-то невозможным светом
был полностью охвачен дом.
Он мог бы сделаться поэтом,
весьма недурственным притом –
но не случилось. Смутная вина,
слиянье мистики с рассудком.
Его оставила и Муза, и жена
на третьи сутки…

Он расширяет сферу наблюдений,
возводит дамбу, победив чуму;
отслеживает солнечных затмений
периодичность, смотрит на Луну
в прибор оптический; таблицу элементов
почти приводит в завершённый вид
и наголову оппонентов
из Кёнигсберга в диспуте громит.

О, эта чуткость ангельских догадок!
Но скука не проходит – и цветёт
алхимия. Патологоанатом,
вскрывая тело, душу обретёт
свою навряд ли. Философский камень,
Святой Грааль, что истина сама –
как не всесильный дух познаний,
сводящий медленно с ума?!

Свобода непосредственности детской
невыносима для себя самой, –
о чём ещё поговорим с тобой,
дух диалектики немецкой,
дух отрицанья, дух сомненья?
Магический квадрат двенадцати тонов.
Астрономическая правильность строенья
новейшей композиции и слов.
Давай заполним музыкой полмира!
Рабов, как сказано, освобождает труд.
И вот они под звук клавира
в Освенцим праздничный бредут.

СЦЕНА III

Синий зверобой (Иссоп, Скучник, Campanula glomerata, приточник) широко известен в народной медицине. Из него делают целебные отвары и настои, которые используются при разнообразных заболеваниях, в том числе затяжных депрессиях. Чтобы получить максимальный эффект от лекарственной травы, зверобой необходимо собирать в новолуние.
Новейший справочник лекарственных трав

Дух Фауста над родиной вставал:
кокарда – череп ветхого Адама.
Славянский тоже осенит овал
сияющая пентаграмма.

Опять горят предчувствием беды
моей руки натянутые вены.
Мы доживём, пожалуй, до среды,
но если смерть практически мгновенна,
то будет жечь невыносимо боль
воспоминания о жизни вечной.
Остановись, мгновенье: ты не столь
неповторимо, сколь бесчеловечно!
Жестокий дух к бесчувственным губам
подносит зеркало познанья и науки.
Материя трещит по швам,
но в ужасе сама даётся в руки,
когда разводят синий зверобой,
замешивают яд на детских слёзах.
Куда как страшно будет нам с тобой!
И лёгким тесно, и отравлен воздух
под небом синим, выпитым до дна,
которое исчезнет через сутки.
И только жизнь – она совсем одна
в коротком этом промежутке.

СЦЕНА IV

Всё есть яд, и ничто не лишено ядовитости.
Из трактата Парацельса

Вливали в душу хладный яд.
Пушкин. «Демон»

Опять весна, опять грядёт весна.
Вот почки, листья. Вот её аорта.
И сердце трепетное бьётся на
ладони. И стеклянная реторта
Гомункулу уже тесна,
о чём молчат трактаты Парацельса.
Природа слов тепла не лишена,
но в будущее медленно прицелься
и выстрели – и ты услышишь крик
немой, как на картинах Мунка.
Самой природы вечный меньшевик,
я вторю эхом бережным кому-то.

Была на жизнь надежда и вообще
на небо синее – всё сразу!
Но входит канцлер в кожаном плаще
и начатую обрывает фразу.
Неумолимые работники твои,
неистовые люди в белом
уже склоняются над беззащитным телом –
познания во имя и любви.

СЦЕНА V

Когда я скажу мгновению: Но продлись, продлись же, ты так прекрасно! – тогда ты можешь наложить на меня оковы, тогда я охотно пойду в бездну! И пусть тогда пробьёт колокол мёртвых, тогда ты свободен от своей службы, часы пусть остановятся, стрелка опадёт, и да закончится для меня время!

Из текста одного договора

Ум ищет божества, а сердце не находит.
И скука, состояние ума
немецкого, на улицу выходит –
и целый мир становится тюрьма.
В последний день спокойного столетья
рожденье контрапункта и огня –
ему в глаза не в силах посмотреть я.
Смычком своим прицелился в меня
шпиль лютеранства. Пиво, партитура,
последний темперирован клавир.
Под пальцами шипит клавиатура
органная – и наступает мир
в дымящейся стеклянной полусфере,
в готическом его календаре.
Последний день: немыслимые звери
и слепота на утренней заре.
Мятежный дух нордического склада
последний раз выводит письмена
под стенами степного Сталинграда
для фройляйн Гретхен, съехавшей с ума.

Довольно! Остановимся на этом!
Твоя душа соскальзывает в ад.
Ты – славный малый, доктор и солдат,
не ставший никогда поэтом!

СЦЕНА VI

Зала в замке.
Входят Гамлет и Горацио.

Гамлет
Об этом хватит; перейдём к другому;
Ты помнишь ли, как это было всё?
Горацио
Принц, как не помнить!

Шекспир. «Гамлет»

Ещё не пал Константинополь, но уже
земля приобретала форму шара.
Он не писал трактатов о душе,
поскольку до вселенского пожара
осталось пять каких-нибудь веков.
И будущего карта так подробна,
что чувствует всей кожей проф.
бессмертья поцелуй загробный.
Прозрачный глобус, реки и моря.
Столь непривычен к полному покою,
он видит, как встаёт последняя заря —
и подпирает голову рукою.

Вся жизнь его, Горацио, мой друг,
прошла за смешиваньем ядов и весами –
а мы ещё на всё вокруг
глядим влюблёнными глазами,
многозначительно толкуем о судьбе,
поскольку что-то там из Чехова и Брехта
прочли – но в Себастьяна на столбе
уже нацелен арбалет ландскнехта.
И если шар магический не врёт,
средь коммунальных распрей роз и лилий
он различает бреющий полёт
не ангелов, а яростных валькирий
и гад наземных лязгающий ход
в полях бескрайних где-то на Востоке.
И если там с морозом повезёт,
то мы сыграем с Хендриксом в Вудстоке.

СЦЕНА VII

– Об этом думают двояко.
Пушкин. «Наброски к замыслу о Фаусте»

Я слышал, в Дании недавно был заколот
твой друг, Горацио. Скорбим.
Что ж, русский Бог склоняется над ним.
У нас стоит какой-то дикий холод.
Что в Веймаре? Ужели наш старик
стал до того неосторожен,
что посчитал, что в истину проник?
Я полагаю, квантовый возможен,
конечно, сдвиг – но дерзкому уму
он перебор устроил приключений.
По-моему, неплохо про тюрьму
и Гретхен вышло. Все без исключений
из первой части. Сам я написал
одну из сцен – Йога*н*у впредь наука!
Я б в альманах тебе её прислал,
но, знаешь: Фауст, Мефистофель – скука!
Конечно, он – повеса из повес,
почти Гуан, а ведьмы – баловницы!
Но можно ли души удельный вес
искать в периодической таблице?
Мой вялый стих, сам понимаешь, с рук
нейдёт – но жду, что Муза поумнеет.
Суха теория, мой разлюбезный друг,
но дуб у Лукоморья зеленеет.
Авось простишь брюзжание моё.
Прощай, душа! И рассуждай de facto.
Да про своё пиши житьё-бытьё!
Post scriptum: настораживают как-то
то чёрный «Мерседес» среди двора,
то чёрная какая-то собака.
Пожалуй, «Фауста» из Веймара
закроем – в переводе Пастернака.

ТАТЬЯНА АКСЁНОВА

НА ОЗЕРЕ МОЁМ, НА БЕРЕГУ…

О ПОИСКАХ СЛОВ

Отсюда открываются врата,
Когда заходит солнца шар пурпурный…
Но даже если встанешь на котурны,
Чтоб жадным зреньем в небеса врастать,

Увидишь – эта лестница крута,
Перила за воротами фигурны,
Кудахтанье напоминает кур, но:
Расправишь крылья и – куда? Куда?..

А звёзды будто бьются в невода!
Но альбатросьих крыльев гнёт скульптурный,
Которых не касается вода,

Вернёт, чтоб ты опять копался в урнах.
В реке коварно дразнится звезда
Чешуек отражением сумбурным…

НИКОЛАЮ ГУМИЛЁВУ

Все ангелы: и Эдгар Аллан По,
И Гауф, и Рэмбо, и даже Киплинг
Столпились за спиной его слепой
И «капитанских» шуток солью сыплют:

«Ну, что нам смерть? Ведь это же – игра!
Ты встанешь, нерастрелянный, с утра,
На шею намотаешь серый шарфик,
И призрачные лопасти винта
Твой бриг под знаком Южного Креста
Умчат к священным пальмам знойных Африк!..»

Но тут влезаю я в их разговор
И в бредни романтических скитальцев:
«Я привела к тебе, – смотрю в упор, –
Бенгальцев, гватемальцев и непальцев…

Рождён для дикой щели и плюща?
Не кутайся в расщелины плаща,
Пора бы из России выдвигаться –
Есть в „Петроградской правде“ весь расклад,
Ведь снова с бунтом поспешил Кронштадт,
Особенно к началу навигаций…

Послушай же! Я спереди стою,
Как факел, душу гордую твою,
Писатель, путешественник и воин,
Ношу в себе и знаю наперёд,
Что девяносто лет ещё пройдёт,
Пока призн*а*ют, что ты невиновен!

Давай-ка, в Лондон! Смерть, она красна,
Но только не в Бернгардовке, за лесом…
И сын несчастным будет, и жена –
Не твоего размаха поэтесса…

Езжай, дерзай, судьбу свою нагни,
Смени мечты манящие огни
На искры новогодних и бенгальских…
И мёртвый штиль, и грозный шторм оставь,
Пока страну не запер ледостав,
Ты жизнью насладись, хоть мало-мальски!

Лихой братвы пиратской больше нет,
И не спасает чёрный амулет
От пули оголтелого чекиста…
Твои богини встанут за тобой
Иль вовлекут военною трубой
В водоворот Отечества нечистый?..»

ЦИТАТА

И нет моей завидней доли –
В снегах забвенья догореть…
А. Блок «Не надо»
(из цикла «Снежная маска»)

Нет Снежной Маски! Круговертью,
Предвосхищающей испуг,
Свой покер карточный со смертью
Азартно мечет Петербург.

Куда, куда она сокрылась,
Горгоньи спрятавши глаза?
Её отринул шестикрылый,
Чтоб взглядом Землю пронизать?

А что поэт? Он, в «струях тёмных»
Ища родник воды живой,
Лишь полынью в Неве запомнит,
Замёрзшую над головой…

А хлопья падают за ворот,
И небо звёздами зажглось,
И снежный, сумеречный ворон
Пронзает зарево насквозь!

Сугробы, вставшие конвоем
У разведённого моста,
И это пенье горловое –
Всё в страсти дикой неспроста…

Она взвивается как пудра
Над чёрным бархатом В.Щ. –
И морок ночи меркнет утром,
И исчезает вообще…

А, может, Волохова? Дельмас?
У Маски множество имён…
Горгоньим взглядом в сердце целясь,
Они меняются, как сон.

Поэт игрою недоволен –
Кого под Маскою ни встреть.
Но нет его завидней доли –
В снегах забвенья догореть!

ЦИТАТА 2

И живая ласточка упала
На горячие снега.
О. Мандельштам «Чуть мерцает призрачная сцена…»

Чтоб ни крышки не было, ни гроба,
От сугробов чтоб густела мгла –
Солнце мы похоронили оба,
Без него ты в Осло не смогла…

Петербург с Норвегией синеют
На одной широкой широте.
Ты не Эвридика – Дульсинея,
Дон-Кихоты что-то всё – не те…

Я – Орфей, а, может быть, Овидий –
Завсегдатай пышно взбитых лож…
Без меня ты солнца не увидишь,
Без меня вдали не проживёшь,

Милый Лютик! В бархате страницы
Ты хранишь свой прежний аромат…
Воет вьюга страшной, зимней птицей.
Я бреду вслепую, наугад.

«Мне не надо пропуска ночного»,
Чтобы заглянуть в прошедший век,
Итальянку ту услышать снова,
Что упала ласточкой на снег…

Может быть, она не виновата,
Что у нас «норвежская» зима.
Как чахотка губит травиату,
Так сгорает Бозио сама…

У притина солнце греет мало,
Сколь ему зима не дорога,
«И живая ласточка упала
На горячие снега».

ПРАВДА

Простота хуже воровства…

Простые люди не простят богинь:
Иди в народ ли, всё отдай и сгинь –
Им будет мало жертвы, сказки, чуда…
Нас «уподозрють» в колдовстве и тут,
Проклятым словом «ведьма» назовут
Невесту, что взялась «невесть откуда»…

Побьют камнями, кем для них ни стань…
Но не удастся избежать креста
Ни тёмным, ни глухим, ни их потомкам!
Нам не простят инаковость, увы…
Богини не склоняют головы,
В любви сияя – в солнечных потоках!..

Они горды, щедры и хороши
Красой лица, пригожестью души,
И благодарностью, и чудотворством!
И нет притворства, есть земной итог,
Когда в любом из нас сияет Бог,
То это и божественно, и просто!..

В ПРЕДДВЕРИИ…

Божественный свет на землю лучом струится:
Игрушечный мир вертепа – сюжет интимный.
С лица красоты не пить, но сладка водица!
Улыбка во взгляде скажет – куда идти нам…

Игрушечный мир вертепа – сюжет интимный.
Сошествие Бога в сердце зовут любовью.
Улыбка во взгляде скажет – куда идти нам,
Двоим направленье высветится любое!

Сошествие Бога в сердце зовут любовью.
А ты на иконы смотришь, мечты лелея…
Двоим направленье высветится любое!
Снежинки цветут в ладонях под стать лилеям…

А ты на иконы смотришь, мечты лелея.
Гордыни горька пустыня в душе монаха!
Снежинки цветут в ладонях под стать лилеям,
Они, как вторжение Рождества, не сахар…

Гордыни горька пустыня в душе монаха.
Фальшивого Бога создали сами люди.
Реальный вертеп на земле с Рождеством – не сахар.
Тому, кто любви не ищет – её не будет.

Фальшивого Бога создали сами люди.
Творец настоящий дарует всем начало.
Тому, кто любви не ищет – её не будет.
А я твою душу давно уже повстречала!

Творец настоящий дарует всем начало,
И пахнет в пещере потом и хлевом – возле…
А я твою душу давно уже повстречала,
Когда для любви сошлись мы на небе звёздном!

Хоть пахнет в пещере потом и хлевом – возле,
Но ярче икон сияют живые лица!
Когда для любви сойдутся на небе звёзды –
Сойдёмся мы на земле, будет Свет струиться…

МОЯ МЕЧТА, МОЙ РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Меня позвали в Рио-де-Жанейро,
Но Рио-де-Жанейро – не Женева…
Курить бамбук и прятаться от пуль?
Без разницы – январь или июль,
Гуанабара и Копакабана…
На карнавалах звуки барабана,
Атлантика и статуя Христа,
Что по утрам способна воскресать,
Как снежный ком на Рождество в России,
Как в сердце – Вифлеемская звезда:
Лучи расправит, словно жизнь, проста,
В которой мы бразилий не просили…

А, может быть, Бразилию просили?
Мечты, остапобендеровски, в силе,
Как солнце – в соснах?.. Посмотри на ствол:
Внутри деревьев тоже – Рождество,
Которое на Пасху расцветает…
А в Рио – лето с вечными цветами!
Ну, что тебе, Январская Река,
Бурлящая, как предрассветный МКАД?
У нас хватает смеси колоритов:
Бетонных джунглей толчея и гам,
Но можно всё сложить к Москвы ногам
За пасодобль тридцатых, Рио-Риту…

Ах, танец предвоенный, Рио-Рита!
Панама – родина, но ты навеки слита
С моею романтической Москвой:
Крест-накрест – окна, мессершмидтов – вой,
А в разбомблённой комнате – пластинка
Всё крутится!.. Да, я – не аргентинка,
Не португалка, не гуарани.
Ко мне навстречу руки протяни
Незримо: те же струны, те же нервы,
Моя мечта, мой Рио-де-Жанейро!

Моя мечта, мой Рио-де-Жанейро!
И наплевать, что Рио – не Женева.
Шуршат метёлкой травы на снегу,
На озере моём, на берегу,
И звуки Бранденбургского концерта,
Что – номер пять, переполняют сердце!
Торжествен Бах, невероятен Бог,
Встречающий меня у всех дорог,
Сияющий сквозь тучи ежедневно…
Мой смелый дух сродни гуарани.
Но ты меня, смотри, не урони,
Моя мечта, мой Рио-де-Жанейро!

ТАМИЛА СИНЕЕВА

РАСХЛЯБАННЫЙ ЯНВАРЬ, КАК БЕЛЫЙ СКАТ

РАЗ ОВЕЧКА, ДВА ОВЕЧКА…

Раз овечка, два овечка, три – огромная овца.
В доме тихо, ни словечка. Ночь касается лица.
Подтыкает одеяло, гонит серого волчка,
А потом из тьмы устало смотрит глазом ночника.

Мерно тикает часами, машет веткой за окном.
Лёгким облаком касаний заполняет спящий дом.
Искривляется пространство, время будто мчится вспять.
Сны – как взятки в преферансе, хорошо бы прикуп знать!

Знать, что ночь играет честно с подсознанием моим.
Я ребёнок. Я невеста. Не с любимым, а с другим.
Снится старый дом с крылечком, и родители, и сад.
Три кудрявые овечки бродят, что-то говорят.

Ходит пиковая дама к нам на чай и на десерт
В чёрной шёлковой пижаме. Вроде карта, вроде – нет.
Иногда приснится имя. Я его произношу
Тихо, шёпотом, интимно. Им живу, люблю, дышу.

А потом опять овечки топчут память и кровать.
Утро доброе лепечет: время глазки открывать!
Будто пёрышком, по векам гладит с негой в унисон.
Будь же, утро, человеком: пусть доснится этот сон!

ЕСТЬ УЛИЦА…

Есть улица с названием другим.
То, прежнее, осталось так далёко –
Там, где с подружкой Таней мы сидим
На ветках ив, раскидистых, высоких.

Нам по двенадцать, никаких забот,
Но есть простые девичьи секреты.
Их слушает соседский рыжий кот
И жаркое, но ласковое, лето.

Там есть зима. Сугробы по плечо.
И в школу не ходить при минус двадцать.
Играть в снежки, чудачить и ещё
Сбивать сосульки, и в снегу валяться…

Весной хотелось нам обнять весь мир
И расцветать, как флоксы и тюльпаны.
А осенью – ловить прощальный миг
И листьями шуршать. Ты помнишь, Таня?

Нас разделяют годы, города.
Объединяют – интернет и детство.
Я очень редко прихожу туда,
Где жили мы с подругой по соседству.

Вот улица. Дома, дворы, сады.
Чужие – люди, окна, атмосфера.
Закатаны в асфальт мои следы
Ботиночек тридцатого размера…

ХЛАМ

Суббота. Я перебираю хлам,
Что прячется по полкам и углам,
Припорошённый временем и пылью.
Вот старый, бабушкин ещё, светильник –
При нём мы с ней читали про зверей,
Про колдунов и трёх богатырей…
А вот собака рыжая из плюша –
Оторван хвостик и потёрты уши –
Мы спали с ней в обнимку по ночам
Всё детство. А сейчас собака – хлам.
Учебники, тетради – всё на выброс!
И прошлое туда же! Чтоб не снилось.
Чтоб не щемило слово «никогда»
И чтоб не слышать, даже иногда,
Как голосит из мусорного бака
Игрушечная рыжая собака.

ВЗРОСЛАЯ ДЕВОЧКА

Взрослая девочка,
Куклы твои мертвы.
У них даже нет могил
На кладбище времени.
Шары улетели в небо –
Последний вчера ещё взмыл.
Он был голубым, конечно.
На то и последний.

Жизнь, словно мысль, мелькнула.
Осталась трава.
В ней одуванчики солнцеголовые
Тянутся вверх.
Ты понимаешь,
Что где-то была не права.
Молча и честно
Просишь прощенья у всех.

Но не исправить ошибок,
Снова сломалось перо.
Долго сидишь за столом,
Рукой подпирая голову.

То, что написано, как ни старайся –
Не вырубить топором.
Как ни усердствуй, не вымолить
Воскрешения мёртвому.

Взрослая девочка,
Пальцы твои всё помнят.
Шьёшь новых кукол из ткани
И наряжаешь, как раньше.
У самой любимой –
В синем платье шифоновом –
На бледной щеке слеза.
Не вышитая – настоящая.

ЧЕРТА

Со мною вот что происходит:
Совсем не та ко мне приходит,
Мне руки на плечи кладёт
И у другой меня крадёт.
Е. Евтушенко

Я прихожу. Я знаю, что не та.
И между нами где-то есть черта,
Которую никак не перейти.
И песня есть, звучит её мотив,
Как приговор, как вихрь огня в аду.
Тебе на плечи руки я кладу,
Краду всего тебя у той, другой.
В отместку. Ты догадлив, дорогой.

Нас освещает тусклый шарик бра.
На ужин – антрекот и фуа-гра,
Вино и фрукты – всё, как любишь ты,
Изысканно, без ложной суеты.
И мы ещё в любовях прежних, тех,
Как будто в тишине библиотек,
Молчим, пока в твоей моя рука
Вдруг не окажется, а с языка
Сорвётся слово, что невмоготу…
И ночь сотрёт проклятую черту.

Я К ТЕБЕ ПРИБЛИЖАЮСЬ

Я к тебе приближаюсь,
Твои очертания смутны.
Я способна улыбку уже различить,
Даже плащ на руке.
Вижу свитер под горло
Цвета заношенных будней,
И наклон головы чуть заметный,
И шрам небольшой на виске.

Над тобой наше небо,
В которое мы запускали
Пёстрых змеев,
Надутые воздухом тёплым шары –

И они ведь парят до сих пор,
В параллельном реале,
Для какой-то другой,
Не известной нам здесь, детворы.

Собираю в кулак снеги прошлые,
Чувства, запреты
И сжимаю до хруста,
До взрыва ничьей тишины.
Я стараюсь забыть наши дни
И в обнимку рассветы,
Но к тебе приближаюсь
Сквозь годы, сквозь реки и сны.

Это выше меня –
Приказать и ослушаться разом –
Будто выстрелить в птицу,
Потом сожалеть и не спать.
Бредить перьями, снегом,
Слагая нелепые фразы,
Никого не винить,
Наступая на грабли опять.

Я совсем уже близко,
Ты смотришь в упор, не мигая,
Будто хочешь задать
Очень важный и трудный вопрос.
Не молчи. Я пришла и сейчас обниму.
Прикасаюсь.
Только это… не ты.
Под рукою холодный шершавится холст.

НА БЕЛЬЕВОЙ ВЕРЁВКЕ

На бельевой веревке стылый день
До вечера, покачиваясь, сохнет.
Прищепки жмут, свирепствует мигрень,
Закапал дождь с небесной подворотни.

Ноябрь, тридцатое, канун зимы,
Но не отремонтированы сани.
Телега – в хлам, и мы обречены
Из ж… выкарабкиваться сами.

Из каждого, простите, утюга –
Прививочно-ковидные страшилки
Летят, как будто колкие снега,
Что укрывают свежие могилки.

А мы болеем, умираем, ждём
И верим каждой буковке надежды.
В наушниках, под солнцем и дождём,
Пытаемся забыться, но, как прежде,

Мы в паутине липкой соцсетей,
Не отрывая глаз от телефонов,
Порой, не слышим первых слов детей,
Не замечаем облетевших клёнов…

А завтра обещает быть декабрь.
Вчера он помахал мне первым снегом.
С верёвки бельевой в ночную хмарь
Я ноября снимаю день последний.

ПРИДЁТ ФЕВРАЛЬ

Чернила днём с огнём
Не отыскать,
Заплакать просто так,
Зло, до истерик.
Расхлябанный январь,
Как белый скат,
Распластан, мокр,
Беспомощен, растерян.
Я вместе с ним
Белугою реву.
В разводах день
Сквозь мутное оконце,
Легонько раздвигая синеву,
Едва-едва нащупывает солнце,
И затихает мой надрывный плач,
И каждый всхлип –
Всё тише, тише, тише.
А полосы удач и неудач
Стремятся прочь,
Вслед за летящей крышей,
К весне – сквозь сон
И слякотный февраль
Со снежной кашей,
Чередой проталин,
Где что ни куст,
То спрятанный рояль,
Где каждый атом – гиперсексуален.

И знаю я – никто не виноват
В том, что чернил
Ни капли не осталось.
Болезненно исчезнет белый скат,
Придёт февраль,
А вместе с ним – усталость.

ЕЛЕНА ВАДЮХИНА

ОГНЕННАЯ ВЕТВЬ
сказка

Памяти Анны С.,
просившей при жизни написать о ней сказку
для её спасения

– Дети, перестаньте драться, в вас течёт голубая кровь, а вы деретёсь, как простолюдины, – крикнула мать Аннете и её брату. Дети так и застыли на месте от удивления.

– Как это? – спросила Анна.

– А вот так: вы аристократы по крови, вы избранные, мои родители – знатные люди, их предки были героями и вождями. Ты, Адриан, должен стать благородным рыцарем, защищающим дам, и тем более младшую сестрёнку, а ты, Аннета, должна вырасти прекрасной хрупкой и нежной дамой.

– А батюшка наш тоже с голубой кровью? – спросил Адриан.

– Нет, у вашего отца нет титула, значит, в нём нет голубой крови. Но он благородный и бесстрашный рыцарь, и вы должны гордиться своим отцом.

Так дети узнали о своём знатном происхождении, но позже поняли, что, несмотря на знатность, они, к сожалению, не богаты. Мать была младшей в семье, ей не досталось в приданое земель, а у отца владения были недостаточными для поддержания обычаев благородной семьи. Родители едва сводили концы с концами, платя бесконечные подати сюзерену. Но они всё равно ухитрялись посещать балы, а отец – участвовать в турнирах. На одном из турниров он и погиб в злосчастном поединке. Мать не умела вести хозяйство, приходящее во всё больший и больший упадок. Бедная вдова видела только один способ поправить дела: она ездила по чародеям и знахарям, надеясь на чудо.

А дети были предоставлены самим себе. Аннета и Адриан лазили по горам и спускались в пещеры, дружили с гномами и однажды попали на танцы к эльфам. Детям нравилась такая жизнь, но порой им хотелось хотя бы чуточку больше любви и внимания от родителей. Брат, правда, успел выучиться у отца владеть оружием, сражаться и держать своё рыцарское слово. Возмужав, он служил оруженосцем у своего сюзерена и умудрился не получить ни одного серьёзного ранения. Но вид крови и жестокость битвы отвратили его от военного дела. Он увлёкся чернокнижием, магическими опытами и алхимией, надеясь обогатиться и покончить с проклятой бедностью, угнетавшей его семью.

Сестра и вовсе не получила от матери необходимых для каждой девочки уроков. Матушка лишь гладила её по головке, обнадёживая очередным чудом, которое никогда не случалось. Нянюшка называла её принцессой и перешивала ей нарядные платья из материнских. Кузнец сделал для неё даже маленькую корону, в которой она действительно была чудо как хороша. Больше всего на свете Аннета любила слушать песни трубадуров, в которых смелые рыцари совершали подвиги ради прекрасных дам. А перед сном у неё был ритуал: лёжа под пологом кровати, она упрашивала нянюшку рассказывать сказки о троллях, ведьмах и прекрасных принцессах. Иногда были и серьёзные беседы: вечерами, сидя у камина, мать рассказывала детям удивительные истории о былом величии их рода. Но большую часть времени девочка гуляла по окрестностям, приносила подарки гномам и принимала от них хорошенькие украшения, правда, их приходилось прятать от родителей, о гномах рассказывать было нельзя. Для этих сокровищ она соорудила под камнем тайник на высоком холме с кривыми от ветра елями. Гулять одной в лесу было не так уж и безопасно, но нянюшка научила её детской молитве ангелу-хранителю. «Повторяй всегда эту молитву, – напутствовала нянюшка свою подопечную, – и не пропадёшь. Не связывайся с эльфами. Кто к ним попал, долго не возвращался, а когда возвращался, был уже не в своём уме». Однажды они увидели с братом лужайку, где танцевали эльфы. Было чудо как весело, каждая мелодия, что играли на флейтах и лютнях необычные музыканты, так и звала потанцевать, ноги сами пускались в пляс, но Аннета вовремя вспомнила слова молитвы, наверное, поэтому они и сумели убежать от эльфов. Домой брат и сестра пришли в темноте, нянюшка их ругала. Однако когда приехали родители, она им ничего

не сказала. Во второй раз Аннета встретилась с эльфом в сумерках в лесу и очень испугалась, потому что он был ни на кого не похож и, главное, появился так неожиданно, словно возник из воздуха. Эльф сказал ей тогда: «Не бойся, я тебя не похищу, хотя ты очень симпатичная девочка, эльфы любят играть с хорошенькими детьми, но я буду охранять тебя от других эльфов и от диких зверей. Будь осторожной, чтобы не упасть со скал. Никогда не зли зверей, не ломай напрасно ветки на деревьях, и тогда можешь не бояться леса. Страх – это только твоё воображение. Страх не спасает от беды, но крадёт радость. Запомни мои слова». Она запомнила совет и жила в радости и счастье и постепенно взрослела.

Однажды Анетта поднималась по первому выпавшему снегу на гору, чтобы полюбоваться сверху на белоснежную равнину, обрамлённую горами с елями под снежными шапками. От чистой, ещё нетронутой красоты снежных просторов девушка чувствовала такое волнение, что слезы выступали на глазах, но не от печали, а от радости. Она несла в корзинке тыквенные семечки для белок и птичек. Кормить их с рук было её любимым занятием зимой. Красное шерстяное платье, из которого она уже выросла, и короткая лисья шубка были видны издалека. Тогда-то её и приметил проезжающий мимо рыцарь на вороном коне. Он догнал юную странницу и предложил подвезти, но та категорически отказалась. Как ни прекрасны были рыцари в песнях трубадуров, всё же няня всегда просила её быть строгой с проезжающими мужчинами. Но рыцарь не отступил, он спешился и отправился с ней кормить белку и смотреть на снежную панораму, открывавшуюся с заветного места на горе. Что-то было необычное в этой девушке, она была трогательно беззащитной, хрупкой, как тростиночка, выглядывающая из снега, и одновременно отважной и озорной, как проказница-белка. Рыцарь, уставший от жестоких сражений и плотских утех, влюбился в это юное создание, скачущее, как лань по горным тропкам. Ей же он показался благородным кавалером из песен трубадуров, готовым совершать ради неё подвиги и любить её преданно и самозабвенно до гроба. Он и его небольшая свита, остановились в их доме, и на следующий день она ответила согласием на его предложение руки и сердца и решила на него положиться во всем и всегда. Всё случилось так, как она себе и представляла своё будущее: хрупкая девушка в объятиях мужественного благородного воина. Их обвенчали в её же приходе, Анна стояла перед алтарём в материнском платье двадцатилетней давности, думала о большой любви на всю оставшуюся жизнь, и о новой прекрасной жизни, когда не надо будет думать о долгах матери и неясном будущем. На следующий день молодая жена отправилась с мужем на север в его владения.

Её ждало глубокое разочарование. Супруги приехали в мрачный замок. Внутри замка царил такой неприятный запах, что Анетта, привыкшая к аромату еловых веток и цветов в своём чистом доме, чуть не задохнулась. Рыцарь оказался грубияном по отношению к слугам и совсем не таким романтичным по отношению к ней, как она думала. В доме ни одной родной души: ни брата, ни родителей, ни старой доброй нянечки, ни привычной прислуги. Не было в лесу любимых гномов, эльфов и даже белок она не видела, их давно перестреляли. Анна бродила по новым местам, они, несомненно, были красивые, но тяжесть лежала на сердце, и радость больше не охватывала её с такой всепобеждающей силой, как раньше. Рождение сына, как луч солнца озарило жизнь молодой женщины, снова в ней появилась радость, и природа стала близка, и здешний лес стал родным и любимым.

Шло время, начались сборы в дальний поход за освобождение дальних земель. Всюду ходили проповедники, убеждающие в праведности этого дела, обещающие отпущение грехов и несомненную победу. Муж собрался в поход. Поначалу она даже обрадовалась возможности пожить без него вместе с ребёнком. Шли годы, а воины из похода не возвращались. От них приходили разные вести, и было не ясно, кто из них жив, а кто нет. А здесь на родине начался настоящий кошмар. Многие рыцари, уклонившиеся от дальнего похода, воспользовались отсутствием землевладельцев и стали захватывать их земли. Дошла очередь и до земель Анны, отряд воинов ушёл вместе с мужем, в гарнизоне оставалось только четыре стражника – разве они могли защитить их обширные земли? Она отправила посланника к сюзерену, но он не вернулся обратно. Анна стояла у окна в высокой башне замка и с отчаянием наблюдала, как крепостные стены берут штурмом. Даже ядра не понадобились. Враги лезли со всех сторон на стены, защитники атаковали их стрелами, жители выливали на них горящую смолу, скидывали камни. Но они часто промахивались, а врагов было видимо-невидимо. Что ждёт хозяйку, если они не смогут защититься, и замок будет взят? В лучшем случае её заставят выйти замуж за победителя, возможно, при живом муже. А в худшем просто растерзают. Впервые страх проник в сердце женщины. Отчаяние и никакой даже маленькой надежды.

И тут она увидела, что к ним летит дракон, он выхватывал когтями и зубами с крепостных стен атакующих и бросал их наземь, вражеское войско в ужасе разбежалось. А дракон приземлился на краю площадки-выступа под её окном и заглянул в него. Анна от испуга отшатнулась. «Он тоже хочет меня растерзать», – подумала дрожащая от ужаса женщина, услышав его грозный рык и почувствовав резкий звериный запах.

– Выходи, моя повелительница, не бойся, я разогнал их всех.

Она молчала, прижавшись в стене, чтобы он её не видел.

– Я не сделаю тебе вреда, госпожа, потому что ты прекрасна. Но если ты не выйдешь, я улечу. И они вновь полезут на стену. Больше тебя никто не защитит.

– Что ты хочешь от меня? – раздался слабый дрожащий голос Анны.

– Только посмотреть на тебя, я не сделаю тебе больно, всё будет хорошо.

– Я не смогу опуститься на этот выступ.

– Иди на галерею стены, госпожа, я прилечу к тебе.

«Он, наверное, не хуже эльфов и гномов, он защитит меня», – думала Анна, спускаясь из башни. Поднявшись на галерею замка, она увидела, что двор опустел. Дракон навёл ужас не только на врагов, но и на жителей замка. Сердце Анны стучало от страха, отдаваясь звоном в ушах. «Страх – это только плод твоего воображения, – вспомнила она слова эльфа, – он не спасёт от опасности, опасности не будет. Пока дракон здесь, мы в безопасности». Так успокаивала себя Анна. Когда дракон приземлился рядом, женщина вздрогнула от ужаса, но собрала всё своё мужество и не подала виду.

– Я страшный, но не злой, я буду защищать тебя, я буду приносить тебе украшения. Хочешь?

Когда-то в детстве и юности гномы дарили Аннете колечки, цепочки, браслеты и кулончики, всё это осталось в тайнике в лесу. Она улыбнулась при этом воспоминании, а дракон подумал, что улыбка подарена ему. Он улёгся у её ног, как послушная собака, и даже издал какое-то урчание, подобно кошке. Анна осторожно попробовала погладить его по морщинистой коже. Тёплая. Дракон лизнул ей руку. «В конце концов, он более кроток, чем мой муж», – подумала Анна. Она присела на лавку, а дракон стал рассказывать ей свою историю, полную драматизма. Всю жизнь люди обижали его и наговаривали всякую напраслину. А он такой благородный. Анна слушала и жалела дракона. Гномы и эльфы были куда добрее людей, заботились о ней, может быть, и дракон добрее и лучше людей.

– А хочешь полетать на мне?

– Полетать? – Анна всегда завидовала птицам, видевшим землю выше, чем она с горы.

– Это опасно, – сказала она, втайне надеясь, что он убедит её в обратном.

– Не бойся. Даже если ты упадёшь, я подхвачу тебя. Садись.

Прочитав про себя заветную молитву, Анна залезла на это чудовище, стараясь думать о нём только хорошее, и крепко обхватила его ногами, чтобы не свалиться. «Как на коне», – подумала она, ощущая ногами биение драконьего сердца. Он привстал на лапы, расправил крылья и взлетел. Анна в ужасе припала всем телом к его спине и обняла дракона руками. Они летели, как казалось Анне, с большой скоростью. Сначала был только страх, но потом красота земли и чудо полёта принесли ей такое наслаждение, какое ещё не приходилось испытывать в жизни. Они кружили над землёй долго, все её заботы на миг улетели из головы, а настоящая жизнь, казалось, существует только в это мгновение. Освобождение и наслаждение! Вот оно счастье, неведомое прежде!

Когда она вернулась домой, жители замка встречали её не только с неким страхом, но и отвращением. Враги больше не наступали, но и свои стали относиться к ней с подозрением, видимо, в душе осуждали. Она стала совершать полёты по ночам, когда никто не видит. Но, конечно, они не были тайной для людей, и теперь ещё больше, чем прежде, люди считали её ведьмой. Однажды дракон унёс её далеко от замка, приземлился в незнакомой долине и завалился спать. Анне пришлось идти на рассвете в замок по мокрой росе и осыпающимся под ногами камням горной тропы, а после стучаться в ворота собственного замка. «А что, если меня не пустят обратно?» – с тревогой подумала она. На следующую ночь Анна не вышла к дракону, он рычал у неё под окнами два часа, не давая спать ни ей, ни сыну, ни всей её челяди. Ей пришлось уступить ему, взяв с него слово, что он доставит её в собственный замок вовремя. От таких полётов по ночам она устала, уже не испытывала ни наслаждения, ни радости, и в какой-то день поняла, что не хочет летать и не хочет видеть дракона. Но он опять рычал и требовал её выхода. Днём Анна отсыпалась после ночных полётов, сына воспитывать было некогда, она его только целовала вечером, когда тот отправлялся ко сну, а после слушала песни трубадуров, уносящие её в другую реальность, в мечту, привычную с детства. Она влюблялась то в одного, то в другого трубадура, втайне надеясь, что их песни способны разорвать путы, в которых она оказалась. На первой же исповеди после штурма замка священник осудил её за полёты на драконе, но она доказывала священнику, что от её полётов зависит, будет ли дракон защищать замок. Если она откажет дракону, враги захватят замок, погибнут люди и священника враги могут растерзать так же, как её. Но священник возразил: врагов больше нет. И пусть она попробует расстаться с драконом навсегда. Такое же наставление священник ей дал и на следующей исповеди, и если сначала он причащал её, не смея отказать госпоже и надеясь на её исправление, то потом за упорство обвинил в грехе и отказал в причастии. «Всё, – решила Анна, – врагов больше нет. Может быть, попробовать отказать дракону. Ведь учил же меня эльф никогда и никого не бояться, если никого не обижать». Она решилась и с твёрдостью, которую дракон никогда не видел в этой женщине, объявила дракону о прекращении полётов. Он рассвирепел, он всё крушил, что попадалось ему во дворе, разворотил крыши, раскидал лошадей и не успевших спрятаться людей. Анне снова пришлось согласиться, только безмерную тоску и раздражение испытывала она теперь от принудительных полётов.

– Зачем я тебе нужна? – спрашивала она дракона.

– Я не могу без тебя, – отвечал дракон. – Ты такая благородная дама, в тебе течёт голубая кровь.

Это была обычная лесть, она не верила в его любовь и не могла понять, почему он не отпускает её. Анна вздыхала от безысходности, ей некому было даже пожаловаться. Народ роптал, так как дракон то у одного, то у другого крестьянина пожирал скотину.

– Почему ты воруешь у моих крестьян? – спрашивала Анна.

– Я не ворую, я их защищаю вместо твоего мужа. Они должны меня кормить.

– Ты обещал меня опекать, приносить украшения, но вместо этого разоряешь.

– Ладно. Я принесу тебе корову.

– Да не надо мне ворованного у соседей! Разве ты не можешь охотиться где-нибудь в диких лесах?

– Твой муж истребил в здешних лесах всю крупную дичь. Прикажешь за зайцами гоняться?

Анне оставалось только печалиться и страдать. Никто не может защитить её ни от врагов, ни от этого чудовища. Теперь, приходя в храм, она ощущала не только недоброжелательность прихожан и осуждение священника, ей казалось, что и святые на иконах смотрят на неё с укором. «Я отверженная Богом», – думала Анна.

Анна совсем не занималась хозяйством, констебль не обогащал имение, а только разорял его, и прежде богатое имение мужа приходило в упадок. Чтобы как-то поправить дела, Анна продавала фамильные украшения, доставшиеся ей от мужа. На супруга она уже не надеялась. Дракон же из обещанных украшений подарил ей только один перстень с изумрудом. Он требовал, чтобы Анна постоянно носила его и, в конце концов, перстень стал ей ненавистен. Когда она надевала его, готовясь к встрече с драконом, палец воспалялся. А утром она с облегчением и ненавистью срывала перстень с пальца.

Шло время, ничего не менялось, только дракон всё чаще забывал доставлять её обратно. Так было и на этот раз: она оказалась в каком-то дремучем лесу в объятиях дракона, он цепко держал её своими лапами, лететь назад отказывался, ссылаясь на то, что у него нет больше сил, и дремал. Она ждала, когда он заснёт окончательно и расцепит крепкие когтистые лапы. «Где же его нора? – думала она, – он ни разу меня туда не приносил. Я ничего о нём не знаю. Только небылицы о том, как его обижали неблагодарные люди». Наконец он заснул, издавая жуткий храп. Анна отправилась в замок, ориентируясь по звёздам. За время полётов она научилась разбираться в звёздном небе. По дороге ей попался рыцарский дом. Она постучалась в ворота, и её пустили. Анна назвалась именем своей нянюшки, объяснив, что лошадь её сбросила и умчалась. В доме жила старая вдова, она уложила Анну спать, а на утро накормила. Анна решила расплатиться с ней за гостеприимство перстнем, подаренным драконом. В конце концов, он сам виноват тем, что забросил её так далеко и ей больше нечем расплатиться за ночлег. Взяв в руку подарок, старушка вздрогнула, на лице её отразился испуг.

– Откуда у вас этот перстень? – голос старушки дрожал от волнения.

– Мне подарили, – ответила Анна.

– Кто?

Анна смутилась и решила соврать:

– Мой муж.

– Это кольцо моей дочери. Много лет назад её похитил дракон, когда она пошла утром собирать луговые цветы. Она очень любила цветы, моя деточка, особенно колокольчики, дарила мне букеты. Она звала на помощь. Он унёс её за горизонт. Больше мы её не видели, и дракон тоже больше не появлялся, хотя мы слышали, что летает к хозяйке тёмного замка. Как кольцо попало к вашему мужу?

– Я не знаю и спросить не могу: он не вернулся из похода. Но я рада, что перстень вернулся к вам. Простите, мне нужно идти.

Анна шла домой весь день и всё время думала о пропавшей девушке: когда-нибудь и она станет такой же жертвой. Тревога, надвигающаяся опасность и отчаяние терзали её.

В этот день пришло известие от Адриана, он сообщал, что их мать умерла от бушевавшей эпидемии, и что он не писал так долго, зная, что она обязательно приедет и подвергнет себя смертельной опасности. Теперь эпидемия закончилась, и она может навестить могилы родителей.

Анна поплакала и собралась в поездку в родительский дом с маленьким сыном. И вот она снова в родном краю, где и солнце теплее, и сады богаче. Каждый камень, каждое дерево родные и дорогие её сердцу. Она пошла в свой любимый лес с корзиной, наполненной тыквенными семечками, и к ней, как и прежде, прибежали белки. Тайник был на месте. Она достала спрятанные украшения и долго рассматривала их, улыбаясь и вспоминая встречи с гномами. Теперь это богатство пригодилось: они с братом продадут украшения и обновят на вырученные деньги обветшавший дом. Анна сходила к гномам и рассказала им про свою горестную жизнь. «Если тебе надо спрятаться от дракона, ты можешь жить с нами», – предложили они. Но Анна не могла представить свою жизнь под землей без солнца, цветов и неба. Где эльф, что обещал защитить её? Его не видно в лесу. «Наверное, я что-то сделала не так, – думала Анна, бродя по лесу, – раз эльф не приходит ко мне в трудную минуту. Все, кроме гномов, отвернулись

от меня. Но надо же что-то делать…». Она поделилась с Адрианом своей бедой, брат единственный не осудил её, он провёл свои магические ритуалы, обнадёжив тем, что дракон больше не будет её беспокоить.

– Можно, я останусь здесь жить? – спросила она Адриана.

– Я буду только рад, хотя твоему сыну не нравятся, похоже, наши места.

– Да, он привык к роскоши, – согласилась Анна. – Впрочем, и у нас от роскоши почти ничего не осталось. Я не особенно умею ладить с сыном, он мне дерзит, впрочем, какой для него авторитет мать, спутавшаяся с драконом?

И тут она увидела в небе знакомую тень… Чудовище, словно рок, нашло её и здесь.

– Я прилетел за тобой, – крикнул дракон, приземлившись во дворе. В ужасе все слуги разбежались, а брат умолял её уехать. Она его понимала: зачем ему здесь чудовище? Дракон предложил донести её домой на себе.

– Слишком далеко, – заявила Анна, – я поеду в карете. Она отправилась с сыном в обратный путь. Ни брат, ни эльф ей не помогли. На кого же теперь надеяться? На сына? Нет – ни за что на свете она не позволила бы ему рисковать жизнью.

В дороге путники остановились в одном из замков. Анна влюбилась в проживавшего там вдовца. Он показался ей таким любезным и радушным. Вдовец был готов жениться на Анне, но разве дракон позволит? Она ничего не сказала ему о драконе, потому что боялась, что и этот человек её осудит, и что он может стать жертвой чудовища. На рассвете она с сыном покинула замок, не попрощавшись с хозяином.

Так всё вернулось в прежнее русло. Она не вырвалась на свободу. Дракон заметил отсутствие кольца и с гневом спросил Анну, почему она не надевает его. Анна призналась, что знает происхождение кольца.

– Что ты сделал с девушкой?

– Она была строптивой, не слушалась. Но оказалась очень вкусной.

Дракон громко засмеялся, сотрясаясь всем телом. Ему нравилось пугать Анну и видеть, как бледнеет её лицо. Но Анна не подала виду, что испугалась, наоборот, с гневом произнесла, перекрикивая его булькающий хохот:

– Боже мой, а я носила это кольцо! Какой я была глупой! Ты и меня съешь? Я уйду от тебя туда, где ты меня не найдёшь, под землю – к гномам, они готовы приютить меня.

– Неблагодарная! Я давно мог съесть тебя и всю твою челядь в придачу, а я тебя защищал. Если ты уйдёшь к мерзким гномам, то будешь под землёй добывать для них руду, а я унесу твоего сына высоко в горы и оставлю на самой неприступной скале. Посмотрим, как он спустится, – дракон при этих словах засмеялся с каким-то отвратительным визгом. – Дом твоего брата я разрушу, а его подниму в небо и брошу наземь, – при этом он схватил лавку и швырнул её с высоты к ногам Анны. Анна отскочила, а дракон опять загоготал.

– Он храбрый воин и будет с тобой сражаться. Неизвестно, кто победит.

– Что-то не видел я у него меча. Ну а сынок твой тоже не всегда при мече.

Это было концом всех надежд на избавление. Только в легендах и песнях рыцари освобождают дам от драконов, а в жизни она обречена быть с драконом до конца своих дней.

Утром она вошла в храм и молилась весь день, никогда ещё так она не каялась так искренне, слёзы отчаяния и надежды текли по щекам. И тогда явился ангел в лучах неземного света с сияющей веткой в руке. Анна почувствовала душевную лёгкость и тепло в своём истерзанном сердце, словно растаяла ледышка, ранившая её изнутри все долгие годы безрадостного отчаяния.

– Я могу тебе помочь победить дракона, – обратился к ней ангел, – я дам тебе эту огненную ветвь, поставь её в подсвечник. Пока она стоит в нём, она не будет гореть, но как только ты возьмёшь её в руку, она запылает. Направь её на дракона, он вспыхнет и исчезнет в один миг. И читай молитву святому духу. Ветвь будет жечь тебе руки, но не бойся. Руки останутся невредимыми. Надо только вытерпеть эту боль, и ты будешь спасена.

Он поставил ветвь в подсвечник, похожий на распускающийся цветок, она тут же погасла, и тогда ангел передал подсвечник Анне. Она поблагодарила, ангел исчез, оставив после себя разлитый в воздухе тонкий аромат, ни на что не похожий, и благодать, которую Анне трудно было описать словами, но которую она хорошо чувствовала и понимала сердцем. Годы безнадёжности сменились радостной верой в торжество добра. Анна, сжимая в руке бронзовый подсвечник с драгоценным даром, в волнении пошла домой.

Ночью подул холодный ветер. Анна обмоталась тёплой шалью, взяла подсвечник и поднялась на галерею, читая молитву святому духу. Жёсткий, грубый ветер налетал на женщину порывами, стараясь скинуть со стены и задуть пламя факелов на крепостных стенах. Он пронизывал её насквозь, по телу шла дрожь. Рука, держащая металлический подсвечник, от холода и напряжения ныла. Серые облака неслись по небу подобно разъярённым драконам. «Неужели не прилетит?» – думала Анна. Последние годы она провела в страхе, надеясь на помощь кого-то, кто не приходил. И долгожданная помощь пришла – небесная, а потому самая сильная. Но Анна только теперь поняла, что ей самой предстоит вступить в сражение.

Она никогда ни с кем не сражалась. Она подобно своей матери ждала чудес. Кто-то другой должен был за неё бороться. Но сама она готова ли к сражению? Да, она всю жизнь была слабой. А теперь должна стать сильной, чтобы защитить не только себя, но и сына, и брата, и свою челядь, крестьян и всех тех, кто ещё мог пострадать от чудовища. Это главная битва её жизни, главная битва, которую она не имеет право проиграть. Вот он! В сердце ударило что-то, будто в него вонзили холодный нож. Она увидела чёрную точку на облачном небе, выраставшую в знакомые страшные очертания. Дракон приземлился. Анна глубоко вздохнула, достала ветвь из подсвечника, та вспыхнула ярким огнём. Женщина с яростным выражением лица кинулась к дракону, но как вытерпеть страшную обжигающую боль в руке? Она сделала рывок, но не выдержала и расцепила пальцы ладони. Ветка выпала, тут же погаснув, а рассвирепевший дракон, который понял её намерения, ударил её со всей силой мощной лапой с длинными когтями, ободрав лицо. Она упала, ударившись головой, наступила полная темнота. Когда она пришла в себя, почувствовала сквозь невыносимую боль в затылке что-то тёплое под головой – это была кровь. Открыв глаза, Анна увидела над собой раскрытую страшную пасть, рука её потянулась и нащупала спасительную ветвь. Она подняла её, несмотря на жгучую боль, и протянула к чудовищной пасти, дракон вмиг вспыхнул, озарив всё вокруг огнём, и исчез.

Анна не раскрыла ладонь, но поняла вдруг, что ветвь не жжёт, и боль в теле прошла, ей стало необыкновенно легко. Рядом был ангел, он протянул ей руку, она протянула ему свою и взлетела с ним легко и спокойно. Она смотрела сверху на мрачную землю, на галерею с лежащим на ней её бездыханным телом, кучу пеплу, замок с трепещущими факелами, который становился всё меньше и меньше. Они поднялись через туман и облака. Впереди были звёзды, много звёзд, большие и мерцающие. Они словно приветствовали её! Ветвь горела всё ярче, наполняя душу неведомым прежде блаженством, и она вдруг вспомнила молитву, которой её обучила нянюшка и запела, как в детстве:

Ангел мой, ты со мной,
Я в пути, ты впереди,
Во все часы, во все минуты.
Ангел мой, я с тобой.

Анна всё пела и пела, и они летели и летели всё выше – на ту планету, где, как в детстве, добрый лес, и нет тьмы и зла.

«ОКОЁМ»

«ПОТОМУ ЧТО КАЖДЫЙ ДОСТОИН БОЛЬШЕГО…».

о Поэтическом конкурсе Международной литературной премии им. Игоря Царёва «Пятая стихия» (восьмой сезон, 2021 год)

С 2013 года в рамках Международной литературной премии имени Игоря Царёва «Пятая стихия» проводится ежегодный поэтический конкурс, 9-ый сезон которого стартовал в январе и завершится в ноябре 2022 года.

Подведение итогов номинации «Поэзия» 8-го сезона прошло в ноябре 2021 года. Конкурс прошёл под девизом «Потому что каждый достоин большего» – это завершающая строка стихотворения Игоря Царёва «Апрельское испытание»:

Растопило солнце снега под арками.
Каблучки тревожат асфальт щекоткою.
И весна ответно сорит подарками –
Одному по жмене, другим щепоткою.
Но владелец новых кварталов Сетуни
И жиличка старой хибары в Болшево
О Господних милостях равно сетуют,
Потому что каждый достоин большего,
Потому что всем нам, порою, кажется,
Что его соседу налили с горкою,
Потому что кто же из нас откажется
Лишний раз откушать блинов с икоркою?..

А Москва гремит и сверкает клеммами,
Растирает будни своими поршнями.
И проблемы сыплются за проблемами –
Одному щепотью, другим пригоршнями.
Но всё легче верится в дни весенние,
Что не бросит Боженька без питания,
Что твоё великое невезение –
Лишь Его апрельское испытание,
Что оно пройдёт и воздастся с этого
От щедрот и мудрости плана Божьего…
Не пройдёт – и вовсе наивно сетовать,
Потому что каждый достоин большего.

В конкурсе приняли участие авторы из 25 областей, 5 краев и 4 республик РФ, а также из Ближнего (4 страны) и Дальнего зарубежья (5 стран). Каждый город и страна были представлены несколькими участниками.

Судейство прошло пятью этапами: отборочный тур, первый тур, второй тур, третий тур и выбор Победителя. В жюри поступали работы участников, имена которых были зашифрованы под номерами, которые присваивала им специальная компьютерная программа. Жюри работало в «прозрачном формате», оценки жюри на каждом этапе выставлялись в системе онлайн, и опознавались участниками по индивидуальному номеру каждого.

Из оставшихся после отборочного и первого туров работ (51 работа) члены жюри в ходе второго тура отобрали 11 работ, которые вошли в финал конкурса.

Финалистами поэтического конкурса «Пятая стихия-2022» стали: Наталия Прилепо (Тольятти), Юрий Макашёв (Барнаул), Андрей Крюков (Москва), Кристина Крюкова (Москва), Елена Уварова (Мытищи), Наталия Кравченко (Саратов), Олег Сешко (Витебск), Игорь Исаев (Москва), Александр Соболев (Ростов-на-Дону), Евгений Иваницкий (Фрязино).

Третий тур (определение рейтинга финалистов) дал безоговорочный результат, не потребовавший участия в выборе Учредителя Премии.

Победителем в номинации «Поэзия» Международного литературного конкурса имени Игоря Царёва «Пятая стихия» в 2021 году стал Олег Сешко (Витебск).

Церемония награждения лауреатов всех номинаций Премии состоялась 13 ноября 2021 года в ЦДЛ.

Репортаж – по адресу: *https://igor-tsarev.ru/competitions/1854/*

СТИХИ ФИНАЛИСТОВ «ПЯТОЙ СТИХИИ-21»

ОЛЕГ СЕШКО

Витебск

СУМЕРКИ

Моей бабушке Зине,
живьём с малолетним сыном
закопанной в землю карателями
во время Великой Отечественной войны

Зина, сегодня сумерки, что кисель.
Снова сентябрь увяз в придорожной жиже.
Струи дождливо тянутся в канитель,
прошлое прилетает, садится ближе.

Значит, сегодня что-нибудь сотворю –
жжётся во рту, стремится наружу слово.
Помнишь, ты тоже верила сентябрю,
свято включая веру в свою основу.

Помнишь, учила сына: «Не обмани!
Станешь большим и сильным, таким как папа».
«Хайль!» – за окном вопили больные дни,
к новой оси времён поднимая лапы.

Младшие братья бегали посмотреть,
Свёкор стонал на печке, как ветер в роще.
Зина, они все выжили в эту смерть,
после войти в другую им было проще.

Жили, что не жили – плакали по ночам,
в снах собирали в кучу родные кости.
Что ты такое крикнула палачам
в их безмятежный час абсолютной злости?

Гордо шептала сыну: «Не устрашись,
папа придёт, за нас отомстит, мой милый».
Что ты такое знала про эту жизнь,
если спокойно встала на край могилы?

Тихо сжимала сына в подземной мгле…
Пан полицай остатки допил из фляги.
Вспомни его повязку на рукаве.
Нынче у нас на улицах те же флаги.

Память пронзает доверху из-под пят.
Это свобода – право взойти на плаху.
Если отринешь – мёртвые возопят,
примешь – и сразу станешь сильнее страха.

Зина, сегодня сумерки…

НАТАЛИЯ ПРИЛЕПО

Тольятти

ЛОДКА

Я не трогала воду, страшилась её движений.
Он размазывал соль по ошпаренной солнцем шее.
И такое затишье, что птицы совсем не пели.
Только ловчие вёсла со дна поднимали зелень.
Под ногами ходила река тяжело и жадно.
Мы буравили ил, непроглядные пятна, пятна.
Он распахивал руки, и рыбы к ладоням льнули.
Говорил мне: «Плыви, плыви!». И я тонула.
Опускалась на дно, как горячий прибрежный камень.
Занимался закат золотистыми языками.
Широко расползались круги. Проступали остро
Перетлевшие листья, белёсые рыбьи кости.
Говорил: «Ничего, ничего, мы начнём сначала».
Я послушно молчала, и лодка меня качала.
Только голос его постепенно сходил на кашель.
Поднималась река и стояла темно и страшно.
Больше нет мне распахнутых рук над моей пучиной.
Но я делаю точно, как он меня научил.
Я тону глубоко, а потом начинаю сначала.
И лодка меня качает.

ЮРИЙ МАКАШЁВ

Барнаул

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Разбирая себя на атомы,
Собирала другую.
Новую.
Саша Бартель

Знать не знаю, и ведать не ведаю
Ничего про обратный билет.
Сквозь меня – продолжение следует –
Прорастает рассеянно свет.

Прорастает по новой. Без памяти.
И качается с ветром иным
Вправо-влево невидимый маятник
За фасадом стеклянной стены.

Если вслушаться – звон колокольчиков.
Присмотреться – обычная мгла.
Этот мир мне не должен нисколечко,
Разве только немного тепла
Да нехитрого счастья охапочку
За системами координат…

Остальное – иллюзии, папочка…
(Тель-Авив. Ботанический Сад)

———

АНДРЕЙ КРЮКОВ

Москва

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ СТАНСЫ

В стороне от дорог, непохожих на истинный путь,
А как будто светящихся вечного ада кругами,
Неоглядный простор, что не спрятать и не зачеркнуть,
От Москвы расстилается вдаль, как ковёр под ногами.
Настороженно смотрит глубинка на стольный вертеп,
Засылает гонцов, а они в этом жерле сгорают,
Если выжил в Москве, если к подлинным краскам не слеп,
Помни, чем ты обязан родному медвежьему краю:
Где-то там Енисей, как шатун, бродит в тёмных лесах,
И трясёт этот лес на своих ледяных перекатах,
И усыпана густо щепой вдоль пути полоса
Лесовозных следов, исчезая в еловых закатах.
А на дальнем краю, что свисает акульим хвостом,
Звероловы жуют чайный жмых вперемешку с табачным
И кидают прищуренный взгляд на недальний Восток,
Карабин разряжая вослед облакам аммиачным.

Океан, Хокусай, энергетика солнечных струй,
Свет небес, опрокинутый в вечнозелёные волны,
Песней в сердце проникни, сразу же меня, очаруй
И одну лишь мечту-красоту постарайся, исполни.
Чтобы жить мне не там, где союз воровства с нищетой,
И не с теми, кто тешится, глядя на это соседство,
И не так, чтобы в бронзе сиять над гранитной плитой,
А с любимой, в саду, созерцая счастливое детство,
Где нет времени, только меняются краски шатра
Над твоей головой, да звенят по кустам менестрели,
Где высокое небо сигналит всю ночь, до утра,
Да буран за окном не страшней озорной карусели.

———

КРИСТИНА КРЮКОВА

Москва

ДЕРЖИ

Мой опыт – тиран мой – хранилище, ларчик, капкан,
В нём собрано всё, чем Создатель питал меня прежде.
И я поневоле теперь продавец-шарлатан,
А ты безразличный ко мне покупатель надежды.

Смотри, открываю сокровища, словно гора
Искателям гибельный путь вглубь себя обнажает,
Там в адских силках меня держит нещадно Вчера,
И сердце трепещет моё, но уже не летает.

Ночами я вижу себя над холмами вдали,
Искусно сложённой из рисовой гладкой бумаги,
Где с неба призывно курлыкают мне журавли,
Где сливы китайские, осы, драконы и флаги.

И вот я лечу за потерянной стаей наверх,
Меня поднимают ветра, как фонарик, всё выше.
Я больше не рисовый змей, я – пылающий стерх,
И клич журавлиный всё чётче и явственней слышен.

Исчезнуть, укрыться в лазоревом небе, дразня
Осеннее солнце, и вот уже сброшены сети…
Но девочка в шёлковом платье держала меня,
Держала так крепко, как могут держать только дети.

———

ЕЛЕНА УВАРОВА

Мытищи

ПИСЬМО ЗАМОРСКОГО КОРОЛЕВИЧА ИЗ РУСИ

Приветствую, отец. Ну как дела?
Тебя ещё не выбить из седла,
как многие мечтают в королевстве?!
А здесь война сменяется чумой,
до смерти – два аршина по прямой,
и сажень – до иных великих бедствий.

Отец, я не смеялся восемь лет.
Здесь воздух от несчастий перегрет,
и плач ветров тосклив и монотонен.
Здесь крыс намного больше, чем людей.
А впрочем, как сказал стрелец Гордей:
«Пока здесь эти твари, мы не тонем».

Рогожная душа не любит шёлк.
Был сильный голод, Бог в тот год ушёл,
забрав трудолюбивых и хороших.
И множились дубовые кресты.
Я выл голодным псом до хрипоты,
пугая заблудившихся прохожих.

Отец, здесь тёмный люд и тёмный край,
в котором правит ёкарный бабай.
Его все почитают с малолетства.
Я в словнике (на пасху аккурат)
прочёл, как объяснили слово «брат» –
мол, это некто в битве за наследство.

В семье моей всё та же пастораль:
жена глядится в зеркало, как в даль,
в то самое, от умершей царицы,
красуется и бредит, хохоча.
Я пью в расстройстве брагу по ночам,
и хочется по-русски материться.
Я медленно пошёл ко дну, и мне,
гораздо проще жить на этом дне,
поскольку там проблемы смехотворны.

Бывай, отец. Пиши и не болей.
С приветом, королевич Елисей,
в котором Русь давно пустила корни.

———

НАТАЛИЯ КРАВЧЕНКО

Саратов

КУДА УМЕСТНЕЙ БЫЛО Б УМЕРЕТЬ…

Куда уместней было б умереть,
чем от твоих объятий обмереть,
когда осталось жизни уж на треть,
когда по волосам уже не плачут.
Но снова о весне кричат грачи,
и сердцу не прикажешь: замолчи,
хоть нежность обречённая горчит,
и что с того, что я грешна иначе.

Да, я странна, но это мне идёт.
А кто не странен? Только идиот.
Нормальных нет, – сказал Чеширский кот,
и это было, в сущности, нормально.
Да, я стара, но ведь любовь старей,
старее всех церквей и алтарей…
Твоё лицо при свете фонарей…
И счастье было, кажется, в кармане.

Хотя я до сих пор не поняла,
что это было — глаз ли пелена,
или душа и впрямь опалена
божественным огнём из преисподней.
Что это было – прихоть и каприз,
или небес таинственный сюрприз,
и я кружусь с тобой под вальс-каприс,
и всё уже исполнится сегодня.

———

ИГОРЬ ИСАЕВ

Москва

ВЕСЕННЯЯ АЛХИМИЯ

Весна. Титаники махинами плывут ко льдам…
Всю ночь промучаюсь с алхимией
и аз воздам.
Смешаю фейерверк гормоновый внутри реторт,
протуберанец феромоновый
и кровоток!
И! Жизнь почти что опрокинута. Беги! Лови!
И вот она – моя алхимия,
гудит в крови.
В ушах – то шёпот, то мелодия, то скрип весла,
то раззвонившиеся вроде бы
колокола.

То восхитительное снится мне – но до поры:
потом приходит инквизиция
и жжёт костры…
И сердце в бездну обрывается, а после – вскачь!
И согрешить бы, и покаяться.
То смех, то плач…
То вдруг захочется ожечься мне и боль вернуть,
в глазах бездонных этой женщины
вновь утонуть…
И, выплыв в гавань губ подкрашенных из забытья,
в душе, стыдясь себя вчерашнего,
искать изъян…
Расплав страстей! Но сроки годности – на волоске.
И отступаю. То ли в гордости,
то ли в тоске…
Весна-язычница, грехи мои сведи к нулю!
Такая дивная алхимия!
Бегу. Ловлю
слова – неслышны, неразборчивы –
ручья, травы…
Весна!
Заслуживаем большего?
Я – нет!
А вы?

———

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ

Ростов-на-Дону

***

Мой добрый друг, лирический герой –
он весь, как я, но репликат умнее!
Мы заняты заманчивой игрой,
и что-то в той песочнице умеем.
Нам рифмы не крутить на бигуди
и лавры не примеривать в гримёрных,
но майю на песочке разводить –
пускай пускает веточки и корни.
И я не маг, и он не соловей,
но вследствие эффектов нелокальных
ко мне приходит белый человек,
мой лучший вариант из зазеркалья.

Мой временный поверенный в судьбе!
Свои грехи, огрехи и печали
могу доверить одному тебе.
Поговорим – оно и полегчает.
Ты весел и остёр, у нас двоих
покуда профицит оксюморонов.
Но с энтропией местные бои
всё чаще переходят в оборону –
спина к спине или к плечу плечо.
Марионеткой театра Образцова
ты для меня не станешь нипочём,
мой кровный брат, близнец однояйцовый.

Мой славный клон! Куда я без тебя?
Осваивая практики и стили,
одним дыша и многое любя,
зачем-то ж мы с тобою расплодились.
И может быть, любезный мне двойник,
под этим солнцем мы не только тени.
Внутри стиходелической возни
мы чуем душу речек и растений,
полезный смысл, отчизны сирый дым…
В пространстве неслучайных комбинаций,
моё второе «я», гетероним,
давай почаще вместе собираться.

ЕВГЕНИЙ ИВАНИЦКИЙ

Фрязино

ПОКИДАЯ ВАВИЛОН

В непосильные дни, дни любви, бесконечной тревоги,
Где тебя мне искать? Только в сон мой зайдёшь иногда,
Где ты робко ласкаешь смирённого единорога,
Белый агнец уснул, и мерцает серёжка-звезда.

Прохожу виноградник, не здесь ли с тобой повстречаюсь?
Обовьёшь мою жизнь виноградною щедрой лозой.
Я иду мимо розы, и роза бутоном качает,
Чуть задетая каплей дождя, а быть может – слезой.

Вавилон зазывает, морочит, за полы хватает,
А над шумом и гамом – безмолвная кроткая высь.
Финикийские перстни, хитоны, шелка из Китая, –
Как же много всего, без чего я могу обойтись!

Семиглавые звери, огонь в их глазищах-агатах,
Голоса лжепророков, послушные звону монет…
Я хочу позабыть мутно-жёлтые воды Евфрата,
Эти дни без тебя, эту башню, закрывшую свет.

От навязчивой яви хочу – не могу пробудиться.
И в прикрытых усталых глазах – мельтешение лиц.
Город пуст без тебя. В небесах одинокая птица…
Город пуст, как пустые глаза вавилонских блудниц.

Белый агнец пылает в костре, поднимается пламя,
И… мрачнеют жрецы, изучая оттенки огня.
Я ловлю твоё имя в гудящем вечернем бедламе,
Я ловлю жадным сердцем, и нежность сжигает меня

ОЛЕГ ЛАРИН

НОЧЬ ТАКАЯ СВЕТЛАЯ
рассказ

…Вот наконец я и встретился с морем.

Как-то неожиданно быстро исчезли шары и виски – местные названия узеньких проливов и проток, разделяющих русло, – отодвинулся влево Каменский рейд с толчеёй буксиров и грохотом сбрасываемых брёвен, остались позади отдельные островки тайги по правому, пойменному берегу, и глазу, всё раздаваясь в стороны, открылось серо-стальное полотно с матовой, чуть серебрящейся зыбью. У горизонта оно так незаметно переходило в небо, что невозможно было понять, где вода, а где низкие одноцветные облака, медленно надвигающиеся на материк.

– Это что, море? – спросил я у рыбинспектора Виктора Стрюкова.

– Нет, пожалуй, ещё река, – не сразу отозвался он. – Граница будет у створа между мысами Масляный и Рябинов.

– А по-моему, море,– не согласился с ним моторист Лёня Табачков.– При ч'м тут граница? Раз солью пахнет и тухлыми водорослями потянуло, значит, море.

Одним словом, если быть точным, это необъятное кладбище воды, широкой воронкой расходящееся к северу, можно было назвать Мезенской губой Белого моря.

Немногословный и строгий, как бы сплетённый из сухожилий, с выгоревшими на солнце волосами, Виктор Стрюков – абсолютная противоположность полнеющему Табачкову. Стати и представительности Леониду не занимать. У него бравая посадка, экономные, хваткие движения, за рулём сидит как в собственной «Волге», и на первый взгляд не сразу определишь, кто из них начальник, а кто подчинённый. Однако за годы совместной работы на воде у них выработался безусловный рефлекс, когда один, не покушаясь на чужую индивидуальность, взаимно дополняет другого, создавая тем самым коллективный портрет одного из лучших рыбнадзоровских постов в низовьях Мезени. О них мне доводилось слышать ещё в Архангельске, от самого начальника «Севрыбвода» Михаила Федоровича Григорова: «Работают как пальцы одной руки!..».

Пологие пустынные берега, мимо которых мы плыли, были рассечены полоями и ручьями. Вокруг однообразная кустарниковая тундра – карликовые берёзы, ивы, мхи с редкими пучками трав. В тенистых оврагах, несмотря на июль, завалы желтеющего снега, и кажется, что сюда уже никогда не придёт лето… Лишайники радужным ковром сползли к урезу воды, полоскались в грязной волне. Седые бороды водорослей запятнали дно; они то вытягивались в струнку, то выгибались в изощрённых танцевальных па.

Далёкой игривой музыкой просигналил рейсовый теплоход; через бинокль я прочитал название – «Юшар», судно, воспетое Юрием Казаковым в «Северном дневнике».

На лежалом, цвета грязной мешковины, песке, среди гнилых брёвен и мокрого плавника вдруг задвигалось что-то лоснящееся и грузное и поползло в сторону воды.

– Лахтак! – закричал Табачков и направил к нему «Прогресс», понемногу сбрасывая обороты.

Я увидел морского зайца в тот момент, когда он пытался уйти с отмели на спасительную глубину. Лахтак шумно раздувал ноздри, сопел, как паровоз, и, видимо, был не очень доволен тем, что потревожили его послеобеденный сон. От его тела к воде тянулась мокрая дорожка песка, напоминающая след бульдозера.

– Разленились, черти! – с видимым удовольствием сказал моторист.– Не боятся человека.

– Это почему же не боятся? – не очень-то поверив ему, спросил я.

– А поди-ка пойми их,– махнул рукой Стрюков и засмеялся.– Видать, указ про себя читали. Знают, что никто их не тронет. А вообще-то, – он посерьёзнел, словно перед докладом, – лахтачье поголовье сильно подорвано. Вот и решили мы промысел на время закрыть. Правильное, между прочим, решение! Раньше их здесь били почем зря. А теперь вот охраняем…

Снова с упругой силой заработал мотор, и мы вышли к середине губы, со звоном разваливая волны и осыпая себя водяной пылью. Ветер понемногу усиливался, и небо отделилось от воды узкой синеющей полоской.

Табачков ловко угадывал направление волн и где надо увеличивал или понижал скорость, чтобы меньше кидало и трясло. Ветер дул рывками, западный был ветер – с побережья, и моторист знал его обманчивый характер.

– Запад – он летом как ледяной, а к ночи непременно стихнет, к женке своей уйдёт спать. Иной раз и дождя накапает, и снегу принесёт, но сегодня не боись – сегодня он беспечальный,– наговаривал он народные приметы, рождённые в многовековой схватке человека со стихией.– А вообще-то ветры всякие у нас живут. Глубник – тот похуже будет, тот неженатый. Глубник с сивером – родник. Как наскочит, забухает, всю погоду испортит, рыбакам сети порвёт, колья поломает. У обедника да встока нравы спокойные, потому как с юго-востока идут. Обеднички да восточки – беспечальны ветерочки. А шалоника пуще всего бояться надобно, непутёвый он. Шторма нагоняет, дожди. Весной он тёплый, снег разбухивает, а осенью студёный, рыбы после него не соберёшь, одна рванина. Ну, а уж коли засиверко пал – это, считай, лютая стужа. Засиверко подул – то ли кто где утонул…

Издревле по направлению ветров определяли в Поморье и время суток. В их названиях – лаконичных народных терминах – отчеканилась своеобразная система измерения времени, заменяющая часы. Так, приближение сивера указывало на смену суток. Если ветер задул в три часа пополуночи, это полуночник; восток – раннее утро, когда солнце только продирает глаза; обедник – время обеда, полдень; глубник – конец рабочего дня, время ужина; запад – шесть часов вечера…

– Ну, чего вам ещё рассказать? – не унимался Табачков, победоносно оглядываясь по сторонам. Стрюков тем временем шарил биноклем по пустующим берегам: вдруг какой-нибудь «баламут» выставил сети, пользуясь безлюдьем, или, того хуже, проверяет тони «Гослова»; всякие бывают людишки, надо быть начеку.

– Приливы тут у вас сильные, – сказал я. – Расскажите о приливах.

– О приливах так о приливах, – воодушевился моторист. – Сейчас сами все увидите. Сколько времени?.. Седьмой час? В самый раз поспеем. – Он подозрительно обнюхал воздух. Какой-то запах, недоступный моему обонянию, манящe ввинчивался в его узкие ноздри, выдавливая блаженную улыбку. – Видать, уху где-то варят. Из селёдки, поди, уха-то…

На стыке воды и неба показалась тёмная, быстро приближающаяся точка, через минуту-другую обернувшаяся малым рыболовным ботом под названием «Мгла». Промысловики «Гослова» возвращались домой, в Мезень, и, видно, здорово торопились: на наши вопросы, богат ли улов, не унесло ли ветром ставные сети, рыбаки не долго думая протянули нам полный котелок свежих зеленогрудых селёдок с густым бархатным отливом, помахали на прощание шляпами, и вскоре «Мгла» превратилась в маленькую, быстро исчезающую точку.

– Сухая вода поджимает, – уверенно определил Стрюков. – Пойдём-ка и мы, пока не поздно.

– У Семжи замелимся? – тут же спросил моторист.

– У Семжи.

И катер резко взял вправо. Только теперь, когда по курсу вырос пологий берег с рваными складками обвалов, с постепенно обнажающимися кошками – мелями, я понял, что такое «сухая вода», или, как говорится в Мезенской лоции, «полусуточная приливо-отливная волна». Несмотря на великолепную скорость и гладкий, как по накатанному шоссе, ход, деревня Семжа, до которой, казалось, рукой подать, не приближалась, а, наоборот, будто отдалялась от нас, отгораживалась песчаными отмелями, лодками с лежащими возле них якорями, мёртвыми остовами брёвен, вдруг вставших из воды. А речка Семжа, ещё недавно вливавшаяся в губу мутным, цвета кофе-эрзац, потоком, оказалась выпитой до дна. По её руслу, как лава из чрева вулкана, лениво ползла густая, илистая жижа, по-местному няша.

Не доходя до берега примерно километр, Стрюков шестом замерил дно.

– Дальше не пройдём. Уху варить будем… Бросай якорь! – крикнул он мористу, и рогатая, сваренная в двух местах железяка плюхнулась возле кормы, обдав нас грязными брызгами.

Рыбинспектор сказал, что приливы и отливы действуют здесь с неумолимостью лунного календаря, чередуясь каждые шесть часов. Два раза в сутки идёт прилив, когда морская вода, смешиваясь с речной, проникает на девяносто километров вверх по реке. Затем с большой скоростью волна уходит в море, обнажая речное дно. Скорость приливных и отливных течений более двух метров в секунду. Иногда уровень в реке повышается до одиннадцати метров.

Период сухой воды доставляет много хлопот транспортным и пассажирским судам. Из-за этого они вынуждены часами стоять на открытом рейде, на промозглом северном ветру, дожидаясь пика прилива, потому что идти по малой воде в Мезень весьма рискованно – мели устьевого участка ежегодно меняют свои очертания.

Однако поймать приливную волну и использовать её даровую энергию задача в высшей степени дерзкая и привлекательная. О создании приливных электростанций уже давно задумывались ученые. Помимо всех прочих преимуществ сооружение ПЭС не требует затопления огромных земельных пространств, поэтому их энергию называют «чистой». В своё время американский инженер Д. Купер предложил построить такую станцию на морской границе США и Канады, но предприятие оказалось в финансовом

отношении невыгодным: на получение одного киловатта мощности ПЭС требовалось вложить две тысячи долларов. И желающих пойти на такие расходы не оказалось. Спустя тридцать лет президент де Голль, открывая станцию Ранс, поспешил объявить её «величайшим событием века», однако впоследствии, как подсчитали учёные, Ранс обошёлся в два с половиной раза дороже, чем гидростанция такой же мощности.

И всё же, несмотря на неудачи, опыты в этой области продолжались. В нашей стране новым видом энергии заинтересовался доктор технических наук Л.Б. Бернштейн. Тщательно исследовав работы своих предшественников, он предложил качественно новую методику использования приливной волны, что в значительной мере удешевляет сооружение ПЭС в условиях морского побережья. В 1968 году по его проекту была построена опытная станция в Кислой губе, на Кольском полуострове. А в течение нескольких сезонов Бернштейн приезжал и сюда, в дельту Мезени: исследовал створы, кошки, измерял скорость течений, величину приливов. Загорелого, похожего на альпиниста учёного видели у рыбаков Койды и Неси, у деревообработчиков Каменки, у старожилов Семжи и Пыи, чьи многолетние наблюдения над спадами и подъёмами воды могли дать неоценимый материал.

В результате этих поездок родился один из вариантов Мезенской приливной электростанции, сооружение которой – «дело 90-х годов или рубежа 2000 года…». По створу, выбранному между устьями Мезени и Кулоя, пройдёт 50-километровое тело плотины. В «пиковые часы» прилива турбины дают ток, а в момент передышки насосы перекачивают воду из моря в устье, создавая запас энергии. Для сооружения Мезенской ПЭС потребуется 150 наплавных блоков, которые можно отбуксировать морем,– дело хотя и хлопотное, но вполне осуществимое…

«Естественно, работы подобного масштаба требуют тщательной подготовки и достижения определённого экономического развития, – считает Л.Б. Бернштейн, – …Широкое развитие и внедрение сети приливных электростанций в комплексе с другими источниками получения энергии создаст энергетическую симфонию, в которой отчетливо слышны мелодии будущего…».

Ну, а сейчас мы сидели в лодке, чистили зелёные и фиолетовые селёдки, и вода буквально уплывала из-под нас, обнажала скользкие головы валунов, понемногу заваливая набок наш «Прогресс». Совсем рядом не таясь высунулась любопытная белуха, полоснула нас недобрым взглядом, фыркнула и, мощно выгнув хребет, ушла искать глубину.

Стрюков вдруг спохватился:

– Какая, к чёрту, уха! Воды-то нет!

Я расхохотался, едва не выронив за борт нож. Однако Табачков никак не отреагировал, продолжал восседать незыблемым монументом, потроша рыбьи внутренности. Покончив с ними, он так же неторопливо залез в хозяйственный отсек, достал оттуда пару луковиц, тряпочку с солью, шесть картофелин, пакетик лаврового листа и… канистру с питьевой водой.

– Ещё и на чай останется, – окинул он нас государственным взглядом и принялся накачивать походный примус.– Что-то шаньгой потянуло, – повернулся он в сторону деревни. – Картофельные, видать, шаньги, на яичном желтке замешены и со сметаной…

Три, а может, четыре часа просидели мы на дне Мезенской губы, пока прилив не подбросил водички и всё постепенно вернулось на круги своя. Там, где раньше торчали головы валунов, забурлила грязная кружевная пена. Загладились, заровнялись следы от глинистых маслянистых потёков няши – зыбуна. Семжа словно приблизилась, задышала жильём, сеном, перестойным деревом; берег задвигался, закачался враз ожившими карбасами. Семжа-речка наполнилась до краев, потекла было вспять, да вовремя одумалась и, согласно своей природе, снова повернула к губе.

Стрюков с Табачковым торопились в Несь, в поморскую деревню в четырёх часах ходу при хорошей погоде: нужно было проверить, не «балуют» ли тамошние мужички,– и мы, не заходя в Семжу, быстро снялись с якоря.

Море было гладким и ослепительным до рези в глазах. Берега отодвинулись в невнятной, колдовской дымке. С горизонта катились на нас потоки зыбкого, хрустального, какого-то живородящего света; золотыми, гранатовыми, багровыми тычинками красились вода и воздух. Заходящее солнце распоряжалось красками с неистовой фантазией абстракциониста: небо в разрывах облаков разгоралось то нежно-малиновым, то сиреневым, то розовым, то иссиня-фиолетовым цветом, а кружевная волна с опадающим верхом послушно качала радугу.

Мы были одни в этом слепящем непорочном чертоге. Мир словно остановился, раздвинулся до необъятности. Гулкими толчками работало сердце, будто невидимые крылья подняли тебя ввысь и понесли навстречу этому зыбкому, колдовскому свечению. Всё временное, мимолётное, случайное уносилось прочь со встречным ветром, а впереди цвёл и плавился горизонт, обтянутый пологом густой синевы, некий подарок свыше, призрак совершенства, и казалось – можно идти и идти до него, идти всю жизнь, сколько хватит сил…

Но это продолжалось недолго, считанные минуты. Солнце, уже прощальное, изнемогшее от жара, поплавком качнулось на поверхности моря и ушло за невидимую черту. И сразу навалился серый мато-

вый мрак, померкли, истаяли облака, словно в них разом выключили разноцветные лампочки, повеяло холодом, и всё вокруг сделалось тусклым, призрачным, одинаково бесцветным и тоскливым. И только слабая золотая полоска у кромки воды внушала ещё кое-какую надежду.

Уныло постукивал мотор, наращивая обороты, всхлипывала вода под днищем катера, отлетая назад мутными, безличными волнами. И мне впервые за всю поездку захотелось домой, захотелось до жгучей боли окунуться в чёрную российскую звёздную ночь. Вся Мезень пройдена, всё, казалось, увидено и накрепко схвачено сетчаткой глаза. Чего зря мотаться по бесприютному морю? Чего ради мерзнуть на сыром ветру?.. Твои блокноты и твоя память нагружены, как корабли с полными трюмами; надо уметь вовремя останавливаться, держать себя в узде,– иначе разбазаришь все встречи, улыбки и жесты, те драгоценные мимолетности, ради которых ты прошёл весь этот путь…

Так рассуждал я, прячась под брезентом от холодного ветра и собственного эгоизма, не замечая, как наливается малиновым жаром узкая полоска на горизонте… Вот побежали от неё робкие лучики, неясные воздушные токи, вытаивая белёсую мглу. Дух обновления пронёсся по морю: оно задышало солёной прохладой, пузырчатая рябь покрылась золочёными блёстками. На побледневшем небе в зыбком дрожании света снова обозначились облака, задвигались, раздувая зарумянившиеся бока.

Солнце вставало, как на работу, свежее и умытое, стряхнув вечернюю усталость. Оно словно сменило пышное бальное платье на простенький, будничный наряд… Раскричались чайки, охотясь за беззащитной сельдью, потеплел ветерок, пёстрые облака гурьбой устремились к югу. И рыбинспектор Стрюков, ещё недавно клевавший носом, вдруг поднял воспалённые глаза:

– Заря с зарёю встретились. Как и положено…

Вдалеке показались горло узенькой речки, ломаная линия изгородей, колья от ставных неводов. Заря накатывалась волнами вездесущей, рвущейся ввысь музыки. Голубой подмигивающий свет упал на крыши незнакомой деревни. И сразу потянуло к новым людям, к нехитрой, безыскусной беседе в какой-нибудь замоховевшей избушке, где всегда рады случайному гостю и приветливо тянутся руки, словно изучающие по твоему рукопожатию, чего ты стоишь в этой жизни. И уж коли ты желанен и приятен для хозяев, то они тут же станут раздувать очаг, а потом заваривать чай, приговаривая по-свойски: дело наше простое – обогреть и накормить гостя. А кто ты такой, мы и сами догадываемся: человек…

ЛЕОНИД ВОЛКОВ

ПОВЕРИТЬ В ЧУДО

Иордания в декабре

ода

Иордания. Нездешнее слово, ненашенское. Из не такого уж ближнего Ближнего Востока.
Близкого для нас. Ибо *сближает:* Иисус Христос принял Крещение на Иордане…
А звучит-то! Как камешки перекатывают: и – ор!.. (Дания – не причём: наше…)

1
На праздник жизни

Дома, машины – куда ни кинь!
А смысл? Природа – зачем?

В день старта мне – 71. Из иллюминатора вижу крыло. Несёт двести душ.
Не чудо ли?! *По* небу, в котором Бог однако не виден.
А он нас, летящих, видит?
Чудо – и то, что из зимы – в лето: дыхнуло, лишь сошли с трапа.

Город *А*каба (звучит как «якобы»), вместив всех нас, развёз по отелям. По пути – пальмы, сочные бугенвиллии, амфитеатром – горы. Посреди – пустыня. Правда, чуть замусоренная: промзона.

Жаль! Ведь свои души арабы, живущие здесь, исправно чистят. В молитвах.

Вон с мечети муэдзин взывает чтить Бога. И ему внемлют вчерашние бедуины, женщины до пят в чёрном.

Все – под Аллахом. И – «дабы не гневить его», блюдут заповеди… живя так, как если б, куда ни шёл, всюду – видеокамеры… Что, видимо, предостерегает от неверных поступков.

Обосновавшись в номере, идём в сторону Израиля: «в двух шагах».

Не доходим: громоздьё отелей. Ограды – преградой (всё предусмотрено).

Остаётся – вспять, к набережной залива. К пятачку городского пляжа. Где не разбежишься. И не расплаваешься: снуют моторки, джонки.

На рейде – лайнеры. Но в*о*ды – слеза… По ту сторону как на ладони, – израильский город Эйлат и горы, горы… холмы, что – будто вчера – исходил царь Моисей.

Ничто и нам не мешает обвести их его глазами.

Сколько же они помнят! Сколько скрывают! Горы, в которых свистит ветр, напоминая о прошлом… времени, когда людей было на порядок меньше.

Теперь изрядно! Вон строения уж подкрались к подножию: обживаем склоны.

Известно ведь: каждые четверть секунды на свет рождается по младенцу. Что, как утверждают учёные, – **слишком**… Иначе говоря, чтобы не толкаться, людям следует появляться не чаще, чем по одному в секунду…

Хотя разве тут уследишь! В городах, разумеется, живут скученно. Но отойди…

Сидя у иллюминатора «по дороге» сюда, видел я, сколько ещё необжитых пространств – равнин, гор, пустынь.

Так, может, пора – рассредоточиться?

*

Море. Окунулись и вышли. Я – в плавках, Тамара – в купальнике.

Но как-то странно смотрят на нас. С осуждением? Нет, скорей с интересом. Как дети.

– Эй, что-то не так?

– А-а, рус? Вери гут! Велком!

Приветливы. Но жена – мне:

– Напялили на своих, а на нас пялятся…

– Все, – соглашаюсь. – Не исключая дам в чёрном.

(«В скафандрах».) Вон одна из них – с джонки – послала мне по воздуху поцелуй.

А ещё двое, оглянувшись, во всём одеянии водружаются в море.

Там, на песке, наутро встречали мы ночующих под открытым небом. С узлами, с детьми… У моря, за которым, судя по всему, – кров несчастных.

На заборе – вроде наших галок – грачи. Можно сказать, родня.

Благо, эти твари не знают ни войн, ни различия языков. Общительные, взращивают в себе праздник – наполняются светом, радостью дня.

Праздник на чужом берегу ощутили и мы. Это так важно – на новом месте не оказаться лишними! Как это случилось с Грином, когда с палубы корабля однажды увидел он огни чужеземной Александрии…

Нас-то, слава богу, сей град **вместил**.

Вдвоём у моря! Что само по себе праздник.

Жене, правда, показалось – один из арабов облил презрением её «наготу». Что, на мой взгляд, более походило на детское любопытство: «Дай насмотреться!».

Идём по Maman Beach, к маяку. Расписные джонки, бар.

Поодаль – форт Мамлюк, над воротами коего – Хашимитский герб.

Всходим на крепость, датируемую шестнадцатым веком. Некогда паломникам она служила *ханом* по пути в Мекку: верблюды, тюки…

Но нам – к яхт-клубу, где… «подыскиваем себе» яхту.

На коей можно уплыть в Прошлое, в Чермное море. А там встретить Синдбада-морехода и, сложив руки рупором, спросить у него, как достичь Айлы.

Так в древности звался город, по которому идём, – курорт с отелями, резиденциями…

Уже без верблюдов. Хотя и среди пустыни.

2
На гору, с которой Моисею предстала земля обетованная

Христа надо бы узнавать среди встречных… *в себе* искать!

Поездка на Иордан, к Мёртвому морю утомила: две трети суток!

Зато – с водными «процедурами». (Для «моржа» – **что надо**!)

К тому ж удостоились мы чести посетить место погребения Моисея – *церковь Гора Небо*!

А это – на вершине *горы Моисея*, пророка Израилева. Откуда, по Библии, Господь показал Моисею *обетованный*, обещанный то есть, край: «И взошёл Моисей на гору Нево, что против Иерихона, и показал ему Господь землю».

Моисей в свою очередь «явил» ту землю народу. И – почил. Тридцать три века назад.

Внутри храма – то, что осталось от византийской базилики четвёртого века, – мозаичные панно. На полу, стенах – изображенья животных, людей, цветов, деревьев. Ещё – надписи и узоры… сцены охоты, приручения зверья…

Снаружи – обвитый змеёю крест – *жезл Моисея*… стукнув коим о скалы, пророк мог иссечь воду… а мог – спасая сынов Израилевых – осушить море.

По велению Сущего жезл его оборачивался змеем. Посох же брата его Аарона – и вовсе почки пускал.

А вот – *диск из песчаника*. С косую сажень. «ABU BADD». Камень-замок… коим его служителям ничего не стоило «отомкнуть» храм.

Откати – и ты… *на* небе… «Мир всем!» – при входе в него.

Не зря называют *Гора Небо:* взберись – и беседуй с небом. Представляй: вот финиш сорокалетнего хоженья.

С восьмисотметровой горы Фасги видны храмы Иерусалима. И Храмовая гора… где три тысячелетья назад был возведён Первый Храм.

Но нам – не в Иерусалим – *на Иордан-реку*, что впадает в Мёртвое море. На восточный берег её, где Иоанн Предтеча крестил самого Иисуса Христа.

3
На Иордане. Ворона

Учение Христа апостолы постигали три года...
А мы – скоро третье тысячелетие… любить никак не научимся.

«*Мне* надобно креститься от Тебя, – сказал Иоанн. – И Ты ли приходишь ко мне?».

На что Иисус ответил: «Надлежит нам исполнить всякую правду». И принял крещение.

Во время коего – о чудо! – «отверзлось небо, и Дух Святый нисшёл на Него… как голубь. И был глас с небес, глаголющий: „Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!“».

Крестились от Иоанна и апостолы. Иисус же, «ведомый Духом, удалился в пустыню». Где «приступил к Нему дьявол и тремя обольщениями попытался соблазнить Его».

Но тщетно: «оставляет Его диавол, и сё, Ангелы приступили и служили Ему».

Честь-то нам: в так называемом месте *Эль-Махтас* коснётся и нас таинство крещения!

С опаскою один за другим в белоснежных сорочках входим в мутную воду, крестимся.

Но вот вопрос: испытал ли кто из нас благодать Божью? Что-то я не видел, витал ли над кем голубь…

Ио-рдан. Ио-анн Креститель. Крестил – а ему… голову отсекли!

За что? Жертва… Благо – *крестил не огнём – водой.*

Вода ведь – то, что *несёт жизнь*… и что в пустыне, как нигде, насущно.

Очевидная для меня, «моржа», благодать: «крещусь»-то день ото дня. Круглый год. С поминанием Того, Кто на исходе *той эры* **положил начало**…

*

Острый момент: девчоночки наши робко заходят в воду, обмирая от холода.

И я. В рубище с изображеньем Его на рубахе – готовлюсь.

К чему? Что окунусь – и вот… Осенит… и все увидят… (Что – и на логотипе моего фасада?)

Однако – ничего. Обернулось, я бы сказал, буднично. «Без эмоций», как заметила одна из окунающихся.

А вместо голубя, к всеобщей весёлости, взвилась над головами у нас слетевшая бог весть откуда ворона.

Спланировав, каркнула что-то на вороньем своём языке. И – тени облаков легли на далёкие горы, укрыв их мглой.

4
Мы разуверились в чуде?

Любовь – религия
А когда отношение к Женщине будет восторженным
(со знаком восклицания лишь), любовь, можно надеяться, станет религией.
(*Я – за. Почему б и не превозносить?!*)

Поток нёсся, а мы, в туниках все до колен, толпились у сходней.

– Негоже, – нашёлся среди нас один, усмотревший кощунственный штрих в ритуале.

– Что же мы, – сказал, – в одну и ту ж воду – валом… И стар, и млад… и жена, и муж… Так и до непорочного зачатия недолго.

Сказал – и осёкся: мол, что я такого брякнул.

– А что, место бойкое, – подхватил кто-то.

И зря, наверное: греховному воображению тут – не место.
Но слово – не воробей… А людям – только дай волю.

– Дамочки, начеку будьте!
– Как бы чего не вышло!
– Что своим мужьям скажете?..
– Сошлёмся на Духа Святого, – нашлась одна.
– Коли так, девки, я ещё окунусь, – хохотнула другая. И – будто «за рыбой», ушла под воду.
– Смотрите, помолодела! – заметил кто-то, когда та вынырнула.
Лицо её, расплывшееся в улыбке, светилось.
– У-у… у меня там словно промеж ног кто пробрался… – выдохнула.
– Ну даёт! – раздался хохот. – Может, рыбина проплыла?
– Ей-богу, – перекрестилась, ещё более просветлев, дама, – и нырнула по новой.
– Понравилось!.. – прокомментировал её муж. Но прикусил язык.
Как и у всех, на груди парня, красовалось изображенье **начала**.
– А что, если… – изрёк. – Зачала же Мария!.. И верим! А тут…

Хорошо хоть – разговорились. А то ведь замкнуты мы, сами по себе… Недостаёт нашему брату общительности, общности. Отсюда – и «нет эмоций».
«Ничего святого!» – скажут…
Но блажен кто верует… В храме Гора Небо мы видели пару неистово молящихся коптов. Отрешённо стояли они у алтаря на коленях – и… ждали чуда.

5
К самому низкому на Земле месту

Что нами движет?
Интерес, радость плоти духа, желание познавать.

Нас же ожидало *Мёртвое море*, до которого было «рукой подать».
Мёртвое? Но вон сколь на берегу **живых**! Натурально – «негры»: в грязи с головы до ног… Другие поплавками торчат в пересоленной воде… и не тонут, хотя нет глубже на суше места: 426 метров ниже уровня океана.

Миражи. Мерцанье на воде. Где-то здесь гибли библейские города Содом и Гоморра.
Чем провинились?.. Во избежание сей участи уносим ноги.

Прочь. И – час за часом – по пустыне. В сторону Акабы. На виду у ярких южных звёзд. Под присмотром рога луны, болтающегося в квадратном проёме на крыше автобуса.

Выходим посередь Лунной долины – «дыхнуть».
Далее – «трактом Трояна».
И так – кажется, «до конца дней»…
И уж автобус – как дом родной.
– Успели ведь не просто сблизиться – сроднились, – говорю соседкам. Едем.

6
Взглянуть в глаза бедуина

Любовь к ближнему исповедуя,
мог ли предполагать Христос,
что Учение Его распрям послужит!
Кто знал?!

Назавтра – в Петру. (В переводе – «камень, скала».) К энному чуду света. Надолго (тысячу лет) забытому людьми городу-каньону среди розовых скал.

Не так давно вспомнили… И – всем предстала обитель, покинутая богами.
С виду – никакой не «город». Нет, просто набатейские арабы, похоже, прятались здесь.

От кого? Непрошенных гостей… Природа помогла создать среди пустыни удивительный пещерный форпост… вытесать в скалах склепы, фасады храмов, колоннады, святилища.

Когда-то здесь было море. Высохло… Река Арава из века в век мыла русло.
В итоге прорыла в песчанике каньон Сик глубиною шестьдесят метров.
После чего сорок веков назад пришли люди – и были сражены необычностью… Нашли тут воду.

Это было давно. Но до нас дошло: то было племя идумеев. Коих незадолго до нашей эры вытеснил другой народ – набатеи.
«Щель» в пустыне они сочли пригодной не только для обрядов, но и жилья… И – обжили город, на перекрёстке торговых путей ставший столицей Набатейского царства.
Намаливая эту местность, владели ею, пока не пришли римляне, византийцы, арабы…
И наконец – мы, туристы.

Идём между отвесных скал, по дну. И с каждым шагом *уже* каньон. Всё сумеречней.
Запахи – из глубин веков. Барельефы на уровне глаз: караван…[1]
И вдруг – сияние: из-за поворота – невиданной красы чудо-дворец!
Перед нами – фасад *Сокровищницы фараона* – мавзолей Эль-Хазне.

Далее – вплоть до монастыря Ад-Дейр, усыпальницы набатейских царей, – поражающие воображенье дворцы, храмы…
За день не пройти. Разве что – верхом на арабском скакуне, повозке, верблюде, ослике…
Из несущихся во весь опор «колесниц» – глаза возниц…
«Застынь! – кто-то в уши. – Ты нашёл его, явившийся из сна город-призрак!..».

А теперь очнись! Время – всплыть из «потерянной» Атлантиды, сесть в авто…
Разве что ещё успеешь обойти залы только что открывшегося Археологического музея… где тебя возьмут в плен **те** герои, боги, существа… Среди которых – Исида с крылами.

7
Изида? У меня с нею – параллельные сны

И ведь снится и снится!
(*Какая! Сны портит…*)

Катим через пустыню в авто, а по дороге *сами собой всплывают эпизоды из как будто и не моей уже юности – то, что было со мной полвека назад почти в такой же пустыне.*

Дело было на Каспии, на полуострове Мангышлак, в первой моей экспедиции.
Я был рыж, а у неё – золото волос, руки-змеи, нежный голос и красивое имя.
Невинность всего её облика зашкаливала.
Поистине редкая красота! Но, похоже, Лана завысила цену за свои сны.
Как если бы сама их выдумывала. А мне – незачем… Нечем было платить?..

Мы вышли в маршрут. Степное побережье, прибой. Я шёл следом – и видел, как легко она себя несёт.
Казалось – зовёт за собой на край света… Но мог ли я поддаться? Грезил другой.

На привале речь зашла о геологии. Однако губы той, что слагала оду известнякам, звали.
Какой-то миг… Но я был робок. Так и сказал ей, что – ещё мальчик.
Она рассмеялась – и показала мне жемчуг зубов, а ещё «нос» гибкими своими руками.

Спустя какое-то время выяснилось – как странно! – видим с нею параллельные сны.
Из ночи в ночь (я спал палатке по соседству) ей и мне снилось одно и то же.
А случалось – мой сон, дополняясь её сновидениями, имел продолжение…
Лана! Была она из тех, кто предпочитает сразу… и – на всю жизнь.
И всё-таки тайно я был влюблён в неё. Вынашивал в снах.
Как о чуде, мечтал, что она… родит. Ну, как Дева Мария…
И все были б поражены… Нет, не поверили бы: обречены не верить.

Хотя. Что если бы чудо всё-таки случилось! Верим же в святое зачатие!
А тут… Так уж – не может «надуть»… от воображенья, всесильной любви?
Так уж… из ста миллиардов, родившихся за всю нашу эру, – ни одного?

Не знаем… А Лана? Случалось, метала она поутру молнии. И – выговаривала «за сны».
Если ж я возражал, «напоминала», – и приходилось признать…

8
Он, я, жена, грач… Современники! Искорки жизни

Бывает, несём огнь души – и обнаруживаем: факел-то едва тлеет.
(Задуло на полпути.)

– Доброе утро, – приветствовала нас в столовой отеля та, что представилась Ланой.
Сошедшим на завтрак, нам, улыбнулась, как если бы сто лет знала.
Правда, едва сели мы к её столу, махнула вошедшим следом. Притом не утратив и к нам интерес: широта души, видимо, позволяла ей быть так со всеми.
– Завтрак скудный, – заметила. – Зато мне снятся здесь такие сны!..
Изрекла, воззрилась на меня, взялась за вилку. И – я узнал в ней царицу снов… Вспомнил в Актау сочную черешню на рынке и на её губах… огонь озорной в глазах…

На улицу наша знакомая одела никаб и направилась в сторону мечети. Мы же с женой пошли на камни… где Эйлат, белый град в обрамлении гор цвета какао, отсюда – как на ладони.
Между нами и Эйлатом расстилалось бирюза-море с сухогрузами и лайнерами на рейде. С моря, с «глазастых» джонок, неслась восточная музыка, смех женщин. Стайки их, «упакованных» с головы до ног, как грачи, восседали на берегу.
Одна из них, как ни странно, из-под никаба помахала украдкой.

Есть у мусульман обычай: жена, не способная к репродукции, сама ищет мужу… ту, что родит.
А муж? Он довольствуется той, которую ему подыщут, – «в мешке»…
Наш – едва доверился бы…
Разные мы! День и ночь. Недаром – серп луны на мечетях.

Сижу «арафатом» (слово жены), «спрятавшись» в капюшон футболки. Вспоминая, как сон немыслимый, Петру. С историей, корнями в песок. С событиями… кои нетрудно восстановить, взглянув в глаза бедуинов.
Море тёплое. Пальмы, по длиннющим стволам-«соломинкам» выкачивающие воду из почв.
Сухо. Грачи – ни бум-бум по-русски… Араб: «Сэлфи?» – Я: «Ради бога!».
Он, я, жена, грач… «Плис!» – пока не тронуло увядание и налицо краса…

А красивых вон сколько! Но ведь не от них – близких своих – ждём участливости.
– …Если б не твоя волнительность, – говорю жене, – тебе цены не было б…
– А если б я была Ассоль, – капитан Грей достался, – парирует жёнушка.

Подсела пара из Бангладеш: красавица в «тюле» со смуглым спутником.
Он, хвастаясь ею, – мне: «Фэйс, а?!».
И – слышу – ей, удивительно похожей на подругу моей юности Лану, заговорщицки – на ушко (за перевод не ручаюсь):
– Плавает-то как! Пойдёшь за него? За таким «моржом» – как за стеной… Гут рашен!

Но с тоской взглянула мне в душу неведомая краса. «Если бы не…» – ткнула пальчиком в сторону кавалера, и вспыхнула.
Представилось: отродясь знаю…
Но что ей, красоте писаной, уготовано? Какие видеть сны? Со *своим* ли она?..
Так короток световой день! Быстротечна жизнь… И – столько жизней мимо!

*

Пятница. Вечером – прогулка по набережной.

Арабы вырядились. Пьяных – и в помине… Танцуют парни… Арабские скакуны… Платаны… Одна из встречных улыбнулась. Тайно. Ярко. Искорка иной жизни – мимо.

А мне потом – в потоке времени – не опошлить бы (взгляд)!

Потом – это когда? В следующей жизни?

9
И чего ради красоту прятать?

Цветок сам по себе хорош?
Или красивым ещё преподнести себя требуется?
Верю: не только «Красота спасёт мир» –
красивым он будет принадлежать по праву.
(По праву спасителей)

Искупавшись в семь, делаю, как обычно, зарядку – на удивленье арабам.

Рядом – «укутанная». Сидит против меня на бордюрном камне. Рисует, не поднимая глаз.

Что? Бог весть. Ни до кого ей нет дела.

И мне… Но не даёт покоя – на камне… О чём не преминул сказать.

– Синьора, колд, мол… – так и простыть недолго.

На что та: «Но-о, колд!» – подняла взор. И я увидел сияющую красоту.

Улыбку… Девушка другого мира открылась.

Ну, как цветок… Хлопнула себе по пятой точке: не беспокойтесь, мол, сэр. И – склонилась к альбому. Как если б – никого, кроме неё…

Не глянув даже, как я – с разбега – в море.

*

Завтра – на крыло. А нынче – бриз: синее в толчее море.

Мы – на камнях. Против – израильский берег, левее – Египет. Правей – Палестина, слева от нас – Саудовская Аравия, позади – Сирия.

Горы – ещё и ещё. Сегодня они – от кофейного до шоколада… С тенями. А посреди заводи – огромный сухогруз «d'Amiqo», куда мельче…

Нам надо всё это запечатлеть: завтра – ни гор, ни моря.

Пока напитываемся… Суббота. Пикники. Восточные люди радуются жизни.

Все. Включая и барышень, курящих кальяны… Видно: **легко** живут.

– Хелло! – все здороваются. Постовые, грачи… Рад им: современники! У нас с ними – никаких войн…

Иные арабы, впрочем, настороже. Но всё равно: «Скьюзми!..».

И – глядят (хоть и грешно) на наших… Мы – на их (другой мир!)… вышедших, как Венеры, из моря в туфельках, в вогких одеждах… в никабах, за коими попробуй угадать кто.

– Красивые?

– А какие ж ещё? Иначе – смысл?.. – рассуждаю. Спрятанную от мира красу жалея: *пропадает*!

Тени от облаков меж тем падают на зубцы гор… куда забраться б и взглянуть окрест!

Но там – никого: какие ни есть люди здесь.

И странно это: живём скученно, тесно… люди лепятся один к другому в многоэтажках.

Над городом – стая птиц. Кружат день-деньской. И не лень им – раз за разом – всем вместе!

…На крыше отеля – бассейн. И – обзорная «ложа»: мечтай…

На шезлонге – Лана. «Вот и сбылся сон! – слышу. – Чувствую себя одной из тех птиц…».

Мечетей! Днём и ночью с них вещают *азан* – муэдзины наперебой зовут к молитве.

Голосят «в трубу». Будто голоса всех, и прежде живших, слились в **один**. В коем – и завывание ветра, и гудки авто, и напевы старинные бедуинов…

Зато как смолкнут, – тишь! Как если бы Аллах парил над городом. И что ни верующий, – как один из стаи, – *внемлет*, выверяя каждый шаг: на виду.

10
Чудо спасения

Везение. Что это?
Нечаянная радость? Совпадение? Успевание?..

На волоске… То, что – под Богом… – ощутил только что: мог сгинуть.
Как? В толчее волн. В зыби моря едва не сшиб катер.
Каким-то чудом спасся. В последний момент…

Сумерки подкрадывались – я уплыл «за буйки». Совсем близко прошла моторка. Рулевой с неё крикнул мне… что интересно, по-русски:
– Эй! Плыви к берегу! Не то сшибут!
Не успел: встречь во весь опор нёсся катер.
Точным курсом… И – если бы не тот, что орал, указывая на меня, незаметного в ряби воды…
Срулил! Успел-таки, коснувшись бортом.
Остановился поодаль, а мой соотечественник набросился на него с бранью:
– Смотреть надо!..
И – мне:
– Вот видишь!..
Я взглянул на берег: на камнях – ни жива ни мертва – всё видевшая жена.
– Бог спас, – молвила, когда вышел.
И фарс с меня как ветром сдуло. Стал маленьким и немым. Притих до конца дня.

*

В тот день, было дело, мы ещё сдружились с мальчишкой-арабом.
Он не отходил от нас. Косясь, заходил в воду. В одежде и обуви, не опасаясь промокнуть.

И всё? Нет, на камнях встретили мы закат. Видели, как за горы зашло солнце. И – розовое сиянье разлилось по небу…

11
Места всем хватит

Путешествуй – и очаровывайся!

Летим. Путаюсь в снах – чьих-то концовках.
– Так, может быть, нам, людям, рассредоточиться? – гляжу на землю в иллюминатор. – Зачем жить в тесноте? Вон сколько пустующих мест!
– Но ничто не мешает и жить бок о бок, – парирует жена.
Не мешает? Тогда – зачем?..

Самолёт завибрировал: зона… Затрясся так, что казалось – оторвутся крылья.
Но выдержал-таки! Будем жить!.. Заняться бы только *тем, чем надо*!
– Жить не впустую! – поддержала жена.
Пора начинать! – вон уж видны весёленькие огни Москвы.

Фантастика! Налицо всё-всё! Даже колесо обозренья (чёртово).
Кружимся, идём на посадку… Аплодисменты. Будто на шабаш прибыли…

---

[1] Барельефы Петры напоминают скульптуры шумеров (из находящейся немного севернее Месопотамии). Но они старше – им более четырёх тысячелетий.

Акаба – Москва, 01.12. – 08.12.2019

«ЛИТМУЗЕЙ»

ЭЛЬДАР АХАДОВ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ПУШКИН

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА

Несколько слов о добрых чувствах. Какие они? Чувство радости, чувство сострадания, нежной любви… Это добрые чувства. Ещё и потому добрые, что все их можно и должно в первую очередь обращать к другому живому существу: радоваться за другого, гордиться им, сострадать ему, любить его. Обратите внимание: не себя, а другого (или другую).

И писать следует о добрых чувствах к другим, к миру, если вы хотите, чтобы написанное вами было им интересно. Если же вы любите только себя, испытываете добрые чувства только к себе, говорите и пишете только о себе, то не удивляйтесь тому, что однажды вас перестанут слышать. Не зря великий Пушкин писал когда-то:

«И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал…»

Поэту была известна тропинка к народному сердцу – добрые чувства.

В КАКОМ ЧИНЕ И В КАКОМ ЗВАНИИ БЫЛ ПУШКИН?

Чины в Российской империи в соответствии с табелем о рангах повышались в зависимости от выслуги лет. Так, к примеру, срок выслуги для получения следующего чина титулярного советника для коллежского секретаря составлял 3 года. Для получения чина (должности) коллежского асессора титулярному советнику также нужно было отслужить в своей должности 3 года. Коллежскому асессору, дабы стать надворным советником, нужны были уже 4 года службы. Надворному советнику для получения должности (чина) коллежского советника – ещё 4 года. И, наконец, коллежский советник становился статским советником тоже через 4 года. Итого, коллежскому секретарю для того, чтобы стать статским советником необходимо было проработать в соответствующих должностях 3+3+4+4+4=18 лет. Это при обычном продвижении по службе. Не стоит забывать и о таких обстоятельствах, когда кандидату на повышение чина, удостоившемуся именного разрешения императора (или, как было принято тогда писать «Высочайшего благоволения»), один год из установленного срока убавлялся. То есть, срок получения коллежским секретарём чина статского советника мог уменьшаться с 18 до 17, 16, 15, 14 и даже до 13 лет, если «благоволение свыше» присутствовало.

Обратим внимание на то, что Пушкин состоял на службе с 1817 по 1824 годы. И он помнил об этом очень хорошо. И не только помнил, но и другим напоминал. 21 июля 1831 года Пушкин пишет Александру Христофоровичу Бенкендорфу: «Заботливость истинно отеческая государя императора глубоко меня трогает. Осыпанному уже благодеяниями его величества, мне давно было тягостно моё бездействие. Мой настоящий чин (тот самый, с которым выпущен я был из Лицея), к несчастию, представляет мне препятствие на поприще службы. Я считался в Иностранной коллегии от 1817-го до 1824-го года; мне следовали за выслугу лет ещё два чина, т.е. титулярного и коллежского асессора; но бывшие мои начальники забывали о моём представлении. Не знаю, можно ли мне будет получить то, что мне следовало…».

В связи с имевшимся у Пушкина вопросом выслуги лет обратим внимание на, говоря современным языком, его общий «трудовой стаж». С 1817 по 1824 годы – 7 лет. Это ясно. А вот дальше в связи с увольнением с работы и заключением в псковскую ссылку (Михайловское) стаж прерывается. Возобновляется он по версии официальных историографов в ноябре 1831 года. Однако вот на что я хотел бы обратить внимание: официальный стаж и официальная должность. А мы уже убедились, насколько в данном случае официальная должность отличается от официальной зарплаты. В июне 1829 года Пушкин был в Турции в составе русской армии. Известно, что на обратном пути из Тифлиса в Санкт-Петербург Пушкин предъявлял подорожную такого содержания: «Господину чиновнику 10 класса Александру Сергеевичу Пушкину, едущему от Санкт-Петербурга до Тифлиса и обратно, предписано Почтовым местам и Станционным смотрителям давать означенное в подорожной число почтовых лошадей без задержания, и к приезду оказывать всякое содействие». Напоминаю, что 10 класс – коллежский секретарь. Выше уже упоминалось о том, что в 1828 году Бенкендорф предлагал Пушкину работу в своём ведомстве. Об итогах их переговоров нам в точности неизвестно, однако получить такую подорожную без ведома Бенкендорфа и абы кому – было не реально. Подорожная – документ официальный. В нём Пушкин называется не бывшим чиновником, а просто чиновником, то есть, гражданским служащим в своей должности. Таким образом, возникает повод для сомнения в том, что Пушкин был принят на работу в 1831 году, а не как минимум в 1829-ом или даже в апреле 1828 года, когда от Бенкендорфа поступило известное предложение. Если же это так, то реальный стаж Пушкина к 1837 году составлял 24 – 17 + 3 +6 = 16 лет, срок, которого с учётом «Высочайшего благоволения» в последние годы более чем достаточно для вступления Пушкина в должность статского советника, а, следовательно, и для присуждения ему придворного звания камергера Его Императорского Величества.

Итак, из вышеизложенного ясно, что фактического трудового стажа (выслуги лет) Пушкина по законам российской империи было вполне достаточно для обретения должности статского советника. И при благоволении со стороны императора юридически вполне обосновано со второй половины 1836 года. Иное дело, что в бумажном исполнении этот статус не был вовремя зафиксирован. А такое вполне могло произойти. Об этом – отдельный рассказ.

КАК РОЖДАЛИСЬ УКАЗЫ НИКОЛАЯ I

Предлагаю вам ознакомиться с текстом Указа Николая I в том виде, в каком он был зарегистрирован в 1836 году: «9336. Июня 23. Именный, объявленный Министру Императорского Двора Управляющим делами Комитета Министров. О непредставлении к пожалованию в звание Камер-Юнкеров чиновников ниже Титулярного Советника, а в Камергеры ниже Статского Советника. Государь Император по статье журнала Комитета Министров 9 сего Июня о том, что Ваша Светлость изволили сообщить г. Председателю Комитета, что Его Императорскому Величеству не благоугодно впредь жаловать в звание Камер-Юнкеров чиновников ниже Титулярного Советника, – в 20 день текущего месяца собственноручно отметить изволил: „в Камергеры не ниже Статского Советника“. О сем Высочайшем повелении Комитет поручил сообщить всем Министрам и Главноуправляющим отдельными частями, от коих поступают представления к наградам чрез Комитет Министров».

Что следует из этой записи? Из этой записи следует, что монарх прекрасно разбирался в отличиях между чинами и званиями. Ещё из него следует, что император свои указы не высиживал за столом, а мог просто высказать на ходу, как идею, которую другие специальные чиновники оформляли через какое-то время в виде указа.

Ещё из него следует, что звание камер-юнкера Пушкин мог иметь по своей должности титулярного советника, а для того, чтобы получить звание камергера, ему надо было дослужиться до чина статского советника! Именно на это ключевое обстоятельство регулярно ссылаются все противники версии того, что Пушкин на момент своей смерти находился в ином, более высоком придворном звании, нежели звание камер-юнкера.

Прежде чем перейти к возражениям к этой глубоко ошибочной, но крайне распространённой версии, отметим ещё раз и запомним два момента:

1. Пушкин к моменту появления указа 1836 года о порядке присвоения званий камер-юнкера и камергера имел официальное право на получение звания камергера по выслуге лет и имел право на чин статского советника.

2. Указы императора оформлялись теми официальными лицами, которым император поручал фиксацию высказанных им устно идей.

Однако любой читатель может заметить мне, что об указе или распоряжении императора касательно повышения чина Пушкина истории ничего не известно. Я соглашусь с этим возражением, но с одним весьма существенным примечанием: это не отменяет того факта, что подобное распоряжение и поручение могли быть сделаны императором в устной форме, точно так же, как и в случае с упомянутым выше

Указом о присвоении звания камергера. Возможно ли было такое в пору абсолютной монархии? Вполне. Причем, именно по Пушкину, у которого имелись весьма влиятельные высокопоставленные недруги. Кто?

Например, прямой начальник Пушкина граф Нессельроде, кстати, глава российского МИДа и будущий канцлер Российской империи. О его отношении к Пушкину красноречиво свидетельствует следующая история, о которой подробно повествуется в книге Р.Г. Скринникова «Пушкин. Тайна гибели»: в беловом варианте письма Пушкина Бенкендорфу сказано: «Не смею и не желаю взять на себя звание Историографа после незабвенного Карамзина; но могу со временем исполнить давнишнее моё желание написать историю Петра Великого и его наследников до государя Петра III». Далее Скринников пишет: «Предложение Пушкина пришлось кстати. На письме Пушкина Бенкендорфу монарх пометил: „Написать г-фу Нессельроду, что государь велел принять его в Иностранную Коллегию… для написания Истории Петра Первого“»…

26 сентября 1831 г. А.И. Тургенев сообщил в письме брату важную новость: «Александр Пушкин точно сделан биографом Петра I и с хорошим окладом». Вскоре же и сам поэт известил приятелей о свалившейся на его голову милости: государь «записал меня недавно в какую-то коллегию и дал уже мне (сказывают) 6000 годового дохода». «Царь взял меня на службу, – писал поэт Плетнёву, – но не в канцелярскую, или придворную, или военную – нет, он дал мне жалование, открыл мне архивы…».

Цитирую Скринникова далее: «В июле 1831 г. царь распорядился, чтобы поэту было положено жалование. Но прошёл почти год, прежде чем дело сдвинулось с мёртвой точки. Назначение Пушкина историографом привело к межведомственной тяжбе.

Граф Нессельроде долго отказывался платить деньги коллежскому секретарю Пушкину. Министр внутренних дел Блудов при встрече с поэтом по-дружески сообщил, что говорил с государем и «просил ему жалования, которое давно назначено, а никто выдавать не хочет». Николай I приказал Блудову обсудить дело с Нессельроде. «Я желал бы, чтобы жалование выдавалось от Бенкендорфа», – отвечал тот.

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ КАМЕРГЕРА

Более года граф и министр Карл Роберт фон Нессельроде-Эресховен находил возможности для неисполнения воли государя, прозвучавшей ясно, чётко и недвусмысленно. При этом заметьте, что он – прямой начальник Пушкину по ведомству, в котором тот числился! Вот та причина, по которой мне позволительно предполагать, что распоряжение императора по поводу должности Пушкина в устной форме всё же имелось (и о нём знали очень многие! Даже Дантес и Геккерен!), но письменно Нессельроде его не исполнил. Причина? Застарелая личная ненависть к поэту. Именно он был управляющим иностранной коллегией, начиная с 1816 года, и именно он причастен к тому, что за семь лет службы юного Пушкина с 1817 по 1824 годы ни разу вопреки выслуге лет не изменил Пушкину чина, о чём упоминает сам поэт в письме к Бенкендорфу 21 июля 1831 года: «Мой настоящий чин (тот самый, с которым выпущен я был из Лицея), к несчастию, представляет мне препятствие на поприще службы. Я считался в Иностранной коллегии от 1817-го до 1824-го года; мне следовали за выслугу лет ещё два чина, т.е. титулярного и коллежского асессора; но бывшие мои начальники забывали о моём представлении». Напоминаю ещё раз: управляющий иностранной коллегией, который «забыл» о выслуге Пушкина – это именно тот же самый министр иностранных дел России граф Нессельроде, которому, как я полагаю, и было поручено государем бумажное оформление нового звания Пушкину в 1836 году. Нисколько не удивительно, что оно оказалось не только не исполненным, но и «случайно» забытым на два столетия.

Какие подтверждения моей версии можно обнаружить в архивах? Первым, кто прямо и недвусмысленно подтверждает мои предположения, является сам император!

Как известно, после гибели Пушкина царь распорядился о зачислении обоих сыновей покойного в самое привилегированное военное учебное заведение России – Пажеский корпус. Каждому из сыновей его была установлена пенсия в размере 1200 рублей в год.

Следует заметить, что с 1829 года согласно высочайше утверждённым правилам о порядке зачисления в пажи и определения в Пажеский корпус, право зачисления малолетних сыновей в пажи было предоставлено исключительно родителям, относящимся к первым четырём классам табели о рангах. Так вот, четвёртым классом, имевшим такое право, являлись лица в звании камергера. Николай не мог об этом не знать, поскольку Устав Пажеского корпуса и условия приёма в него разрабатывал, подписывал и утверждал лично он, император Николай I, а это, в свою очередь, означает, что правила приёма в Пажеский корпус не нарушались и в этом случае. Своим действием император подтвердил: Пушкин ушёл из жизни в звании камергера, соответствующем по табели о рангах званию генерал-майора.

Второй широко известный факт: во время следствия по делу о поединке Пушкина и Дантеса в суде выступило множество официальных лиц, каждое из которых назвало покойного камергером. Перечислим этих людей: камергером именовали Пушкина и поручик Дантес, и посол Нидерландов барон Луи-Якоб-Теодор ван Геккерн де Беверваард, и секундант покойного подполковник Данзас, и командир

кавалергардского полка генерал-майор Гринвальд, и начальник гвардейской кирасирской дивизии генерал-адъютант Апраксин. Тот же чин камергера фигурирует в секретном рапорте штаба Отдельного гвардейского корпуса генералу Кнорринту от 30 января 1837. И не только 30 января и 19 февраля, но и 11 марта 1837 года командующий отдельным гвардейским корпусом генерал-адъютант Бистром и начальник штаба корпуса генерал-адъютант Веймарн в письме аудиторскому департаменту военного министерства по-прежнему именуют Пушкина камергером.

Итак, зафиксировано официальными документами, что пять генералов, один подполковник, один поручик и посол европейской державы именовали Александра Сергеевича Пушкина камергером, не будучи между собой ни в особой дружбе, ни в сговоре и находясь в здравом уме. Вы понимаете, надеюсь, что такое на пустом месте абсолютно невозможно?! Даже если нет подтверждающего документа! Боевые генералы, такие же педанты, как император, немцы по происхождению и образу мыслей… вдруг коллективно сошли с ума и стали камер-юнкера хором называть камергером? На пустом месте? Даже то, что в официальном приговоре комиссии военного суда от 19 февраля 1837 года Пушкин так же именуется камергером, тоже учитывать не будем? Судьи тоже не разбирались в чинах Пушкина? Я скорее поверю в то, что рехнулись наши доблестные архивисты-пушкиноведы, чем армейские генералы и судьи, современники поэта, для которых чин – не то, что не пустой звук, а едва ли не самая дорогая и важная цель службы!

Ещё один аргумент, который невозможно не заметить: сумасшедшая зарплата простого титулярного советника и камер-юнкера Пушкина. Через 8 месяцев с начала службы Пушкина в МИДе К.В. Нессельроде неожиданно получает указание А.Х. Бенкендорфа о многократном повышении оклада А.С. Пушкина до …5000 рублей в год. Сумма этого оклада семикратно превышала ставку чиновника ранга, по которому официально числился Александр Сергеевич, и соответствовала в те времена окладу заместителя директора департамента.

Напомню о том, как, намекая на бедность Пушкина, зачастую упоминают вот такой отрывок: «В одном из своих писем в 1822 году Пушкин писал: „Правительству угодно вознаграждать некоторым образом мои утраты, я принимаю эти 700 рублей не так, как жалование чиновника, но как паек ссылочного невольника“. 700 рублей в год ассигнациями – таков был оклад Пушкина-чиновника».

Упоминание, конечно, верное, но ведь оно относится не ко всей жизни гения, а только к его молодости, когда он числился кем? Коллежским секретарём. С соответствующим окладом. У генерал-майора тоже есть оклад, но он немножко другой.

Я не призываю верить мне на слово, я приглашаю к совместному размышлению. Мог ли Нессельроде затормозить камергерство Пушкина? Мог, мало того, он именно это и делал ранее как минимум 7 лет подряд. Мог ли государь вопреки Уставу Пажеского корпуса, составленному и утверждённому им, принять в Пажеский корпус детей Пушкина, если это противоречило разработанному им же Уставу? Не мог. Николай был абсолютным педантом в вопросах следования положениям уставов и инструкций, особенно тех, которые были разработаны и утверждены им лично. Могли ли семеро взрослых серьёзных господ, из которых пятеро – генералы, просто так по своему взбалмошному желанию называть Пушкина камергером? Нет, не могли, для военных чины и звания – та «священная корова», которую ни при каких обстоятельствах нельзя трактовать вольно. Часто ли камер-юнкерам платят зарплату камергеров? Никогда не платят. Выводы делайте сами. Моё предположение: во второй половине 1836 года, возможно, во время ноябрьской секретной встречи государя с поэтом в присутствии Бенкендорфа было принято устное решение о возведении Пушкина в звание камергера (а выслуга лет по службе, как мы это выяснили, такое позволяла) в обмен на некоторые условия. Например, на взятие с него клятвенного обязательства не участвовать в дуэлях и не делать никому вызовов. Кстати, поэт выполнил это условие в полной мере: на дуэль он больше никого не вызвал.

Ещё один аргумент, основанный на элементарной логике: мог ли посол иностранной державы бросить вызов простому камер-юнкеру в чине девятого класса по табели о рангах? Ну, конечно, королевские послы в Санкт-Петербурге только тем и занимались, что вызывали на дуэли кого угодно, особенно дворников. Моё предположение: ни в коем случае ни один посол никакой страны не стал бы вызывать на дуэль лицо, находящееся в отношении него на несопоставимо низкой общественной и чиновной ступени. Чтобы посол иностранной державы вызвал вас на дуэль, вы должны быть как минимум генералом! Хотя, конечно, за всех послов в мире ручаться нельзя.

Ещё один аргумент в пользу гипотезы о фактическом звании Пушкина на момент его ухода из жизни – посмертные почести, оказанные императором: вдове Пушкина сроком до её повторного замужества и дочерям так же до замужества были учреждены пенсии. За счёт казны была погашена ссуда А. Пушкина в размере 45000 рублей. Для того, чтобы напечатать сочинения поэта, его вдове было выдано единовременное пособие в размере 50000 рублей, с условием направления прибыли от продажи на учреждение капитала покойного. О Пажеском корпусе и сыновьях Александра Сергеевича я уже упоминал. Плюс: все долги Пушкина были погашены государственной казной и единовременно семье покойного выплачено 10000 рублей…

За что?! Просто из любви императора к русской литературе и сочувствия к покойному??? Извините, но это – детский лепет, а не реальный ответ на вопрос. Никакой сверхлюбовью к русской литературе никто из династии Романовых за все 300 с небольшим лет их правления не отличался. Тем более – такой абсолютно приземлённый прагматик, как Николай Павлович!

Наш современник Анатолий Клепов в своей работе «Смерть А.С. Пушкина. Мифы и реальность» так комментирует эту ситуацию: «…государственная служба А. Пушкина составляла меньше 10 лет. И ему вообще не полагалась никакая пенсия. Это могло произойти только в одном случае. Если государственный чиновник погиб на служебном посту, выполняя особое задание самого императора! Только тогда вне зависимости от срока прохождения государственной службы полагалось начисление пенсии в размере последнего оклада погибшего чиновника, а также денежная компенсация вдове и ближайшим родственникам погибшего. В принципе, и в настоящее время происходят аналогичные выплаты в случае внезапной гибели государственного служащего.

И в настоящее время если государственный чиновник, занимающий крупные государственные должности, погибает во время выполнения своих служебных обязанностей, то его семье государство выплачивает крупные единовременные пособия в зависимости от его оклада.

Могла ли быть выдана такая высокая пенсия государственному служащему, который осмелился нарушить законы российского государства путём участия в запрещённой законом дуэли? А потом после дуэли фактически был осуждён судом! Конечно, нет. Строгие законы российской империи полностью исключали это. И только вмешательство Николая I, который знал об истинных целях дуэли А. Пушкина… позволило законодательно приравнять гибель А. Пушкина на дуэли к гибели государственного служащего, выполняющего особые поручения императора». Об истинных целях дуэли! То есть истинная цель поединка не имела абсолютно никакого отношения к выдуманной для публики якобы любовной истории.

РЕЗЮМЕ

Итак, подытоживаю аргументы, указывающие на то, что в посмертной справке о звании Пушкина не всё так стройно и красиво, как в головах множества официальных пушкиноведов:

– право зачисления малолетних сыновей в пажи предоставлялось исключительно родителям, относящимся к первым четырём классам табели о рангах; низшим четвёртым классом, имевшим такое право, являлись лица в звании камергера; правила разрабатывал и утверждал лично император, абсолютный педант и перфекционист… безоговорочно принявший в Пажеский корпус обоих сыновей Пушкина;

– русский генералитет, ни в какие времена не страдавший массовым помутнением сознания, секундант поэта и даже его откровенные враги Дантес и барон Геккерен на суде по поводу поединка и письменно, и устно, не сговариваясь, называли покойного камергером;

– мог ли прямой высший руководитель Пушкина министр иностранных дел Нессельроде вопреки устному указанию императора тормозить письменное оформление указа о назначении Пушкина камергером? Не только мог, но и проделывал подобное раньше на протяжении семи лет (!!!), о чём есть свидетельство от самого Пушкина в письме Бенкендорфу;

– аномально высокая зарплата простого титулярного советника и камер-юнкера Пушкина в сравнении с обычными титулярными советниками и камер-юнкерами;

– вызов на дуэль со стороны посланника королевского двора Нидерландов якобы простому камер-юнкеру, несопоставимый с точки зрения логики посольской должности;

– посмертные почести покойному и выплаты его семье, соразмерные только с почестями государственному служащему, погибшему на служебном посту.

В целом, совокупность подобных противоречащих официальной версии многочисленных эпизодов лично у меня вызывает недоверие к укоренившейся в пушкиноведении точке зрения. Если вам вопреки любой логике на основании канцелярской отписки двухсотлетней давности упорно навязывают мысль о том, что Пушкин был камер-юнкером, вероятно, это до сих пор кому-нибудь нужно? Или просто так легче жить, когда головой думать не надо, достаточно сослаться на явную отписку?

СКОЛЬКО ДУЭЛЕЙ БЫЛО В ЖИЗНИ ПУШКИНА?

В бесчисленном количестве произведений и статей, посвящённых Александру Сергеевичу Пушкину, упоминается о том, что Пушкин был изрядным дуэлянтом, устраивавшим дуэли по любому пустячному поводу. Этакая вздорная агрессивная личность. Количество дуэлей Пушкина сосчитано – 29. Двадцать девять дуэлей в жизни человека, прожившего всего 37 лет!

Получается, в среднем по одной дуэли в год, начиная с восьмилетнего возраста? Ой ли? Нет ли здесь перебора в подсчёте? Конечно, есть! Начинаю выяснять, в чём дело: 24 так называемые «дуэли» были назначены, но отменены. По моему глубокому убеждению, называть дуэлью то, чего не было, некрасиво

и пахнет дешёвым желанием сенсации со стороны биографов. Итак, констатируем – то, чего не было, называть дуэлью нельзя. Вычеркиваем из якобы «послужного» списка «дуэлянта» Пушкина 24 дуэли из 29. Остаётся пять, четыре из них случились в 1819 (одна) и в 1822 (три) годах. То есть, когда поэт был ещё очень молод и горяч.

В двух из них Пушкин стрелять отказался, а в двух других дуэлянты намеренно стреляли мимо. Оно и понятно: решения о дуэли принимались в состоянии алкогольного опьянения по поводам, не стоившим, честно говоря, и выеденного яйца. К моменту проведения дуэли обе стороны уже трезвели и начинали осознавать вздорность и нелепость ситуации в сравнении с реальной ценностью своей и чужой жизни.

Фактически во всех четырёх случаях дуэли были лишь условно обозначены и… дуэлями тоже не являлись. Остаётся единственная дуэль – с Дантесом. Но. Юридически поединок может называться дуэлью только в том случае, если был вызов на дуэль. Однако Пушкин Дантеса на дуэль не вызывал, и Дантес Пушкина – тоже. Следовательно, между ними состоялся вооружённый поединок, который называть дуэлью юридически невозможно, ибо сражались стороны, не вызывавшие друг друга на поединок.

Вывод: в жизни Пушкина не было ни одной реальной дуэли. Вообще ни одной.

А БЫЛА ЛИ ДУЭЛЬ С ДАНТЕСОМ?

Никакой дуэли между Пушкиным и Дантесом ни в 1837 году, ни раньше не было. Возможно, кто-то удивится моему утверждению, но оно – чистая правда. Что такое дуэль? Обратимся к самым уважаемым словарям, определяющим понятие слова «дуэль».

Толковый словарь Даля: «Дуэль – единоборство, поединок; вообще принято называть дуэлью условный поединок, с известными уже обрядами, по вызову». Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова (1935-1940): «Дуэль, и, ж. [фр. duel]. Поединок, происходящий по определенным правилам, сражение между двумя противниками по вызову одного из них». Большая советская энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия (1969-1978): «Дуэль (франц. duel, от лат. duellum – война) – поединок, бой (с применением оружия) между двумя лицами по вызову одного из них. Условия Д. заранее устанавливались противниками или их представителями (секундантами) с соблюдением обычаев. Наиболее распространена была в средние века, хотя формально запрещалась и была наказуема». Во всех вышеперечисленных уважаемых словарях указано одно и то же неизменное условие, делающее поединок между двумя сторонами, между обидчиком и обиженным именно дуэлью: вызов. Дуэль – это поединок, на который одна сторона вызывает другую и (непременное условие!) сама лично участвует в поединке.

Как известно, Пушкин в январе 1837 года никуда Дантеса не вызывал, ни на какую дуэль. Более того, он вообще никого на дуэль не вызывал. Никого! Дантес Пушкина тоже не вызывал на дуэль. Ни в 1837 году, ни раньше. Вообще никогда. Дуэльный вызов исходил от голландского посланника барона Геккерна. Но сам Геккерн никакого личного участия в поединке не принимал. Он вообще сидел дома. Следовательно, ни о какой дуэли речи идти не может. Состоялся поединок, на который ни одна из противоборствующих сторон другую не вызывала!

«Погодите, – тут же заявит кто-нибудь, – но Жорж Дантес как бы заменил собой престарелого приёмного отца – барона». Однако совсем не зря в словарях неоднократно упоминается о том, что дуэль – это очень специфический поединок, исполняемый в точном соответствии с известными установленными обычаями, то есть абы как она проводиться не может и абы что дуэлью называть нельзя.

О правилах, позволяющих именовать поединок сторон дуэлью, было хорошо известно всему светскому обществу пушкинской эпохи. Замена одного участника дуэли на другого возможна лишь в исключительных специальных случаях, оговоренных кодексом. Никакого своеволия в таких случаях быть не может. Правила эти легли в основу многократно опубликованного «Дуэльного кодекса» и были хорошо известны дуэлянтам восемнадцатого и девятнадцатого веков. Обратимся к некоторым его статьям. Итак, о чём гласит кодекс по поводу обоснованности замены дуэлянтов перед поединком?

«Личный характер оскорблений и случаи замены»

«Статья 58. Оскорбления имеют личный характер и отомщаются лично.

59. Замена оскорблённого лица другим допускается только в случае недееспособности оскорблённого лица, при оскорблении женщин и при оскорблении памяти умершего лица.

60. Заменяющее лицо всегда отождествляется с личностью заменяемого, пользуется всеми его преимуществами, принимает на себя все его обязанности, имеет законное право совершать все те действия, которые совершил бы заменяемый в случае своей дееспособности.

61. Недееспособность для права замены определяется следующими положениями:

1) заменяемый должен иметь более 60 лет, причём разница в возрасте с противником должна быть не менее 10 лет. Если физическое состояние заменяемого даёт ему возможность лично отомстить за полученное оскорбление, и если он на то изъявляет своё согласие, то он имеет право не пользоваться правом замены;

2) заменяемый должен иметь менее 18 лет:

3) заменяемый должен иметь какой-нибудь физический недостаток, не позволяющий ему драться как на пистолетах, так и на шпагах и саблях;

4) неумение пользоваться оружием ни в коем случае не может служить поводом для замены или отказа от дуэли».

Обратили внимание на то, в каких случаях на дуэли возможна замена одного бойца другим? Барону явно больше 18 лет, поэтому пункт 2 отпадает. У барона не было физических недостатков, не позволявших ему драться на пистолетах. Посол Нидерландского королевства дееспособен, иначе он не занимал бы такую должность. «Неумение пользоваться оружием ни в коем случае не может служить поводом для замены или отказа от дуэли». Что остаётся? «Заменяемый должен иметь более 60 лет, причём разница в возрасте с противником должна быть не менее 10 лет». Однако Луи-Якоб-Теодор ван Геккерн де Беверваард родился 28 ноября 1792 г. На момент вызова им Пушкина на дуэль барону было чуть больше 44 лет. До 60 не хватает 16 лет. Пушкину 37,5 лет. Разница в годах с бароном – явно меньше 10 лет. Кстати, сторонникам версии о том, что барон Геккерн не мог стреляться с Пушкиным по причине большой разницы в возрасте – 7 лет, мне бы хотелось задать вопрос: а разница в возрасте между Пушкиным и Дантесом в 13 лет вас никак не смущает?

Таким образом, поскольку вызывавший на дуэль не имел ни одного повода для неявки на неё, и всё же – не явился, формально – никакой дуэли не было! А что было? То, что называется и называлось всегда подлостью, трусостью и подставой. Вызвал на дуэль? Будь любезен – стреляйся. Не стреляешься? Заменяешь себя другим? Да, Вы, батюшка – подлец! И подлец изрядный! Совершено убийство – сознательно спланированное уголовно наказуемое преступление.

Ниже перед вами условия поединка между Пушкиным и Дантесом, на которых он состоялся. Обратите внимание на то, что в нём нигде не упоминается слово «дуэль». Его там нет. Условия поединка составлял виконт де Аршиак, и, похоже, что Пушкин согласился с ними, не ознакомившись толком с содержанием текста…

«1. Противники ставятся на расстоянии 20 шагов друг от друга и 10 шагов от барьеров, расстояние между которыми равняется 10 шагам.

2. Вооружённые пистолетами противники, по данному знаку идя один на другого, но ни в коем случае не переступая барьера, могут стрелять.

3. Сверх того принимается, что после выстрела противникам не дозволяется менять место, для того чтобы выстреливший первым подвергся огню своего противника на том же самом расстоянии.

4. Когда обе стороны сделают по выстрелу, то в случае безрезультатности поединок возобновляется как бы в первый раз, противники ставятся на то же расстояние в 20 шагов, сохраняются те же барьеры и те же правила.

5. Секунданты являются непосредственными посредниками во всяком отношении между противниками на месте.

6. Секунданты, нижеподписавшиеся и облечённые всеми полномочиями, обеспечивают, каждый свою сторону, своей честью строгое соблюдение изложенных здесь условий».

Вызов Пушкину делает барон Геккерн, поскольку именно он обращается с письмом к Пушкину, а не Дантес. Но вместо себя барон отправляет на поединок Дантеса. Вот как об этом сказано в письме: «Мне остаётся только предупредить вас, что г. виконт д'Аршиак отправляется к вам, чтобы условиться относительно места, где вы встретитесь с бароном Жоржем Геккерном, и предупредить вас, что эта встреча не терпит никакой отсрочки». В конце письма расписка Дантеса о том, что он прочитал и одобряет содержание письма. Это означало лишь то, что он согласен исполнить миссию, порученную ему Геккерном. Никакого вызова лично от Дантеса Пушкину в этом по сути нет.

Отправить вместо себя на поединок другого – бесчестно, поскольку означает нарушение дуэльного кодекса, что равносильно отказу от дуэли. Что если бы в ответ Пушкин отправил на дуэль просто какого-нибудь очень меткого стрелка? Ему же и в голову такое не пришло. Он почему-то сам поехал на Чёрную речку… Обратите внимание на то, что пишет барон: «…эта встреча не терпит никакой отсрочки». Он торопит свою жертву, давит на его благородство, не оставляя времени на размышление о том, что вместо себя можно противопоставить Дантесу такого же снайпера, как тот.

Мы уже имели возможность убедиться в том, что у Пушкина никакого дуэльного опыта на самом деле не было. 24 раза не состоявшиеся отменённые пушкинские дуэли считать опытом – несерьёзно. Из остальных четырёх случаев, произошедших в пору юности (15 и 18 лет назад) в двух случаях Пушкин отказался стрелять, а в двух других сознательно выстрелил мимо, и дуэлянты помирились…

А что его противник Дантес?

Любовник барона Геккерна, усыновлённый за мзду в возрасте 24 лет при живом отце ради утех старого развратника, Жорж Дантес, исполнил роль убийцы Пушкина, вернулся во Францию, внезапно разбогател и сделался сенатором. О подробностях интимных отношений «папули» и «сыночка» свидетельствует их

красноречивая и недвусмысленная переписка. Я не буду её здесь цитировать, мне это противно: те читатели, которым приятны пикантные подробности из жизни педерастов, легко могут найти их в интернете.

Отмечу другое, ко времени появления в России за плечами Дантеса была специальная подготовка в знаменитом военном училище Сен-Сир, где он стал чемпионом Франции в стрельбе по движущимся летящим мишеням – по голубям. Выстрелить сходу, не останавливаясь, навскидку и попасть в цель для Дантеса как для первоклассного снайпера не составляло никаких особых проблем…

Мало того, дабы не оставлять поэту даже теоретических случайных шансов на успех, он выстрелил первым, не дойдя до барьера.

Ответный выстрел. Попробуйте прицелиться и попасть в противника из пистолета весом около килограмма, если вы лежите на снегу, истекая кровью, с раздробленным пулей позвоночником и вспоротыми кишками. При этом противник стоит к вам боком, прикрывая грудь пистолетом, а пороха в вашем пистолете так мало, что ваш выстрел заведомо не способен нанести сколько-нибудь серьёзный урон. Так и случилось. По свидетельству Данзаса поручик Дантес «стоял боком, и пуля, только контузив ему грудь, попала в руку». В.А. Жуковский уточняет: «…пуля пробила руку и ударилась в одну из металлических пуговиц мундира». Пулю остановила пуговица!

По свидетельству Данзаса, «Пушкин был ранен в правую сторону живота: пуля, раздробив кость верхней части бедра у соединения с тазом, срикошетила, глубоко войдя в живот и остановившись в брюшной полости…».

Если бы Пушкин стоял перед Дантесом прямо, то такое попадание в правую сторону тела поэта могло означать одно: Дантес стреляет левой рукой, однако Дантес левшой не был. В таком случае, это означает, что Пушкин стоял к Дантесу не прямо, а выставив вперёд правую ногу и целясь в противника. Именно поэтому пуля Дантеса вошла в правую сторону его визави.

Напоследок ещё раз обращаю ваше внимание на двуличие барона Геккерна. Перед вами начало подлинного письма Геккерна Пушкину (из книги Павла Елисеевича Щеголева «История последней дуэли Пушкина»): «Милостивый государь! – писал барон Геккерн. – Не зная ни Вашего почерка, ни Вашей подписи, я обратился к виконту д'Аршиаку, который передаст Вам это письмо, с просьбой удостовериться, точно ли письмо, на которое я отвечаю, от Вас».

Явная ложь! Геккерн пишет, что не знает ни подписи, ни почерка Пушкина, а тремя строками ниже, упоминая о письме с отказом от вызова, он говорит, что это письмо, писанное рукою Пушкина, налицо: значит, почерки подпись Пушкина были ему знакомы, и удостоверяться в подлинности письма Пушкина от 26 января было делом лишним.

«Содержание письма, – продолжал Геккерн, – до такой степени переходит всякие границы возможного, что я отказываюсь отвечать на подробности этого послания». – Но менее всего Пушкин хотел бы объяснений Геккерна! – «Мне кажется, вы забыли, милостивый государь, что вы сами отказались от вызова, сделанного барону Жоржу Геккерну, принявшему его. Доказательство того, что я говорю, писанное вашей рукой, налицо и находится в руках секундантов. Мне остается только сказать, что виконт д'Аршиак едет к вам, чтобы условиться о месте встречи с бароном Геккерном; прибавляю при этом, что эта встреча должна состояться без всякой отсрочки. Впоследствии, милостивый государь, я найду средство научить вас уважению к званию, в которое я облечён и которое никакая выходка с вашей стороны оскорбить не может». Под письмом, кроме подписи барона Геккерна, находится ещё надпись Дантеса: «Читано и одобрено мною».

Из письма явно следует, что вызов исходит от барона Геккерна, а не от Дантеса, и что Дантес не делает Пушкину никакого вызова, но одобряет вызов, сделанный его любовником. То же подтверждается и запиской Пушкина д'Аршиаку «Так как г. Геккерн – обиженный, и вызвал меня, то он может сам выбрать для меня секунданта, если увидит в том надобность: я заранее принимаю всякого, если даже это будет его егерь». Из записки Пушкина следует, что он тоже верно понимал ситуацию, что дуэльный вызов исходит от посла Нидерландского королевства, а не от поручика Дантеса.

Если бы на месте Пушкина был иной человек, не с благородным сердцем поэта, то, возможно, он мог бы ответить, что раз вызывающий отправляет на смертельный поединок другого человека, то и он имеет полное право заменить своё присутствие и участие в поединке другим человеком, например, любым искусным снайпером – добровольцем, который гарантированно пристрелил бы Дантеса. Но в том-то и дело, что Пушкин не мог поступить так же подло, как Геккерн… хотя, если честно, после поступка барона имел на это полное моральное право.

Ещё два слова по поводу морального облика условно «старого» (в 44 года) Геккерна. Задайте сами себе вопрос: если вы любящий отец, отправите ли вы вместо себя (!!!) на смертельно опасный поединок своего сына? Однозначно нет. Ни один отец этого не сделает. Отправляющий вместо себя на смерть своего сына – не отец ему. Для меня как отца двух сыновей и двух дочерей подобное невозможно ни по какой причине! Я полагаю, что не только для меня, но и для любого любящего родителя.

И последнее. Можно ли доверять утверждениям барона Геккерна, если 11 февраля 1837 года он сообщает барону Верстолку: «Жоржу (Дантесу) не в чем себя упрекнуть; его противником был безумец,

вызвавший его без всякого разумного повода; ему просто жизнь надоела, и он решился на самоубийство, избрав руку Жоржа орудием для своего переселения в другой мир»?

Мы только что читали письмо-вызов Геккерна Пушкину, а теперь читаем, как он лжёт другим о том, что вызов на дуэль делал не он, а Пушкин, и вызывал не его, а Дантеса. Выводы о цене словам этого мерзавца делайте сами.

КОГО ЛЮБИЛА ЖЕНА ПУШКИНА?

Ни у кого из пушкинских современников ни на йоту не возникало и тени сомнения в искренней ненависти поэта к голландскому послу Геккерну и его приёмному сыну Дантесу. Причём, к послу – в не меньшей степени, чем к его взрослому «приёмышу».

По самой распространённой версии причиной тому были распространяемые ими слухи о якобы весьма лёгком поведении супруги поэта. То, что этим пакостным делом промышляют именно они, у Александра Сергеевича не вызывало ни малейших сомнений. Почему? Перечислим аргументы, повлиявшие на мнение поэта.

1. Адресаты пасквиля.

Информация о пасквиле в виде диплома рогоносца была распространена не среди всего высшего придворного света, а среди весьма узкого и точно определённого круга лиц. Сколько всего экземпляров пасквиля было составлено? «Я занялся розысками, – писал поэт 21 ноября 1836 года Бенкендорфу. – Я узнал, что семь или восемь человек получили в один и тот же день по экземпляру того же письма, запечатанного и адресованного на моё имя под двойным конвертом». Время показало, что Пушкин был прав. Многолетние разыскания биографов не прибавили к перечисленным семи адресатам ни одного нового. Кому именно были разосланы пасквили на Пушкина? Его получили сам Пушкин, Вяземские, Карамзины, Виельгорский, В.А. Соллогуб (на имя своей тёти А.И. Васильчиковой, в доме которой он жил), братья Россеты и Е.М. Хитрово. К тому времени, когда Пушкин обратился к Бенкендорфу, он твёрдо знал, что письма были разосланы только по этим адресам.

Почему пасквили попали именно к ним? Нет ли чего-то, что объединяло бы между собой всех этих людей? Есть! Круг адресатов не был случайным. А.И. Тургенев, упомянув об анонимных письмах, тут же отметил, что они были посланы не всем подряд, а «Пушкину и его приятелям». И не просто приятелям, нет! Все, кто получил 4 ноября 1836 года анонимные письма, были завсегдатаями одного дома – дома Карамзиных. Всё это говорит о том, что организатор интриги с анонимными письмами был как-то связан с карамзинским салоном. Ещё Соллогуб заметил это и писал: «…письма были получены всеми членами тесного карамзинского кружка». Почти всеми. Кроме одного. Кого из активно посещавших дом Карамзиных нет в списке получателей пасквиля на Пушкина? В этом списке отсутствует только одно имя: Дантес. Именно он был тем, кто прекрасно знал всех прочих посетителей дома Карамзиных, знал адреса каждого из них и сам постоянно бывал в этом доме. Почему его нет среди получателей пасквиля в таком случае? Уж не потому ли, что автор пасквиля попросту не догадался (или поленился?) ради маскировки своей подлости направить свой пасквиль самому себе?

2. Готовое клише.

Что представлял из себя текст пасквиля? Текст этого шутовского диплома, извещающего о принятии в члены «Ордена рогоносцев», представляет собой своего рода готовое клише, куда могли быть вставлены имена любых неугодных авторам клише персон. Я подчёркиваю ещё раз этот момент: в дипломе на месте фамилии Пушкина могла фигурировать любая неугодная фамилия! Почему? Потому что это – стандартное клише. Единственной конкретизирующим словом в тексте пасквиля является слово «историограф». Более – ничего конкретного нет. Обращаю ваше внимание на уже упомянутый мной фрагмент письма Пушкина Бенкендорфу, в котором поэт писал: «Не смею и не желаю взять на себя звание Историографа после незабвенного Карамзина…». Об этом эпизоде в биографии Пушкина безусловно были хорошо осведомлены все участники «карамзинского кружка» плюс министр иностранных дел Нессельроде, всячески уходивший от обязанности платить жалование Пушкину как историографу семьи Романовых, несмотря на прямое указание императора.

3. Главная цель пасквиля.

А теперь обратим внимание на сам текст «шутовского диплома»: «Полные кавалеры, Командоры и кавалеры Светлейшего Ордена Всех Рогоносцев, собравшихся в Великом Капитуле под председательством достопочтенного Великого Магистра Ордена Его Превосходительства Д.Л. Нарышкина, единодушно избрали господина Александра Пушкина коадъютором Великого магистра Ордена Всех Рогоносцев и историографом Ордена. Непременный секретарь граф И. Борх». Если убрать слова «историографом Ордена», то вместо Александра Пушкина можно свободно вписывать любую фамилию – Иванова, Петрова, Сидорова или Васи Пупкина. Потому что это – стандартное клише. Если дать себе право взвешенно подумать, то любой здравомыслящий человек способен догадаться о том, что основной целью этого

клише является вовсе не Пушкин, а фигура, гораздо более ненавидимая и значимая для сочинителей «шутовского диплома» – русский император Николай Первый.

О том, что напрашивается именно такой вывод, понимал и Александр Сергеевич, обратившийся через Бенкендорфа напрямую к царю. И царь принял его. Естественно, он принял поэта вовсе не из-за намёков на поведение супруги Пушкина или из-за их внутренних семейных разборок, которых, кстати, между супругами так и не произошло. В данном случае дело касалось попытки запятнать имя государя! Поэтому встреча поэта и императора, состоявшаяся поздней осенью 1836 года, возможно в присутствии Бенкендорфа, а, может быть, и вовсе тет-а-тет, была настолько секретной, что о ней долгое время не догадывались даже самые ушлые пушкиноведы. Но она была! Она реально состоялась, поскольку некоторые дальнейшие поступки Пушкина без имевшего места факта такой встречи и устных договорённостей между Николаем Павловичем и Александром Сергеевичем… объяснить невозможно.

Почему напрашивается такой вывод? Такой вывод следует из текста пасквиля. Истории Дмитрия Львовича Нарышкина и Иосифа Борха были хорошо известны не только в русском великосветском обществе, но и при всех дворах западноевропейских государств, а уж в дипломатических кругах – в особенности. Жена Дмитрия Львовича Нарышкина, обер-егермейстера двора Александра I, Мария Антоновна, фактически официально 14 лет кряду была фавориткой покойного императора, а потом сбежала с флигель-адъютантом государя в Париж – и от императора, и от мужа-рогоносца. Иосиф Борх – тщеславный, но бедный и лишённый каких бы то ни было талантов мелкий чиновник, женился по расчёту на Любови Голынской – женщине богатой, красивой, но легкомысленной. Двору было угодно, чтобы она украшала балы в Аничковом дворце. Для этого её мужу Борху в апреле 1832 года было присвоено низшее придворное звание камер-юнкера, тогда же его произвели в должность протоколиста. В апреле 1835 года последовало новое повышение Борху – чин титулярного советника. Такая внезапная и ничем не заслуженная карьера была вызвана причинами, хорошо известными всему Петербургу – Любовь Борх сожительствовала с императором, а её муж Иосиф – с министром Уваровым.

Написать подобный пасквиль русскому подданному было бы чревато не безобидной высылкой из страны, как с иностранцами, а ссылкой в Сибирь и содержанием в кандалах. Почему? Да потому, что пасквиль явно порочил семью императора и его лично! В первую очередь его, а не Пушкина! Пушкина тоже, но во вторую или даже в третью – после Борха… Вот о чём император безусловно мог согласиться (и согласился!) выслушать Пушкина.

4. Бумага.

Уже 8 ноября 1836 года вечером, будучи на именинах у своего лицейского товарища М.Л. Яковлева, Пушкин выяснил, что бумага, на которой были написаны анонимные письма, иностранного производства, а так как она облагалась высокой пошлиной, Яковлев уверенно заявил, что она могла быть привезена в Петербург только кем-то из дипломатов. Сведениям, полученным от Яковлева, директора типографии и профессионального знатока бумаги, Пушкин, безусловно, мог доверять.

Из воспоминаний Соллогуба известно, что в 1836 г. кто-то из иностранных дипломатов доставил в Петербург из Вены печатные образцы подобных шутовских «дипломов». Это подтверждает версию о том, что текст пасквиля был сочинен не русскими подданными и не в России. В сочинённое за пределами России стандартное клише можно было вписать любое имя русского человека, неугодного иностранному государству. Кроме того, учитывая имена Нарышкина и Борха, упомянутые в тексте, можно смело утверждать, что главной мишенью пасквилянтов являлась императорская семья, а главной целью – откровенная дискредитация и уничижение репутации российского императора в глазах мирового сообщества.

Таким образом, Пушкину становится ясно, что шутовские «дипломы» были преднамеренно завезены в Россию из Австрии либо вместе с дипломатическим багажом, либо с дипломатической почтой. Уже сами по себе эти действия можно было расценивать как исключительно враждебный акт против Российского государства со стороны «западных партнёров». Не следует забывать и того, что в самом русском правительстве министр иностранных дел Нессельроде, друг Геккернов, всячески поддерживал политику австрийского двора в России. Пушкин мешал им всем своим существованием, хотя бы потому, что безусловно представлял интересы русского народа.

5. Виновники пасквиля.

Пушкин давно догадывался об интригах, которые плелись вокруг его супруги семейкой педерастов Геккернов, знал и о несостоявшемся свидании, и об уязвлённом самолюбии Жоржа Дантеса, знал о шантаже и прямых угрозах обоих Геккернов его жене. Кстати, замечу, что пасквиль появился в доме Пушкина не абы когда, а в очень знаменательный момент. На второй день после полного фиаско Дантеса в глазах Натальи Николаевны.

Итак, кто же мог осуществить провокацию с пасквилем на семью императора, на самого императора, а заодно и на семью Пушкина? По всем признакам: иностранец, ненавидящий Россию… Этот человек поимённо и адресно знал всех членов узкого круга близких друзей Пушкина и дома Карамзиных. Человек, воспользовавшийся для пасквиля стандартным клише, завезённым из-за границы. Человек, имею-

щий в достаточном количестве дорогостоящую бумагу, изготовленную за границей и не имевшуюся на тот момент в России в свободной продаже. Человек, сообщивший Пушкину о том, что он рогоносец, на следующий день после того, как Наталья Николаевна откровенно и однозначно дала понять Дантесу, что его ухаживания, намёки и приставания бесполезны. Вам подсказать имя или сами догадаетесь?.. Кстати, титул барона Геккерну присвоил Наполеон… Да-да!! Тот самый французский агрессор. Вскоре после бурных событий начала 1837 года, когда присутствие Геккернов в России было сочтено неуместным, бывший нидерландский посол переехал в Вену и работал там с июня 1842 года до октября 1875 года полномочным представителем при австрийском императорском дворе. В той самой стране, из которой в 1836 году в Россию прибыли подготовленные и отпечатанные шаблоны пасквилей…

Однажды Александр Сергеевич на вопрос своего друга-лицеиста о том, где он служит, ответил просто и ёмко: «Я числюсь по России». «Числиться по России» в устах поэта означало «беззаветно служить своему Отечеству». Крылатая фраза Евгения Евтушенко «Поэт в России – больше, чем поэт» известна давно.

Кстати, более всего это заметно иностранцам, людям со стороны. Как метко сказала одна итальянская исследовательница пушкинского наследия: «Россия – единственная в мире страна, которая не перестаёт скорбеть по своим поэтам… Только в России убийство Поэта равно Богоубийству».

Яростная ненависть Пушкина по отношению к Дантесу и Луи Геккерну известна, однако, если бы причиной такой ненависти действительно была именно ревность обманутого мужа, то зная африканский характер поэта, можно было бы без труда предположить, что и на Наталье Николаевне ярость мужа так или иначе, но отразилась бы сполна. Однако подобного со стороны поэта к своей жене почему-то не наблюдалось. Ни одного упрёка. И с её стороны – никаких заявлений и утверждений. Получается, что Пушкин не ревновал свою любимую жену ни к кому, поскольку полностью ей доверял!

Существует множество памятников Александру Сергеевичу Пушкину. Воздвигнуты они по всему миру – в разных городах и странах. Образ поэта изображен в них так, как представляют его читатели, а в первую очередь скульпторы. Пушкин – вдохновенный романтик, задумчивый, мечтательный, влюблённый… Но нет среди них одного: Пушкин – любящий муж, защитник и утешитель в печали…

В воскресенье 24 января 1837 года, за считанные дни до трагической гибели поэта, квартиру Пушкиных посетил русский этнограф-фольклорист и палеограф Иван Петрович Сахаров со своим знакомцем Якубовичем. Естественно, что им кто-то открыл дверь, естественно, что хозяев дома предупредили о визитёрах, тем не менее, гости застали хозяев не встречающими их, а находящимися в том положении, в каком они пребывали перед их приходом. То есть для Пушкина и его жены то общение, которое происходило между ними, на этот момент было настолько важным, что они предпочли не прерывать его даже в виду появления сторонних людей.

Вот что вспоминает по этому поводу Иван Петрович Сахаров: «… приходили мы, я и Якубович, к Пушкину. Пушкин сидел на стуле; на полу лежала медвежья шкура; на ней сидела жена Пушкина, положа свою голову на колени к мужу. Это было в воскресенье. А через три дня уже Пушкин стрелялся». Сцена описана так, что не возникает ни малейшего сомнения в её реальности. Именно так и было. И это тот самый случай, когда не нужно никаких речей для того, чтобы любой мыслящий человек мог уяснить для себя некоторые аспекты семейных взаимоотношений Пушкиных в период, непосредственно предшествующий дуэли и смерти поэта.

Первое, это абсолютное доверие между мужем и женой. Только в таких случаях возможна именно такая сцена. Второе, между супругами нет никакого конфликта. Наталья Николаевна сидит на полу, на медвежьей шкуре, голова её – на коленях мужа. Это красноречиво говорит о том, что Александр Сергеевич любил свою супругу далеко не безответно, что и она – явно любила его, именно его, что бы ни утверждали о ней придворные сплетники и сплетницы.

Третье, несмотря на то, что трагическая развязка уже очень близка, в этой семье нет и тени разлада, который можно было бы предполагать, основываясь на досужих слухах. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать: такая сцена, явившаяся очам невольных её свидетелей, более чем красноречиво указывает на отсутствие внутренних противоречий в отношениях супругов и подчеркивает их духовное единение. Более того, в данном случае супруга ищет защиты и успокоения у своего мужа. И муж её понимает, любит и гарантирует ей свою защиту от кого угодно и чего угодно. Об этом говорит его поза сидящего на стуле – с головою жены, доверчиво покоящейся на его коленях.

При всём этом следует не забывать о том, что днём раньше произошло свидание Натальи Николаевны и Дантеса. По его настоятельной просьбе, основанной на выдуманной им же якобы грозящей опасности её родной сестре Екатерине. Только тревогой и заботой о судьбе старшей сестры было вызвано вынужденное согласие Пушкиной на тайное рандеву. Однако, едва обман Дантеса стал понятен Наталье Николаевне, она сейчас же прервала свидание, возвратилась домой и обо всем сообщила мужу, от которого и прежде не имела привычки скрывать что-либо, к превеликому огорчению бесчисленных светских сплетников, а в особенности, господина барона Геккерна.

Обязанность любящего мужа – выслушать супругу, утешить её и защитить. Пушкин – защитник и утешитель. Сцена, представшая глазам Сахарова и Якубовича в воскресный день 24 января, на мой взгляд, очевидно, заслуживает того, чтобы увековечить её хотя бы в одном из многочисленных памятников поэту. Как я неоднократно упоминал в прежних своих работах: Пушкин, выйдя на дуэль у Чёрной речки, защищал не только честь своей семьи, но в первую очередь честь России.

Понимала ли Наталья Николаевна истинное величие своего мужа, его значение не только для русской литературы, но и для российской истории? Вероятно, да. Есть одна известная деталь семейной жизни Пушкиных, которая, на мой взгляд, наводит именно на такую мысль. Все жёны (да и все мужья) в личной жизни, как правило, называют друг друга некими ласковыми именами или прозвищами, например, «зайка», «лапушка»… Или же обращают само имя в его уменьшительно-ласкательную форму: Владимир – Володя, Николай – Коля, Светлана – Лана, Анна – Нюша и так далее. Естественно было бы по аналогии предположить, что жена Александра Сергеевича называла его Сашей, Шурой, Саней или ещё как-то примерно так.

Однако, по свидетельствам современников, Наталья Николаевна никогда так не обращалась к супругу, хотя тоже называла его по-особенному, просто и ёмко – «Пушкин». Когда я узнал об этом впервые, меня это возмутило: помилуй Бог, что за казёнщина? Однако со временем моё понимание такого поступка изменилось. Для Натальи именем любимого и самого близкого человека стала его фамилия. То есть его особенностью для неё было то, что он олицетворял собой не просто самого себя – мужа своей жены, а уникальное явление в мире, которого больше нет, и не может быть нигде и ни у кого. Сашек, Санечек и Шурочек – в России много, а вот её Пушкин – один, ни с каким другим никому не спутать.

Умерла Наталья Николаевна Пушкина-Ланская осенью 1863 года. Её последние слова, произнесённые в предсмертном бреду, были обращены к своему первому мужу: «Пушкин, ты будешь жить!».

ПРОЩАНИЕ С ПУШКИНЫМ

Возможно, будь Пушкин сдержанней, расчетливей, не испытывай он эмоций, то, наверное, смертельный поединок всё-таки не состоялся бы. И Пушкин как человек остался бы жить. Но поэт без эмоций невозможен, поэт, не испытывающий сильных чувств – вообще не поэт. А значит, Александр Сергеевич погиб именно потому, что был поэтом, великим поэтом. Пушкин как обычный человек – погиб, но как поэт, беззащитный и ранимый, остался жить вечно.

Пуля, выпущенная убийцей, попала в живот, раздробив кости позвоночника: подобная рана в те времена не излечивалась. По заключению врача, Владимира Даля: «Вскрытие трупа показало, что рана принадлежала к безусловно смертельным. Раздробления подвздошной, в особенности крестцовой кости неисцелимы». Владимир Иванович Даль (1801-1872), писатель, этнограф, автор «Толкового словаря русского языка», был человеком огромных и разносторонних познаний. Закончив медицинский факультет Дерптского университета в 1829 году, он участвовал в качестве врача в турецкой и польской военных кампаниях. Приехав в Петербург в 1832 году, он поступил ординатором в военно-сухопутный госпиталь, одновременно занимаясь и литературной деятельностью.

Официальные пригласительные на похороны были разосланы всем главам дипломатического корпуса и иностранных миссий. В соответствии с международным этикетом того времени, подобное делалось исключительно в случае смерти достаточно высокопоставленного сотрудника МИДа. Камер-юнкеры в число таковых ни прежде, ни после не входили.

В разосланном от имени Натальи Николаевны Пушкиной извещении о кончине супруга имелось приглашение «к отпеванию тела его в Исаакиевский собор, состоящий при Адмиралтействе, 1-го числа февраля в 11 часов до полудня». Не сомневаюсь в том, что данное извещение и приглашение писала не сама убитая горем Наталья Николаевна с четырьмя детьми на руках, наверняка это сделал от её имени кто-то из близких. Но и здесь есть момент, требующий непременного уточнения.

В приглашении говорится об отпевании в Исаакиевском соборе. Прошло почти 200 лет, нынешнее поколение наверняка сочтёт, что в приглашении имеется в виду тот самый Исаакиевский собор, которым ныне гордятся все жители Санкт-Петербурга! Друзья мои! Предлагаю не торопиться с такими выводами. Несмотря на замечательные изображения Храма в современном художественном фильме о декабристах на Сенатской площади, в реальности ни в 1825, ни в 1837 году Исаакиевский собор ещё не был построен! В 1837 году было завершено строительство основания купола и началась установка 24 верхних колонн. Торжественное освящение собора состоялось уже после смерти Николая Павловича – 30 мая 1858 года! Естественно, ни о каком отпевании в соборе без крыши и тепла не могло быть и речи! Между тем, мне неоднократно доводилось читать о том, что «проклятый царский режим» преследовал поэта и после его кончины, не позволив совершить торжественное прощание поэта с народом в Исаакиевском соборе! Абсолютно безграмотная псевдореволюционная демагогия! Однако мало того, некоторые деятели на основании этой ахинеи, высосанной из содержимого выеденного яйца, пошли ещё дальше, заговорили о каких-то массовых народных волнениях в февральском Петербурге образца 1837 года!

В чём же было действительная причина упоминания Исаакиевского собора в приглашениях, направленных от имени вдовы поэта? А дело в том, что внутри комплекса зданий самого Адмирайтейства 10 мая 1755 года была освящена небольшая домовая церковь во имя праведных Захарии и Елизаветы. А 17 апреля 1821 года в связи с проводимыми строительными работами богослужения в ней были прекращены. Летом 1821 г. по причине кардинальной перестройки Исаакиевского собора было принято решение устроить временный поместительный храм в здании Адмиралтейства, что и было сделано архитектором Монферраном. 12 декабря того же года ко Дню рождения Государя в Адмиралтействе был освящён храм по имя святителя Спиридона. А другой придел был посвящён преподобному Исаакию Далматскому. Так возник очень небольшой скромный временный Исаакиевский собор внутри главного здания Адмиралтейства. Кстати, по завершении строительства Исаакиевского собора, уже в царствование императора Александра II, Адмиралтейский храм святителя Спиридона решили не упразднять. В наше время этот храм является объектом исторического наследия.

Временный, маленький, домашний. Понимаете – разницу? Не могла вдова позволить себе аренду громадного, к тому же ещё и недостроенного храма! Не на что ей было устраивать дорогостоящие помпезные похороны – при долгах, да ещё с четырьмя детьми на руках!

В реальной ситуации вокруг рокового смертельного поединка, судя по его действиям, лучше всего тогда разобрался император Николай I. Пушкину посмертно были оказаны почести, полагавшиеся не взбалмошному дуэлянту, а национальному герою.

По воле императора отпевание поэта стало торжественным, государственным актом, ибо происходило по его согласию и решению в Конюшенной церкви, являвшейся в то время фактически домовой церковью императорской семьи. На отпевании присутствовали в соответствии с международным этикетом того времени главы практически всего дипломатического корпуса и иностранных миссий, находившихся в Санкт-Петербурге. Кстати, даже Жуковский, бывший одним из распорядителей похорон, поначалу писал: «О Конюшенной нельзя было и подумать, она придворная. На отпевание в ней надлежало получить особое позволение». Всё это говорит о понимании императором исключительного значения Пушкина в реальной табели о рангах Российской империи.

Прощаться с Пушкиным помимо родственников, друзей поэта и петербургской интеллигенции, помимо министров и генералов России, явились главы почти всего дипломатического корпуса Санкт-Петербурга за исключением двух – заболевшего прусского посланника и барона Геккерна, которого, разумеется, никто никуда не приглашал…

Удивительно, но история Конюшенной церкви имеет некие духовные пересечения с историей жизни Пушкина. После дуэли ещё живого Пушкина привезли в дом Волконских на Мойке и послали за священником из ближайшей церкви. Им оказался придворный протоирей Пётр Дмитриевич Песоцкий, настоятель именно Конюшенной церкви, который прошёл с русской армией войну 1812 года, был награждён бронзовым крестом на Владимирской ленте, орденом св. Анны 2-й степени, возведён с потомством в дворянское достоинство. Как свидетельствуют очевидцы (княгиня Е.Н. Мещерская, князь П.А. Вяземский), отец Пётр после исповеди Пушкина вышел от умирающего поэта со слезами на глазах и сказал: «Я хотел бы умереть так, как умирает этот человек!».

Именно в Конюшенной церкви долгое время находились привезённые некогда из Константинополя святыни: Образ Спаса Нерукотворного, Плащаница, шитая шелками и жемчугом, и икона Знамение. В 1828 году император Николай I брал Образ и Плащаницу с собой в турецкий поход. Тот самый, в котором участвовал и Пушкин.

По преданию, в 1814 году, Образ Всемилостивейшего Спаса из Конюшенной церкви находился с императором Александром I при взятии союзными войсками Парижа. Молодой Геккерн начал свою карьеру во французском Тулоне – чиновником голландского флота, базировавшегося там. Он верно служил, но не оккупированным Нидерландам, а врагу России и Нидерландов – Наполеону, и дослужился до титула барона его Империи. Когда-то 1812 году юный Александр Пушкин, глядя, как уходят сражаться за Родину русские полки, мечтал быть в их рядах… Он погиб от пули, выпущенной французом по наущению того, кого благословил Наполеон.

Похоронили Пушкина там, где он и хотел быть похороненным, где заранее купил для этого место: в Святогорском Свято-Успенском монастыре рядом с могилой матери.

Я был в том месте в дни моей юности. С возвышенности, на которой находится монастырь, открываются взгляду необъятные дали. Видно всю Россию.

«СЕТЧАТКА»

ЕЛЕНА ТОЛКАЧЁВА

ОБРАЗ ИТАЛИИ В ТВОРЧЕСТВЕ А. АХМАТОВОЙ, О. МАНДЕЛЬШТАМА И М. ЦВЕТАЕВОЙ (к вопросу литературных перекличек)

Италия – страна света, солнца, волшебства. Кто хоть раз побывал там, того её загадка будет притягивать к себе всю жизнь. Италию прославляли в своих произведениях поэты и писатели разных времен и народов. Так, почти у всех поэтов Серебряного века её образ запечатлен и в стихах, и в прозе. Среди них А. Блок, М. Волошин, Н. Гумилёв, А. Ахматова, З. Гиппиус, Дм. Мережковский, Андрей Белый, К. Бальмонт, М. Цветаева, О. Мандельштам, Вяч. Иванов и другие. Кто-то побывал там всего один раз, кто-то приезжал вновь, кто-то жил там по несколько лет, но так или иначе отголоски итальянской темы встречаются на протяжении всего их творчества.

В этом эссе мне захотелось вспомнить о поэтических перекличках, о внутренней взаимосвязи итальянской темы в творчестве трёх крупнейших личностей Серебряного века А. Ахматовой, М. Цветаевой и О. Мандельштама.

Анна Андреевна первый раз побывала в Италии вместе с Николаем Гумилёвым, в апреле-мае 1912 года, во время их путешествия по Европе. Впечатления от итальянской архитектуры и живописи всю жизнь не покидали её. Тогда они посетили Геную, Пизу, Флоренцию, Болонью и Венецию. Гумилёв ещё съездил в Рим, она предпочла остаться во Флоренции. Пройдёт полвека, и Ахматова в год присуждения ей итальянской литературной премии Этна-Таормина посетит тот удивительный город, о котором позднее напишет: «Вот он какой – этот Рим. Такой и даже лучше. Совсем тепло. Подъезжали сквозь ослепительную розово-алую осень…»[1]. А ещё через год она отметит: «Кто видел Рим, тому больше нечего видеть. Я всё время думала это, когда в прошлом году смотрела на него прощальным взором…»[2].

Но вернёмся в 1912 год. В одном из её стихотворений сохранилось впечатление о Венеции: *«Золотая голубятня у воды, / Ласковой и млеюще-зелёной; / Заметает ветерок солёный / Чёрных лодок узкие следы. / Столько нежных, странных лиц в толпе, / В каждой лавке яркие игрушки: / С книгой лев на вышитой подушке, / С книгой лев на мраморном столбе».*

Наверное, не случайно появляется здесь «лев»: Ахматова в тот момент ждала ребёнка, и думала, что если будет мальчик, назовёт его Львом. Эти строчки лучатся радостью и светом, хорошо передавая настроение поэта. Италия навсегда останется в воспоминании Ахматовой местом, где она была очень счастлива.

Несколько иной предстает Венеция у Осипа Мандельштама в стихотворении «Веницейская жизнь»: *«Тяжелы твои, Венеция, уборы, / В кипарисных рамах зеркала. / Воздух твой гранёный. В спальне тают горы / Голубого дряхлого стекла».*

В этом стихе 1920 года молодой поэт даёт образ города смерти – с его «мрачной и бесплодной жизнью», с «улыбкою холодной», где нет «спасенья от любви и страха». И в конце он вопрошает: «Как от смерти праздничной уйти?». Всего несколькими годами раньше (в 1917-м) М. Цветаева даст похожий образ Венеции в двух своих стихотворениях. В первом, «С головою на блещущем блюде…», у неё появляется мотив сладострастья сумасшедшего мертвеющего города с остекленелыми глазами: *«А над городом – мёртвою глыбой – / Сладострастье, вечерний звон».* Во втором, «Собрались льстецы и щёголи», этот мотив развивается: страсть голодной Москвы, которая «окаянствует и пьянствует» переходит в венецианское сладострастье: *«Ах, гондолой венецьянскою / Подплывает сладострастье!».* У Цветаевой возникают ассоциации с Венецией как городом угасания, гниения, в котором сладострастье есть агония умирающего города.

Для Мандельштама близок другой город Италии. Рим – вот к чему стремится его душа и летят его мысли: *«Прав народ, вручивший посох / Мне, увидевшему Рим!»*, *«Природа тот же Рим – и отразилась в нём…»*, *«Да будет в старости печаль моя светла: / Я в Риме родился, и он ко мне вернулся…»*. Последние строчки, конечно, поэтический миф. Но они слишком говорят о том, что своей второй родиной поэт выбрал бы именно Рим.

Интересно, что А. Ахматова утверждала: Мандельштам в Италии «никогда не был»[3]. На самом же деле, изучая в 1909-1910 годах два семестра романские языки и философию в Гейдельбергском университете, он объездил Италию и Швейцарию. Возможно, познакомившись с Ахматовой в 1916-м, поэт не упоминал об этом. Хотя в своих воспоминаниях о Мандельштаме «Листки из дневника» она отмечает, что он прекрасно знал итальянский язык и мог страницами читать наизусть «Божественную комедию» Данте.

В 1915 году Мандельштам знакомится с Мариной Цветаевой, встречи с которой продлятся больше года. За это время она успела подарить петербургскому поэту свою Москву. Конечно, Цветаева водила его в столь любимый ею Кремль, показывала его храмы. В нескольких посвящённых ей стихах поэт так передаст впечатления от увиденного: *«Не диво ль дивное, что вертоград нам снится, / Где голуби в горячей синеве, / Что православные крюки поёт черница: / Успенье нежное – Флоренция в Москве. / И пятиглавые московские соборы / С их итальянскою и русскою душой / Напоминают мне явление Авроры, / Но с русским именем и в шубке меховой»*.

«С их итальянскою и русскою душой» – явный намёк на то, что Успенский собор был построен итальянцем Аристотелем Фиораванти, тогда как остальные соборы – русскими зодчими.

И в другом стихотворении: *«Не три свечи горели, а три встречи – / Одну из них сам Бог благословил, / Четвёртой не бывать, а Рим далече – / И никогда он Рима не любил»*.

Здесь возникает ассоциация с известной пословицей «Москва – третий Рим, четвёртому не бывать». Но думается также, что в подтексте стихов лежит и то, что Мандельштам знал о любви Цветаевой к Италии, и это была ещё одна точка их поэтического соприкосновения.

Не случайно поэтому, упоминая римский Форум в стихотворении «С весёлым ржанием пасутся табуны…», в другом Мандельштам будет говорить о Форуме Москвы (*«Когда в тёплой ночи замирает / Лихорадочный Форум Москвы / И театров широкие зевы / Возвращают толпу площадям…»*).

Он проводит параллели между Древним Римом и старой Москвой (Кремлём, Красной площадью и примыкающей к ней Театральной). А самое последнее четверостишие у него будто бы сливает Москву и Рим воедино: *«И как новый встаёт Геркуланум / Спящий город в сиянье луны, / И убогого рынка лачуги, / И могучий дорический ствол!..»*.

Марина Цветаева впервые посетила Италию в 1902 году. Вместе с сестрой и больной матерью, которой врачи рекомендовали лечение за границей, они приехали в Нерви и провели там целых два года. Этот итальянский период жизни во многом сформировал юную Цветаеву, подарив ей чувство свободы и навсегда оставив в ней ощущение счастья и радости. Но, конечно, знакомство с Италией, её культурой, архитектурой, живописью, обычаями для будущего поэта началось до приезда в саму страну. Её отец, создававший Музей изящных искусств (а ныне Государственный музей изобразительных искусств им. А. Пушкина), многие экспонаты для него заказывал в Италии и вёл с зарубежными коллегами обширную переписку, в которой нередко помогала ему и Марина. И этот Музей для неё и младшей сестры Аси навсегда стал настоящим «младшим братом», о котором каждый день в семье велись разговоры и которому были отданы все силы их отца. Так, в 1933 году, в автобиографическом очерке «Музей Александра III» М. Цветаева вспомнит: «Во дворе будущего музея, в самый мороз, весёлые черноокие люди перекатывают огромные, выше себя ростом, квадраты мрамора, похожие на гигантские куски сахара, под раскатистую речь, сплошь на р, крупную и громкую, как тот же мрамор. А это итальянцы, они приехали – из Италии, чтобы строить музей. Скажи им: „Buon giorno, come sta?“. В ответ на привет – зубы, белей всех сахаров и мраморов, в живой оправе благодарнейшей из улыбок. Годы (хочется сказать столетия) спустя, читая на листке почтовой бумаги посвящённую мне О. Мандельштамом „Флоренцию в Москве“ – я не вспомнила, а увидела тех итальянских каменщиков на Волхонке».

В следующий раз Цветаева побывала в Италии в 1912 году вместе с Сергеем Эфроном во время их свадебного путешествия. Всего на несколько месяцев они опередили Ахматову и Гумилёва. Цветаева тогда так же, как и Ахматова, ждала ребёнка. В ту поездку они посетили с Сергеем Милан, Неаполь, Геную, Венецию, Рим и Палермо. Ненадолго заехали и в Нерви: Цветаева провела мужа по местам своего детства, где ей было так хорошо когда-то. И сейчас Италия для путешествия была ею выбрана не случайно: она очень любила Сергея и чувствовала себя самой счастливой.

Но интересно и ещё одно: знаковой фигурой Италии для Цветаевой был Данте с его «Божественной комедией», которую сначала ей читала мать, а позже она уже сама перечитывала эту таинственную книгу «с картинками Гюстава Доре». Заметим, что и для Мандельштама Италия началась с этого произведения, оставившего в нём и его творчестве неизгладимый след. В 1933 году он напишет подробнейший философско-поэтический трактат «Разговор о Данте», и, создавая позже свою «Поэму без героя», Ахматова без сомнения прочтёт его, что отразится на всей её работе. По свидетельству А. Наймана, «…читать „Поэму без героя“, не держа в уме мандельштамовский „Разговор о Данте“, по-видимому, и бесплодно, и ущербно для понимания Поэмы»[4].

Тема Италии в поэзии Цветаевой возникнет в 1918 году, когда она вся будет погружена в написание пьес для актёров театра Е. Вахтангова. Это романтический период её творчества, и главным своим героем она избирает Дж. Казанову. Она перечитывает все тома «Мемуаров» известного итальянского авантюриста и на их основе создаёт две пьесы «Приключение» и «Феникс». Роль Казановы в них предназначена молодому актёру, в которого тогда была влюблена М. Цветаева, Юрию Завадскому. Ему же она посвящает и ряд стихов. В одном, «Beau tenebreux!», есть такие строчки: *«Ни тонкий звон венецианских бус, / (Какая-нибудь память Казановы / Монахине преступной) – ни клинок / Дамасской стали, ни крещенский гул / Колоколов по сонной Московии – / Не расколдуют нынче Вашей мглы…».*

Здесь у Цветаевой присутствие и Венеции, и Москвы, чьи образы заметно сближены. Звон бус и гул колоколов – перед глазами сразу возникает утончённая, нежная Италия и строгая Россия. В подтексте этих строк прочитывается и душевное состояние самой Цветаевой: ощущение радости, счастья, поэтического взлёта и свободного парения (это связано с Италией, она у поэта возникает именно как счастливое воспоминание) и в то же время внутренней борьбы, беспокойства, смятения (она с дочкой одна в неотапливаемом доме, в голодное лихолетье, в полном неведении о том, где сейчас её муж, жив ли он, – это связано с Москвой).

Несколько раньше, в 1914 году, Цветаева, живя в Феодосии, будет вспоминать «свою Италию», которая начинает у неё ассоциироваться с Крымом. В записных книжках она отметит: «Как чудно в Феодосии! Сколько солнца и зелени! Сколько праздника! Золотой дождь акаций осыпается. Везде, на улицах и в садах, цветут белые. Запах fleur d'orange'a! – запах Сицилии! Каждая улица – большая, теплая, душистая волна».

За несколько месяцев до этой записи есть другая: «Караимская слободка – совершеннейшая Италия. Узкие крутые улички, полуразрушенные дома из грубого пористого камня, арки, чёрные девушки в пёстрых лохмотьях». И уже позже, в письмах периода эмиграции, она иногда будет вспоминать Сицилию и признаваться, что «навек её любит» и вновь хотела бы туда попасть. Это признание в любви Италии, итальянской природе, сквозь которое явно просматривается желание вернуть счастливые дни молодости и безоблачного счастья, красоты и беззаботности. А ведь Ахматова, побывав в 1964 году в Риме, тоже отметит в своих дневниковых записях: «Подъезжаем к Риму. Всё розово-ало. Похоже на мой последний незабвенный Крым 1916 года, когда я ехала из Бахчисарая в Севастополь…». Так, мы видим, что Италия стала и для Цветаевой, и для Ахматовой своеобразным миром, который ассоциировался у них со счастливыми моментами жизни. Да и для Мандельштама Рим стал тем городом, чей образ он пронёс через всё своё творчество, оставшись навсегда им покорённым и так никогда и не разгадав загадку его необъяснимого притяжения.

Примечания:

[1] Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой. М., 1999. С. 245.

[2] Ахматова А. Записные книжки. М.-Torino, 1966. С. 689.

[3] Письма Ю.Г. Оксмана к Г.П. Струве // Stanford Slavic Studies. Vol. 1. Stanford, 1987. С. 39.

[4] Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой. М., 1999. С. 251.

АЛЕКСАНДР КАРПЕНКО

«Я – ЖИЗНЬ, ПРИШЕДШАЯ НА УЖИН…» последнее стихотворение Марины Цветаевой

В начале двадцатого века три великих поэта, Анна Ахматова, Арсений Тарковский и Марина Цветаева, написали по одному стихотворению на одну и ту же тему. Конечно, никто из них специально не планировал такую манифестацию, она возникла спонтанно. Поэты живо интересовались творчеством коллег, что, видимо, и привело к возникновению серии стихотворений, вдохновлённых друг другом. Почин в 1922 году сделала Анна Ахматова, написав «Новогоднюю балладу», которая была опубликована через два года, в 1924-м. Здесь мы сталкиваемся с так называемыми «бродячими» сюжетами в литературе. В русской поэзии веком ранее многие поэты, подражая Горацию, увлечённо писали свои «Памятники». В данном случае Анна Ахматова нашла у английских поэтов 19-го века неожиданную тему, которую можно обозначить так: мёртвые и живые, родственники и друзья, все вместе за одним праздничным столом.

АННА АХМАТОВА
НОВОГОДНЯЯ БАЛЛАДА

И месяц, скучая в облачной мгле,
Бросил в горницу тусклый взор.
Там шесть приборов стоят на столе,
И один только пуст прибор.

Это муж мой, и я, и друзья мои,
Мы Новый встречаем год,
Отчего мои пальцы словно в крови
И вино, как отрава, жжёт?

Хозяин, поднявши первый стакан,
Был важен и недвижим:
«Я пью за землю родных полян,
В которой мы все лежим»,

А друг, поглядевши в лицо моё
И вспомнив Бог весть о чём,
Воскликнул: «А я за песни её,
В которых мы все живём».

Но третий, не знавший ничего,
Когда он покинул свет,
Мыслям моим в ответ
Промолвил: «Мы выпить должны за того,
Кого ещё с нами нет».

конец 1922 года

Стихотворение о пире с мёртвыми друзьями было впервые опубликовано в журнале «Русский современник», 1924, № 1, с. 41. После публикации этого стихотворения публикации Анны Ахматовой были прерваны почти на 15 лет. «Новогодняя баллада» задала пищу литературоведам на десятилетия вперёд, однако они в целом справились с задачей, вычислив всех зашифрованных поэтом действующих лиц «Новогодней баллады».

В первые годы после октябрьской революции в русской поэзии отчётливо прослеживается тенденция к герметической поэзии. Михаил Кузмин выпускает книгу «Форель разбивает лёд». И он, и Ахматова проследовали в своём творчестве от «прекрасной ясности» к мистике и герметизму. Пока Маяковский и Есенин решали, кто из них номер один в стране, другие поэты – Пастернак, Мандельштам, Цветаева, Ахматова, тот же Кузмин, ушли в глубину. В это время молодой Арсений Тарковский только начинает свой литературный путь. В 1934 году у него родилась дочь Марина, старшая сестра всемирно известного кинорежиссёра Андрея Тарковского. Арсений назвал свою дочь в честь Марины Цветаевой, которую он высоко ценил как поэта. Можете себе представить, как обрадовался он возможности встретиться с ней после её возвращения из заграницы. И когда это, наконец, произошло – в московской квартире переводчицы Нины Яковлевой в Телеграфном переулке – он прочёл Марине своё свежее, недавно написанное стихотворение. То самое, которое словно бы продолжает тему, начатую Ахматовой, хотя стол, за которым сидят гости Тарковского, уже не праздничный и не новогодний.

***

Стол накрыт на шестерых,
Розы да хрусталь,
А среди гостей моих
Горе да печаль.

И со мною мой отец,
И со мною брат.
Час проходит. Наконец
У дверей стучат.

Как двенадцать лет назад,
Холодна рука
И немодные шумят
Синие шелка.

И вино звенит из тьмы,
И поёт стекло:
«Как тебя любили мы,
Сколько лет прошло!»

Улыбнется мне отец,
Брат нальёт вина,
Даст мне руку без колец,
Скажет мне она:

– Каблучки мои в пыли,
Выцвела коса,
И поют из-под земли
Наши голоса.

1940

Марина слушает молодого, красивого Арсения, пребывающего в возрасте Христа. Конечно, она слышит в стихотворении ахматовские аллюзии. Вернувшись в СССР из Франции, Цветаева оказалась в тотальном одиночестве. Она измучена жизнью, арестованы муж и дочь, её не печатают, избегают как жену врага народа. И она обращает внимание на молодого талантливого переводчика Тарковского.

Вспоминает переводчица Нина Яковлева:

«Они познакомились у меня в доме. Мне хорошо запомнился этот день. Я зачем-то вышла из комнаты. Когда я вернулась, они сидели рядом на диване. По их взволнованным лицам я поняла: так было у Дункан с Есениным. Встретились, взметнулись, метнулись. Поэт к поэту. В народе говорят: любовь с первого взгляда…».

Из воспоминаний Арсения Тарковского:

«Я её любил, но с ней было тяжело. Она была слишком резка, слишком нервна… Она была страшно несчастная, многие её боялись. Я тоже – немножко. Ведь она была чуть-чуть чернокнижница…». Ей посвящено моё стихотворение «Чего ты не делала только, чтоб видеться тайно со мною…». Здесь Арсений Александрович скромничает. Он посвятил Марине не одно стихотворение, а целый цикл из шести стихотворений, первое из которых было написано сразу после её гибели. Оно же, на мой взгляд, самое пронзительное.

Где твоя волна гремучая,
Душный, чёрный морской прибой,
Ты, крылатая, звезда падучая,
Что ты сделала с собой?

Как светилась ты, милостивица,
Всё раздаривая на пути.
Встать бы, крикнуть бы, воспротивиться,
Подхватить бы да унести –

Не удержишь – и поздно каяться:
Задыхаясь, идёшь ко дну.
Так жемчужина опускается
В заповедную глубину.

Сентябрь 1941

Из интервью Марины Тарковской:

«Что до отношений Арсения Тарковского и Цветаевой… Марина Ивановна на протяжении всей своей жизни нуждалась в присутствии рядом с собой друга, человека, который бы её понимал. Это давало ей какую-то поддержку, подпитывало её как поэта, оживляло чувства. Порой она стремилась целиком захватить человека в свой плен. И вот таким человеком на время и стал мой папа. Я не перестаю поражаться этой удивительной женщине: в тюрьме муж, дочь, на руках сын;

бездомовье, безработица, она „белогвардейка“, „эмигрантка“, все от неё шарахаются. А она ищет общения с молодым поэтом Тарковским! Папа был увлечён Цветаевой, прежде всего, как поэтом, она для него была мэтром. Он не мог ответить на её горячую дружбу. Потому что был семейным человеком. Однажды, когда Цветаева и Тарковский с женой оказались на книжной ярмарке, он не подошёл к Марине Ивановне. Её это обидело. Так и закончились эти отношения…».

Именно после этого нерукопожатия на книжной ярмарке, 6-го марта 1941 года Цветаева, вспылив, и написала своё последнее стихотворение. Она поменяла ритм стихотворения Арсения, переиначив хорей в более динамичный ямб. Видимо, именно так оно ей запомнилось. Соответственно, и цитата из Тарковского у неё – неточная.

***

«Я стол накрыл на шестерых…»
Арсений Тарковский

Всё повторяю первый стих
И всё переправляю слово:
– «Я стол накрыл на шестерых»…
Ты одного забыл – седьмого.

Невесело вам вшестером.
На лицах – дождевые струи…
Как мог ты за таким столом
Седьмого позабыть – седьмую.

Невесело твоим гостям,
Бездействует графин хрустальный.
Печально – им, печален – сам,
Непозванная – всех печальней.

Не весело и не светло.
Ах! не едите и не пьёте.
– Как мог ты позабыть число?
Как мог ты ошибиться в счёте?

Как мог, как смел ты не понять,
Что шестеро (два брата, третий –
Ты сам – с женой, отец и мать)
Есть семеро – раз я на свете!

Ты стол накрыл на шестерых,
Но шестерыми мир не вымер.
Чем пугалом среди живых
Быть призраком хочу – с твоими,

(Своими)… Робкая как вор,
О – ни души не задевая!
За непоставленный прибор
Сажусь незваная, седьмая.

Раз! – опрокинула стакан!
И всё, что жаждало пролиться,
Вся соль из глаз, вся кровь из ран
Со скатерти – на половицы.

И – гроба нет! Разлуки – нет!
Стол расколдован, дом разбужен.
Как смерть – на свадебный обед,
Я – жизнь, пришедшая на ужин.

…Никто: не брат, не сын, не муж,
Не друг – и всё же укоряю:
– Ты, стол накрывший на шесть – душ,
Меня не посадивший – с краю.

6 марта 1941

Этим стихотворением Марина как бы подводит итог своей «непозванности». Её не позвали в акмеисты, не позвали в футуристы. Когда записывали на фонограф самых значительных поэтов начала XX-го века, её опять не позвали. Можно даже говорить о том, что современники не разглядели в ней великого поэта. Судьба Марины складывалась так, что почти всю свою жизнь она прожила вне литературной тусовки. «Я не белая и не красная, – пишет она французскому нобелиату Андре Жиду, – не принадлежу ни к какой литературной группе, я живу и работаю одна и для одиноких сердец». Действительно, когда Москву и Питер наводнили литературные объединения символистов, акмеистов, футуристов et cetera, она была, пожалуй, единственным крупным русским поэтом, не участвовавшим в этих движениях. Такова была природа её самостоятельного таланта. В результате её часто не звали туда, куда звали остальных. И эта хроническая *непозванность* и *невовлечённость*, *невписанность* в анналы русской литературы больно её ранила. Судьба быть не позванной аукается и в её последнем стихотворении. Это – один из очевидных смыслов, которые в нём вычитываются.

Стихотворение «Всё повторяю первый стих…» не случайно – последнее. Марина уже морально готова уйти. И эти стихи, вместе с её письмами, объясняют нам, почему это произошло. Стихотворение Марины, конечно, не являлось прямым ответом на стихотворение Арсения о мистическом пире живых родственников с мёртвыми. Но гнев от произошедшего на книжной выставке вылился у неё в страстную отповедь. Часто не лучшие человеческие эмоции рождают выдающиеся художественные произведения. Человек словно бы очищается от грязи мира в «идеальном» мире искусства.

Арсений думал, что Марина завлекает его в очередную свою любовь, а она заманила его в смерть. Он даже не знал о существовании этого последнего стихотворения – страшно сказать – до 1982 года, когда оно было опубликовано в журнале «Нева». Задолго до этой публикации он откликнулся на гибель Марины циклом стихов, возможно, чувствуя себя «без вины виноватым» в её безвременном уходе.

Цветаева всю жизнь была убеждена в своей исключительности. «Меня, такой живой и настоящей…» – страстно говорила она. «Я – жизнь, пришедшая на ужин» – близкое по интонации изречение. Марина – человек, связывающий мир живых с миром мёртвых. Она ощущает себя недооценённой коллегами, родным городом, страной. И эта досада время от времени прорывается в её письмах и стихах. Так, она пишет, что Москва словно бы её выпихивает из родового гнезда после репатриации. А ведь она и её папа, основавший Пушкинский музей на Волхонке, сделали для города столько, что столица могла быть более гостеприимной.

Жизнь – это фитиль, поднесённый к сердцу поэта. «Мне так жалко, что всё это только слова – любовь – я так не могу, я бы хотела настоящего костра, на котором бы меня сожгли», – писала Марина Цветаева. В стихотворении «Всё повторяю первый стих…» она, священнодействуя, дерзновенно устраивает свой собственный театр, театр поэта. Именно в стихах она, милостью Божьей, наиболее свободна. В стихах её невозможно обидеть. Цветаева не делала разницы между любовью и дружбой, между литературными и личными отношениями. Я почему-то убеждён, что жена Тарковского «напихала» ему за свидание с Мариной. И сам он, желая сохранить семью, больше не стремился с ней увидеться. И потом корил себя за это невнимание, которое, как ему казалось, и привело её к смерти. В то же время Арсений говорил, что «она умерла уже мёртвой». Косвенно это подтверждается и предсмертным письмом Марины к Николаю Асееву. Там она пишет, что «я уже не я». «Я уже не я» – очевидно, относилось ко всему чему угодно, – только не к силе поэтического таланта. В своём последнем стихотворении Марина абсолютно, на мой взгляд, конгениальна вершинам своего дара.

Каждый большой поэт прозревает глубину. Он на уровне инстинкта, на уровне подсознания чувствует свой поэтический рост и ловит каждую идею, которая ему впору, никак не ниже прежних вершин. Это священный инстинкт гения: вписаться сердцем в глубокий контекст эпохи. Когда Арсений Тарковский прочёл Цветаевой, оставшись с нею наедине, стихотворение «Стол накрыт на шестерых», всё лучшее, что было в Марине, весь её огромный поэтический дар, – всё в ней всколыхнулось и включилось. Возникло предчувствие духовных месторождений. Она влюблялась во всех, кто производил на неё неотразимое впечатление; загоралась от творчества, а потом уже переносила внимание на поэта как человека. Почему мы должны думать, что в случае с Тарковским всё было иначе? Любовь – это мост, соединяющий два берега реки, а искусство для поэта – имя Бога.

«КАМЕРА-ОБСКУРА»

ЕВГЕНИЙ ДЕМЕНОК

ПАСКВИЛЬ НА ФУТУРИЗМ И ЕГО «СТИХИЙНО ТАЛАНТЛИВЫЙ» АВТОР
о взаимоотношениях Давида Бурлюка и Алексея Толстого

Отношения Алексея Толстого и Давида Бурлюка нельзя назвать приятельскими, а их знакомство – длительным. Тем не менее даже находясь в эмиграции, Бурлюк внимательно следил за творчеством Алексея Толстого и неоднократно упоминал его имя в письмах к жившему в Тамбове коллекционеру Н.А. Никифорову, а в пражском семейном архиве сестёр Бурлюка, Людмилы и Марианны, даже сохранилась вырезка из журнала «Огонёк» за 1913 год, в которой сообщается, что Алексей Николаевич объявил себя футуристом (сам Толстой, в свою очередь, хранил в дневнике газетную вырезку с объявлением о «Ёлке футуристов»).

Именно на этот период, период «бури и натиска» русского авангарда, и приходится короткое знакомство обоих героев нашей статьи. Вскоре увлечение Толстого футуризмом пройдёт, и он начнёт критиковать его, а затем и высмеивать. Они с Бурлюком останутся на всю жизнь в разных лагерях – поначалу, в период эмиграции, Толстой будет клеймить футуристов как «застрельщиков большевизма»; позже, когда футуристы навсегда утратят свои позиции в «официальном» советском искусстве, а Толстой их, наоборот, обретёт, он будет сатирически отображать их в своих произведениях, Бурлюк же, наоборот, будет сетовать, что истинно «пролетарское» искусство стало маргинальным, а вовремя «перестроившиеся» писатели и художники обласканы властью.

О том, что, находясь в эмиграции, Алексей Толстой «кляузничал» на футуристов, называя их «застрельщиками большевизма», Бурлюк писал и в 1929 году, когда им были уже в основном написаны «Фрагменты из воспоминаний футуриста», и тридцать лет спустя, в письмах тамбовскому коллекционеру Н.А. Никифорову, которого Бурлюк называл своим «духовным сыном». Вот, например, фрагмент из воспоминаний Бурлюка:

«Футуризм был первым любимым оруженосцем победившего пролетариата, блюдшим святая святых искусств в те легендарные первые годы. И А.Н. Толстой в своих тогда не революционных писаниях в 1919 году в Париже открыто „доносил“ о футуристах в белую прессу: „Футуристы были первыми застрельщиками большевизма“. Меня тогда на Дальнем Востоке Розанов[1] чуть на Камчатку не упёк. Писанное А.Н. Толстым было абсолютной правдой».[2]

А вот что писал он 11 июня 1959 года Никифорову:

«В 1913 г. Маяковский писал: Издатели нас не брали, капиталист<ический> нос чуял в нас динамитчиков. В 1919 г. весна в „Последн<них> Новостях“ в Париже граф А.Н. Толстой доносил: футуристы – это застрельщики большевизма, горластые, с громадн<ыми> челюстями… Царская пресса называла футуристов хулиганами».[3]

Давид Бурлюк, которого в советские годы вспоминали на родине лишь в связи с Маяковским, чьи находящиеся в музеях работы спрятали в запасники и не напечатали за почти пятьдесят лет ни одного стихотворения, не мог примириться с тем, что футуристы уже к 1921 году утратили свои лидирующие позиции в официальном советском искусстве. Особенно возмущало его то, что вернувшиеся в Советский Союз эмигранты легко стали частью этого самого официоза. Вот фрагмент из письма Н.А. Никифорову от 15 февраля 1958 года:

«В СССР (Больш. Энциклоп.) уже составила историю, выгодную лит. школе М. Горького, Д. Бедного, Полонского, Фриче и т.д.

В октябре 1917 г. Есенин писал свою „Страна негодяев“ – там читай: „А я бы все храмы божии переделал бы в места отхожие…“.

Горький занял выжидательную позицию и скоро смылся в Италию, где сидел до 1929 г. (пока не истощились его средства…).

<…> Эренбург (который потом искупил всё, сделавшись первожурналистом Советов) сотрудничал в буржуазных газетах, уехал до 1929 (?) в Париж. Ал. Толстой уехал в Париж до 23 г. Был там среди белых. <…> … с большевиками в Москве в октябре 1917 г. остались, были на их стороне: футуристы, Бурлюк, Маяковский, Хлебников, В. Каменский, Кручёных, Лившиц и плеяда меньших поэтов – художники: Бурлюк, скульп. Конёнков, Меркулов, Брамирский, Татлин, Лиссицкий, К. Малевич, Лентулов – сиречь футуристы и Бубново валеты.

<…> Большевик слова Ал. Н. Толстой в 1919 г. в Парижск. газетах писал правильно: „Футуристы, эти горластые юноши (Б., М., Х., К.) были глашатаями и застрельщиками большевизма“».[4]

Цитату Ленина из записки к Луначарскому с уничижительной критикой футуристов вспоминает Бурлюк в письме Никифорову от 29 января 1959 года:

«В то время, когда футуристы были заодно с Советами, Горький, Ал. Толстой и Ко упаковывались за границу, а многие, застрявшие на родине, заняли выжидательную позицию – дескать, „большевистская заварушка“ пройдёт, и мы заживём снова крупными помещиками… Теперь обо всём забыто и забито, а нам оно – „футуристов надо сечь“ – памятно».[5]

Ленин сказал не совсем так, но смысл Бурлюком передан правильно. Он помнил это и спустя сорок лет после описываемых событий – разворот контролируемой партией большевиков культуры в сторону реализма был болезненным и бесповоротным.

Вновь и вновь затрагивает он эту тему, неоднократно упоминая при этом об А.Н. Толстом. Например, в письме Никифорову от 21 мая 1957 года:

«Нас очень трогает ваша горячность в защите моего имени. Борьба за него, „за признание Бурлюка“ ведётся под разными ветрами вот уже пятьдесят лет. Затрудняется она тем, что за строем одних противников подымается новый, а эти часто уже совсем мало осведомлены. Это старый вопрос о футуризме. Самого полезного (из футуристов) Маяковского – приняли,… заявляя против его воли, так как он уже мёртв и протестовать не может, что Маяковский не футурист, что он ученик Максима Горького и Блока, игнорируя факт, что за год до смерти 1929 года он перепечатал полностью наш „Манифест“ (мой и его) из „Пощёчины“ 1912 года, что Маяковский и Горький друг друга не любили, были даже во враждебных лагерях. <...> Что же касается Блока, то между ними только несколько случайных встреч „в передней“… Богатенький поэт, описанный А. Толстым в „Хождении по мукам“ с „голубой лампой“, ничего общего с Маяковским не имел».[6]

Описание футуристов в «Хождении по мукам» – ещё одна тема, мимо которой не мог пройти «Отец русского футуризма». Причём факт этот вызывал у Давида Давидовича смешанные чувства. С одной стороны, он с гордостью писал о том, что «в „Хождении по мукам“ А.Н. Толстого цитируется моё знаменитое стихотворение „Утверждение бодрости“: „…Всякий молод, молод“… И в шаржированных (недружелюбных) тонах ясна попытка моего литературного выведения».[7] Однако же бурю его негодования вызвала первая экранизация романа, осуществлённая режиссёром Григорием Рошалем в 1957 году, в первой серии которой, «Сёстры», футуристы были показаны в совершенно неприглядном виде.

Давид Бурлюк с женой, Марией Никифоровной, увидел фильм в Чехословакии, где он находился осенью того же 1957 года. В Праге тогда жили его сёстры, Людмила и Марианна, а муж Марианны, художник Вацлав Фиала, был крупной фигурой в официальном искусстве Чехословакии (он был в 1956-60 годах председателем Ассоциации чешских графиков «HOLLAR»). Видимо, именно по инициативе Фиалы Министерство культуры ЧССР устроило для Бурлюков закрытый показ фильма. Показанные в фильме футуристы (один из них, толстый, с раскрашенной щекой и в цилиндре, напоминал Бурлюка; другой, совершенно нелепой наружности, взобравшись на стол, громко читал «Каждый молод, молод, молод…») настолько возмутили Марию Никифоровну, что она вышла из зала, хлопнув дверью и воскликнув, что она американская леди и смотреть это непотребство не намерена.

Возмущение Бурлюков экранизацией «Хождения по мукам» отразилась и в переписке с Н.А. Никифоровым. Находясь уже на лайнере «Queen Mary» по дороге из Европы домой и рассказывая Никифорову о фильмах, которые они увидели за время нахождения в Чехословакии, Бурлюки пишут (13 декабря 1957 года): «Мы видели русск. в Карлсбаде и Праге „Урок жизни“ (об инженере, не давш. машины для пикника) и „Сёстры“ с пасквилем А. Толстого на футуризм».[8]

Бурлюк сетовал на то, что в фильме футуристы показаны какими-то попрошайками, приживалами у «богатеньких буржуйчиков». Вот что писал он Никифорову 16 ноября 1957 года, ещё находясь в Праге:

«Дорогой Николай Алексеевич, поэтому вы понимаете те чувства, кои „последний из могикан“ испытывает, держа в руках вами присланную вырезку из „Огонька“ с картинкой „Сборище футуристов“, со словами – „Срамные фигуры, падающие небоскрёбы и т.д. “, „Живопись художника Валета…“. Почему так? До какой вульгарности можно дойти… пасть…

Постановщики фильма, о кот<ором>. идёт речь, покорно держались указки графа А.Н. Толстого, помещика Самарской губ. Они пользовались лит<ературным> документом, написанным А.Н.Т. в условиях белогвардейской эмиграции, в Париже в 1919 и 20 г. (напечатать роман в Париже в 1921 г. не удалось – „чересчур длинно"…) и автор вернулся в „большевистский рай" – выражение белогвардейских газет. А.Н. Толстого я знал в 1913 г. (мы Б., М., К.) обедали у него – чудесная квартира; наша популярность „интересовала" А.Н., и он подумывал как-либо „сгруппироваться" с нами… Футуризм в романе изображён как сборища на квартире инж<енера>. Телегина… Кучка хулиганов, которых прикармливают Катя и ещё какие-то буржуйчики среднего достатка… Если вспомнить размах бурлюковского шума на всю Россию, становится ясно, что написан портрет его (футуризма) вражеской рукой хулителя из враждебного класса и завистника (даже!)…».[9]

Никифоров пытался поддержать Бурлюка, и Бурлюк в письме от 15 октября 1957-го из чехословацкого города Подебрады, где он тогда лечился, в свою очередь пытается Никифорова успокоить:

«Спасибо о сообщении о фильме „Сёстры" А.Н. Толстого. Читая ваши такие добрые, такие воодушевляющие восторженно повышенные слова – мы боимся только одного, чтобы вам оно – такое отношение не повредило бы! … Спор о футуризме – старый и опасный – ещё при царе кидались на нас, как дикие звери, желая нас растерзать, уничтожить, убить, в жёлтый дом засадить, те, кто остался в живых и их потомки, выученики – ведут… неустанно ту же войну. <…> Дорогой друг, Вы должны помнить, что мы полны самого счастливого нерушимого спокойствия и нас уже ничто не обижает, ничто не удивляет, ничто не обольщает и мечтой призрачной не увлекает».[10]

Возмущаясь и критикуя, Давид Давидович всякий раз подчёркивает своё понимание таланта Алексея Николаевича и уважение к нему. В ноябре 1957 года он пишет Никифорову из Карловых Вар: «Когда я пишу так резко о писат<елях>, как Горький, А. Толст<ой>. и т.д., надо помнить, что я не отрицаю их значимости, их высокого имени и талантов, но они столпы старого классического стиля… они выражение своего класса, своего времени, против кот. или из которого вышел футуризм».[11]

Задолго до этого, 30 октября 1929 года в письме к Эриху Голлербаху Бурлюк писал о Толстом как о «стихийно талантливом человеке».[12] Осенью 1929 года Голлербах прислал Бурлюку в Америку свою монографию об Ал.Н. Толстом. Мария Никифоровна, жена Давида Давидовича, прочла её ему вслух спустя полгода. 12 июля 1930-го Бурлюк писал Голлербаху:

«Милый Эрик Фёдорович!

Уехали на месяц от прелестей летнего Нью-Йорка на берег спокойного залива и захватили сюда с собой перед отъездом полученный „Город муз" и монографию о А.Н. Толстом. Обе книги Мария Никифоровна прочитала вслух во время работы кистью. <...> Монографию о Толстом мы читали на рыболовной пристани, я писал столбом стоящие в небе вечернем облака и старые лодки, наполняющие древний залив. Мне пришла в голову мысль просить Вас когда-нибудь, если представится удобный случай и возможным для Вас, составить небольшую монографию, посвящённую моему творчеству в области литературной. Я давно уже пишу пером, напечатал большое количество стихотворений, Маяковский упорно называл меня своим учителем и этим неоспоримо признавал во мне некую наличность, вначале влиявшую и оформившую его исключительное дарование, меня многократно бранили, но никогда никто не пытался ещё определить для меня какое-то место в обширном словаре русских писателей…».[13]

Любопытно, что именно прочтение монографии об А.Н. Толстом подвигло Бурлюка попросить Голлербаха написать подобную и о нём самом. Эрих Фёдорович прислушался к просьбе Бурлюка – монография «Поэзия Давида Бурлюка» вышла в Нью-Йорке, в издательстве Марии Никифоровны Бурлюк в 1931 году. За год до этого там же была опубликована монография Голлербаха «Искусство Давида Д. Бурлюка».

Всю свою жизнь Давид Давидович и Мария Никифоровна живо интересовались не только произведениями Алексея Николаевича, но и деталями его биографии. В письме от 12 мая 1959 года Бурлюк просит Никифорова выслать ему мемуары Натальи Васильевны Крандиевской-Толстой:

«Маруся очень хочет иметь мемуары (пьянство из ванной) Крандиевской-Толстой. „Что, у них бочки не нашлось – такое обеднение посудами" (Маруся). Я обедал у Толстого в 1913 г. в Москве, и А.Т. читал свой рассказ нам: мне, Маяковскому и Каменскому, интересовался сближением с футуристами. С Крандиевской в поезде первым классом я ехал в одном купе в 1917 г. в её (Толст.) имение около Миликесса. Она ехала за Волгу, через Симбирск. Пришлите нам мемуары, вышлем вам „Новое о Маяк."».[14]

Получив мемуары Натальи Васильевны, Давид Бурлюк писал (письмо от 12 мая 1960 года):

«Дорогой милый НАН:

Читаем „Я вспоминаю" Крандиевской. Я её лично, как и графа, знал. В 1913 году обедал у него (вторая жена – еврейка была) с Маяковским. Т. тогда заискивал „на моменте" перед популярными футуристами, а потом опять стал их врагом; классово мы никогда не могли быть вместе. Блоки, Белые, Брюсовы, Волошины Ко – принадлежали к крупной буржуазии, которую смела революция октября, но вскоре победители вселились в квартиры буржуазии, завесили стены картинами буржуазных мастеров».[15]

Бурлюк словно забывает о том, что и сам в апреле 1918 года уехал из «революционной Москвы» на восток и стремился потом уехать подальше от территории, занятой большевиками; с 1920 года жил в Японии, а с 1922 года – в Америке. Правда, с 1923 по 1940 год он работал в крайне просоветской газете «Русский голос» и всячески демонстрировал поддержку советской власти, а в 1939 году даже написал в музей им. Маяковского письмо с просьбой походатайствовать с решением вопроса о его возвращении в СССР. Письмо осталось «под сукном», и Бурлюки остались в США. Послевоенная риторика его изменилась – всё больше хвалил он Соединённые Штаты, подчёркивая, что он американский гражданин, и всё чаще ругал советские порядки. Вызвано это было, без сомнения, полным замалчиванием его имени на родине.

И тем не менее он был прав – они никогда не могли быть вместе ни классово, ни творчески. Слишком уж разными были.

Как мы видим, почти в каждом письме Давид Давидович вспоминает об обеде, на который его вместе с Маяковским и Каменским пригласил в 1913 году Алексей Николаевич. Бурлюк всегда помнил встречи с известными и интересными людьми, к какому бы политическому лагерю или художественному течению они ни принадлежали. Вот ещё одно воспоминание об этой встрече (из письма Никифорову от мая 1957 года):

«И не только Прокофьев налаживал мост к нам, но и сам Алексей Николаевич Толстой, „желая поближе познакомиться“, пригласил меня и Маяковского на обед и читал вслух одну из своих сказок».[16]

Это желание «поближе познакомиться» связано с важной страницей в жизни Алексея Николаевича.

Алексей Николаевич со своей второй женой, Софьей Дымшиц-Толстой, сблизился с кругом художников-кубистов после переезда в Москву осенью 1912 года. Связано это было в первую очередь с творчеством Софии Исааковны. В круг её московских друзей входили Аристарх Лентулов (который был близким другом Давида и Владимира Бурлюков), Георгий Якулов, Павел Кузнецов, Мартирос Сарьян, Николай Милиоти. Ал.Н. Толстой был даже объявлен в числе выступающих на диспуте о современном искусстве участников общества «Бубновый валет» (24 февраля 1913 года), где одним из выступавших был Давид Бурлюк. Толстой тогда опроверг в печати информацию о своём участии, однако в январе 1914 года вместе с поэтами-футуристами Константином Большаковым и Вадимом Шершеневичем встречал в Москве на вокзале лидера итальянских футуристов Филиппо Томмазо Маринетти, а затем и приветствовал его со сцены Политехнического музея.

Елена Толстая приводит в своей книге «Дёготь и мёд» высказывания Толстого о футуризме, опубликованные в «Московской газете» 10 февраля 1914 года:

«В футуризме я вижу чувствование жизни, ощущение радости бытия, поэтому за футуризмом я считаю огромную будущность. Истинные элементы футуризма я нахожу ясно выраженными в творчестве Маринетти, которое меня интересует. Футуризм – искусство будущего. Я провёл два вечера в беседе с Маринетти и нахожу, что выступление его в России сейчас своевременно, именно теперь, когда господствуют идеи застоя и пессимизма, когда мрак идеализации старины застилает нам радости непосредственного бытия. Ощущение бытия выражается в движении, а не в застое. Я за истинное движение, а не призрачное, как у нас, – за оживление не только духа, но и тела. Я прошёл уже школу пессимизма, вижу в будущем торжество начал жизни, и в этом смысле я — футурист».[17]

13 февраля 1914-го в Обществе свободной эстетики состоялось последнее выступление Маринетти, в прениях после которого участвовали Бурлюк с Маяковским, и Толстой поддержал их требование вести дебаты на русском, а не только на французском, как хотел того Маринетти. Поддержал ли Толстой футуристов из соображений национальной солидарности или потому, что его французский был так же плох? Кто знает… Несмотря на это, в честь отъезда Маринетти Толстой устроил у себя дома праздник-маскарад.

Футуристом Толстой считал себя недолго. Вскоре наступило охлаждение и отторжение. На то были две причины – личная и мировоззренческая.

В том же 1914 году отношения Софии Дымшиц-Толстой и Алексея Толстого прекращаются. А ведь именно благодаря союзу с ней Толстой попал в среду художников-авангардистов.

«Софья признавала, что разрыв произошёл по её вине», – пишет Елена Толстая. «Возможно, что дело было не просто в Сонином легкомыслии, что оно было лишь ответом на охлаждение мужа? Ведь в это время Наталия Крандиевская уже находилась в центре внимания Толстого.

Гипотетический роман Софьи, вызвавший семейный кризис, видимо, начинался ещё в Москве: в 1914 г. Толстые раньше, чем обычно, в конце марта, уехали в Коктебель, причём Толстой (в отместку?) ухаживал за всеми женщинами и в конце концов не на шутку влюбился в юную М. Кандаурову. Разрыв произошёл там же, в Коктебеле (а может быть, в Анапе, где они две недели гостили у Е.Ю. Кузьминой-Караваевой), уже 21 июля они выехали из Крыма в Москву, и только оттуда уже перед самой войной Софья Исааковна отправилась в Париж. После начала военных действий в августе 1914 г. она возвратилась кружным путём в Россию. После этого они с Толстым окончательно расстались.

В памяти американской ветви отпрысков семьи Дымшиц сохраняется легенда о «побеге пылкой тети Софьи Исааковны в 1914 г. в Париж с человеком, носившим итальянскую фамилию, которая

начиналась на М». Легенда связывает этот побег с крушением брака Софьи Исааковны с Толстым. «Человеком с итальянской фамилией на М» скорее всего мог быть давний приятель Софьи художник Николай Милиоти, знаменитый своим головокружительным успехом у женщин. (Впрочем, Милиоти – фамилия греческая)».[18]

После расставания с Толстым Софья Дымшиц полностью погружается в профессиональный мир живописи. В 1916 году она участвует в выставке «Магазин», организованной Владимиром Татлиным. Именно с Татлиным будет связана её жизнь с 1917 по 1921 год. Под руководством Татлина в составе группы художников она принимает участие в росписи кафе «Питтореск», работает секретарём Татлина в Московской художественной коллегии Отдела ИЗО Наркомпроса, после переезда в 1919-м с Татлиным в Петроград проектирует вместе с ним убранство Красной площади и фейерверк к празднику 7 ноября, ассистирует в создании «Летатлина».

Всё это, безусловно, не могло быть воспринято Толстым совершенно равнодушно. Более того, как совершенно верно отмечает Елена Толстая, «в годы революции Дымшиц в глазах её бывшего мужа олицетворяла всё, что он считал губительным для России и для искусства».[19] В футуристах Толстой стал видеть не просто провозвестников разрушения старого, привычного и доброго жизненного уклада, но чуть ли не застрельщиков этого самого разрушения. И немалую роль в этом его отношении сыграло то, что именно футуристы первыми из творческой интеллигенции горячо поддержали новую власть и даже сделали попытку взять на себя новую, политическую, роль, попытку монополизировать контроль над искусством. Первое время их активно поддерживал Луначарский – и даже выступил в московском «Кафе поэтов» с заявлением о том, что футуризм – искусство пролетариата (об этом выступлении неоднократно вспоминал Давид Бурлюк, один из организаторов кафе). Роман властей с футуристами длился недолго, до того самого «окрика» Ленина, о котором выше упоминал Бурлюк. «Окрик» этот последовал после того, как Маяковский отправил Ленину «с комфутским приветом» свою новую поэму «150 000 000». Ленин подарка не оценил, пришёл в ярость, направив её на Луначарского: «Как не стыдно голосовать за издание „150.000.000“ Маяковского в 5.000 экз. Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность. По-моему, печатать такие вещи лишь 1 из 10 и не более 1500 экз. для библиотек и чудаков. А Луначарского сечь за футуризм».[20]

Обо всём этом Алексей Толстой, находившийся сначала в Одессе, а затем в Париже, знать не мог. И отношение своё к футуристам, раз и навсегда сформировавшееся, продолжал выражать в своих произведениях. А отношение было таким – если сначала футуристы представлялись ему клоунами и варварами на содержании у богатых купчиков, как, например, в комедии 1912 года «Спасательный круг эстетизму», то вскоре эти самые варвары стали «зловещими вестниками нависающей катастрофы», которые «сознательно делали своё дело – анархии и разложения», идя «в передовой линии большевизма, были их разведчиками и партизанами».[21] Это цитаты из его статьи «Торжествующее искусство», опубликованной 7 сентября 1919 года в парижской газете «Общее дело» и перепечатанной 7 ноября в одесской газете «Сын отечества». Толстой пишет даже о «каиновой печати футуро-большевизма». А тогдашнее своё отношение к большевизму он однозначно выразил в опубликованном в 17-м номере газеты «Накануне» (от 14 апреля 1922 года) ответе председателю Комитета помощи писателям Н.В. Чайковскому:

«Я представляю из себя натуральный тип русского эмигранта, то есть человека, проделавшего весь скорбный путь хождения по мукам. В эпоху великой борьбы белых и красных – я был на стороне белых. Я ненавидел большевиков физически. Я считал их разорителями русского государства, причиной всех бед. В эти года погибли два моих родных брата, один зарублен, другой умер от ран, расстреляны двое моих дядьёв, восемь человек моих родных умерло от голода и болезней. Я сам с семьёй страдал ужасно. Мне было за что ненавидеть».[22]

«Ту же концепцию он развернёт в романе *(«Хождение по мукам» – прим. автора)*, пытаясь показать, что именно футуристы с самого начала воплощали новое, бездуховное, чисто коммерческое отношение к культуре, сосредоточившись на материальном и социальном успехе», – пишет Елена Толстая.[23]

Безусловно, отношение Алексея Толстого к футуристам как «коммерсантам от культуры» было необъективным. Давид Бурлюк, ежедневно по многу часов работавший «кистью и пером», переживший взлёты и падения, неоднократно находившийся на грани крайней бедности, но продолжавший творить в любых условиях, доказал это самой своей жизнью.

Интересно, что Алексей Толстой мог безбоязненно критиковать футуристов в любой период – и в период разгара гражданской войны, и в советское уже время. За исключением весьма короткого периода, отношение и властей, и обывателя к ним совпадало с установками Толстого – от насмешливо-снисходительного (клоуны) до резко неприязненного (варвары, слишком далеки от народа). Это отношение к авангарду сохранялось до конца 1980 годов. И даже приглашение в 1956 году в СССР Давида Бурлюка, которое смогли пробить в Союзе писателей Лиля Брик, Василий Катанян и Семён Кирсанов, никак этого отношения не изменило. Его воспринимали лишь как соратника Маяковского, но ни о выставках, ни о публикациях нечего было даже и думать.

Собственно, и сам Бурлюк к этому моменту пересмотрел своё отношение к советской власти. Он неоднократно подчёркивал, что едет на родину как американский гражданин, и не переставал хвалить свою новую родину. От просоветского пафоса, присущего Бурлюку в 1920-30-е годы, к середине 1950-х не осталось почти ничего.

В своём письме к Н.А. Никифорову от 19 июня 1957 года, рассказывая о визите в СССР, упоминает он и Ал.Н. Толстого:

«Как раз год назад эти дни мы были снова в Москве, видели её „покинутой жителями“, бежавшими в… Переделкино (Пастернак, Чуковск. Ко, Иванов В.С.) или же Николина Гора (Асеев и его девушки Синяковы; он мой великий друг, а их знаю с 1907 г.). Там же Л.Ю. Брик, Вас. Абг. Катанян, Михалков (были Толстой и Прокофьев)».[24]

Между первым и вторым визитом в СССР Давид Бурлюк пытался завязать переписку с Натальей Васильевной Крандиевской-Толстой. За день до написания цитируемого в начале статьи письма Никифорову, 11 мая 1960-го, он написал ей письмо, в котором выразил своё восхищение её мемуарами (он пишет о том, что Мария Никифоровна читает ему их вслух в то время, когда он работает), напомнил Наталье Васильевне о том, что ехал с ней в поезде через Самару, когда она ехала в своё имение в Заволжье, попросил её адрес, чтобы выслать комплект издаваемых Бурлюками в США сборников и журналов «Color and Rhyme» и, конечно же, упомянул о том самом обеде, на который он был приглашён Ал.Н. Толстым в 1913 году.

Приехав в СССР во второй – и последний – раз в 1965 году, Давид Бурлюк пытался разыскать Наталью Васильевну. Иван Никитич Толстой вспоминает:

«Летом 1965 года в дверь нашей квартиры позвонили. Я был дома один, и это были времена, когда дверь чужим людям открывали без малейших сомнений. Особенно если учесть, что мне было тогда семь лет.

За дверью оказалось двое высоких серьёзных мужчин в пальто.

– Это квартира Толстых? – спросил один из них.

– Да, – ответил я.

– Можно увидеть Наталью Васильевну?

Я заробел, растерялся и почему-то не сказал, что бабушка несколько лет назад умерла.

– Её нет дома.

– А кто-то из взрослых есть?

– Нет.

– А как можно увидеть Наталью Васильевну? – так же строго спросил мужчина.

И вновь я не сказал о том, что она умерла.

– Поезжайте на Чёрную речку, дом 10, квартира 5, там живёт мой дядя. Он вам скажет.

Адрес дяди в свои семь лет я помнил.

– Ну хорошо, – сказал мужчина. – Передай родителям, что приходил Давид Бурлюк.

Когда через час родители пришли домой, я всё им рассказал. Только имя Бурлюка забыл, перепутал и назвал какое-то другое, забавное, имя. Они рассмеялись и сказали, что такого имени не существует. И очень удивились, почему я не сказал о том, что бабушка умерла.

Через месяц папа спросил у меня:

– Того мужчину, который искал бабушку, случайно звали не Давид Бурлюк?

– Точно. Бурлюк, – ответил я».[25]

Прожив в Америке более сорока лет, Давид Бурлюк пересмотрел своё отношение и к советской власти, и к критикуемым им ранее «буржуям». Показательно в этом отношении его письмо Н.А. Никифорову от 24 октября 1961 года, где Бурлюк пишет о том, что нужно «вылечиться от болезни левизны» и нормально воспринимать этих самых «буржуев»:

«По секрету только Вам. Заклейте это. Проблема: как нам жить в мире, дружбе, любви, кооперации с капиталистами, „буржуями“ – „врагами рабочего класса – богачами?“

Прежде всего, надо жить в мире, в любви со своим прошлым, с отцами своей Родины. Суворовы, Кутузовы, Гончаровы, Пушкины, Тургеневы, Некрасовы, Толстые, графы князья (Ал. Толстой 1-й, второй) и Ко были „буржуями“, врагами „рабочего класса“ и т.д. и т.п.

„Надо вылечиться от болезни левизны“».[26]

То, что Алексей Толстой стоит в письме в одном ряду с Пушкиным, Тургеневым и Некрасовым, замечательно характеризует Бурлюка. Талант для него, в конечном счёте, оказался важнее классовой принадлежности и социальной ориентации, а старые обиды не стоили того, чтобы о них вспоминать.

Литература:

[1] Сергей Николаевич Розанов – генерал-лейтенант, деятель Белого движения, с 18 июля 1919 г. по 31 января 1920 г. – главный начальник Приамурского края.

[2] Давид Бурлюк. Фрагменты из воспоминаний футуриста. «Пушкинский фонд», С-Пб. 1994. С. 16.

[3] Д.Д. Бурлюк. Письма из коллекции С. Денисова. Тамбов, 2011. С. 335

[4] Д.Д. Бурлюк. Письма из коллекции С. Денисова. Тамбов, 2011. С. 164-165.

[5] Там же. С. 283
[6] Там же. С. 55.
[7] Давид Бурлюк. Фрагменты из воспоминаний футуриста. «Пушкинский фонд», С-Пб. 1994. С. 21.
[8] Д.Д. Бурлюк. Письма из коллекции С. Денисова. Тамбов, 2011. С. 147
[9] Д.Д. Бурлюк. Письма из коллекции С. Денисова. Тамбов, 2011. С. 136-137.
[10] Там же. С. 116.
[11] Д.Д. Бурлюк. Письма из коллекции С. Денисова. Тамбов, 2011. С. 127
[12] Давид Бурлюк. Фрагменты из воспоминаний футуриста. «Пушкинский фонд», С-Пб. 1994. С. 170.
[13] Там же. С. 186-187.
[14] Д.Д. Бурлюк. Письма из коллекции С. Денисова. Тамбов, 2011. С. 324
[15] Там же. С. 411-412
[16] Д.Д. Бурлюк. Письма из коллекции С. Денисова. Тамбов, 2011. С 47.
[17] Цит. по: Елена Толстая. «Дёготь или мёд». М, Российский государственный гуманитарный университет, 2006. С. 164.
[18] http://sites.utoronto.ca/tsq/24/tolstaya24.shtml
[19] Там же.
[20] http://www.famhist.ru/famhist/majakovsky/0001c006.htm
[21] Цит. по: Елена Толстая. «Дёготь или мёд». М, Российский государственный гуманитарный университет, 2006. С. 333-334.
[22] http://7i.7iskusstv.com/2018-nomer8-mpoljanskaja/
[23] Елена Толстая. «Дёготь или мёд». М, Российский государственный гуманитарный университет, 2006. С. 169.
[24] Д.Д. Бурлюк. Письма из коллекции С. Денисова. Тамбов, 2011. С. 67.
[25] Из устного рассказа И.Н. Толстого автору статьи.
[26] Д.Д. Бурлюк. Письма из коллекции С. Денисова. Тамбов, 2011. С. 472

ЕЛЕНА КОРО

«ВЕК ПОЗОЛОЧЁРНОЙ СЕРЕБРОНЗЫ»
интервальная парадигма Вилли Мельникова

Современная философия науки, руководствуясь открытием квантовой механики, в частности, принципом дополнительности Бора, создаёт интервальную парадигму в связи с проблемой парадоксальности познания. В рамках квантово-механического описания физической реальности оказалось возможным существование в двух взаимоисключающих состояниях реальности: волновом и корпускулярном. Философия интервальности вырабатывает методологию многомерного постижения реальности. Следствием этого становится представление об «интервале».

Как пишет академик Лазарев в своей работе о принципе многомерности мышления, «интервал символизирует собой не столько „аспект“ предмета, сколько некоторую целостность, „возможный мир“ в структуре реальности» [1, с. 162].

С точки зрения интервального взгляда многомерный объект при определённых обстоятельствах может быть одноплоскостным. Абстрагирование реализует членение реальности в виде одноплоскостных картин, задавая интеллектуальную перспективу видения мира. Субъектом в данном контексте используются различные «образы», модели реальности при условии, что они все одинаково необходимы, ибо в совокупности исчерпывают информацию об объекте. Апории познания разрешаются введением в интервальную рациональность феномена многомерного (интервального) разума.

Одним из постулатов интервальной рациональности, как считает профессор Лазарев, является возможность одновременного существования множества непересекающихся логик рассуждения, обуславливающихся существованием разных онтологий, что свидетельствует о многомерной природе мира.

Следовательно, с точки зрения интервального подхода можно говорить о многомерной структуре самого философского текста.

Приведём как пример текст античной философии. Рассмотрим в этом контексте диалог Платона «Тимей» [3]. Его можно рассматривать как герменевтическую модель, внутри которой в диалоговой форме осуществлён анализ двух моделей: первичной, это модель архаического мифа о хорических Афинах, и дискурсной интерпретации этой модели в ходе её реконструкции.

Мы можем сделать вывод, исследуя данную модель философского текста. Интервальный подход к диалектической дилемме памяти-забвения помогает выявить утраченную картину мира. Суть диалога заключается в утрате древними греками памяти о существовании архаических Афин, о чём в ходе диалога напоминает Солону египетский жрец. Исследование модели мифа о существовавших прежде Афинах даёт возможность исследовать метатекст как «возможный мир» в контексте текста.

В ходе таких диалогов: Солон и египетский жрец, диалог-воспоминание Критием изначального диалога между Солоном и египетским жрецом, интерпретация участниками платоновского диалога истории, рассказанной Критием, можно проследить, как происходит сам процесс платоновского «вспоминания». Его структурную модель диалоговых цепочек, сам процесс «вспоминания» из диалектической дилеммы: памяти-забвения путём последовательной реконструкции отдельных звеньев утраченного знания, теперь уже в форме архаического мифа, расширяющего собственную структуру в ходе циклической интерпретации всё большим кругом участников, подобно расходящимся кругам на воде.

Подобный интервальный метод моделирования литературного текста мы можем проследить в интервалах квантовой лингвистики, образующих семиотическую модель метатекста «единицами-мыслекодами» индивидуального языка автора, семантическим узором метатекстовых нитей, моделирующих поэтический космос московского поэта Вилли Мельникова. Попробуем разобрать неологизм-кентавр автора в интервале квантовой лингвистики.

Рассмотрим пример, когда константами модуляций становятся корневые ядра антропоэтонимов, а динамику кентаврам-неологизмам придают суффиксальные переменные, взятые из других языков по омонимичному сходству фонетического созвучия.

«ПрисПущин флаг: рифмiть нет сил.
П, слог улучшив,
певец конФет не поступил
в литинстиТютчев!
СниМая-ковского поправ,
рвут на иконки
кордебалетопись приправ
для Евтушёнки.
Растаял Гумилёд, раскрыв
на зависть сутрам
Ахматадулинский надрыв
ОБЭРИУтром.
По пятиБальмонтной шкале
огнями Эльма
в разорВолошинской скале
жгут Коктебельма„»

«Век позолочёрной серебронзы»

Здесь интересна парадигма времени, создаваемая автором, парадигма времени, данного в интервалах. Реконструкция литературных эпох в русской поэзии: золотого, серебряного и бронзового трансформируется в единую модель «века позолочёрной серебронзы». Также моделируются метаимена, авторские мета-антропоэтонимы. Антропоэтоним Пущин проявляется внутри причастия «приспущен» в выражении «приспущен флаг», выражающем метафорическую констатацию деятельности Пущина в восстании декабристов. Автор использует этот приём раскрытия своих метаслов, как вещей в себе, как приём внутренней активации непроявленного корневого ядра, антропоэтонима, для реализации авторской метаметафоры. Зачастую это простая подмена суффиксальной буквы. Таким же образом интервальной реконструкции метаслова внутри слова автор моделирует «певца конФет», создавая метаобраз внутри слова, и синтезируя качественную характеристику самого «певца», вещь в себе – в проявлении. Фет – певец конфет.

Растаял Гумилёд, раскрыв
на зависть сутрам
Ахматадулинский надрыв
ОБЭРИУтром.

Век позолочёрной серебронзы [2, с. 39]

Интересно создание интервалов времени в форме перехода серебряного века в бронзовый век, в авторской интерпретации. Мета-антропоэтоним «Ахматадулина» в выражении «Ахматадулинский надрыв». Сочетая два имени, принадлежащих разным эпохам, серебряному веку: Ахматова, бронзовому веку, или эпохе шестидесятников: Ахмадулина, Вилли синтезирует два лирических голоса двух времён, двух эпох русской поэзии в единую новую форму в интервалах «ахматадулинского надрыва», в метасплав времён, но для поэта современности, поэта уходящего 20 века и начала 21 века (а само стихотворение было написано

в марте 2000 года). На стыке тысячелетий этот «надрыв», как тектонический разлом внутри тысячелетий, преодолеть который возможно только в рамках полиинтервальной парадигмы переходом к квантовой лингвистике. Так Вилли Мельников в лучших традициях русской поэзии преодолевает парадигмальность постмодернизма конца двадцатого века переходом к парадигме интервалов методами квантовой лингвистики. Переход осуществляется в крайне сложную эпоху «нулевых» годов в русской поэзии.

По пятиБальмонтной шкале
огнями Эльма
в разорВолошинской скале
жгут Коктебельма

Век позолочённой серебронзы [2, с. 39].

Эта эпоха отразилась в творчестве поэта как творческая апелляция к веку серебряному отражением разорванного столетия, даже тысячелетия в контексте Волошинского Крыма, который сам Вилли очень любил. Стихотворение было написано поэтом в Крыму в Коктебеле. Здесь появляется очень сильный образ «разорВолошинской скалы». Эта скала в горном массиве Кара-Дага абрисом напоминает самого Волошина. Этот абрис и появился после Ялтинского землетрясения в начале двадцатого века. В эпоху «нулевых» двадцать первого столетия этот образ «разорВолошинской скалы» видится автором как тот текстонический разлом в литературных эпохах, который поэт и пытается преодолеть в формах не линейного литературного времени, но в новых формах поэзии интервалов, в единицах квантовой лингвистики.

Вилли Мельников, творя кентавр-антропоэтоним, создает слово би-интервальное, внутренняя семантика которого строится по закону диалектики интервалов, это некая лингвистическая квантовая единица, би-интервальная по значению. Каждая морфема-билингва внутри неологизма, с одной стороны, имеет автономное, присущее ей корневое значение. С другой стороны, по принципу семантической дополнительности, раскрывает слово изнутри как состояния двух «возможных образов», каждый из которых в зависимости от точки зрения, то скрывается как потенциальный, то проявляется антитетически, выявляя его скрытый синтетический замысел, то есть являет собой единицу своеобразной квантовой лингвистики, возможной в рамках парадигмы многоинтервальной реальности.

Список литературы:

1. Лазарев Ф.В., Трифонова М.К. Философия. Учебное пособие. Симферополь: СОНАТ, 2003. 385 с.
2. Мельников В.Р. Штурман железнодорожного плавания. Киев: Інтерсервіс, 2016. 222 с.
3. Платон. Собрание сочинений. М.: Мысль, 1994, Т.3. 654 с.

«КНИЖНАЯ ПОЛКА» ЕЛЕНЫ СЕВРЮГИНОЙ

ВЕЧНОСТЬ И ПОЛЁТ БАБОЧКИ

(Алексей Паперный. Пьесы. – М.: Культурная инициатива, 2021. – 240 с.)

Современная драматургия – явление в чем-то парадоксальное. С одной стороны, она вырастает из строгих канонов и устоявшихся традиций. Но тем ощутимее инновации (и в формальном и в содержательном плане), которые разрушают её привычный облик, шокируя неподготовленного читателя предельной остранённостью. Пьесы музыканта и драматурга Алексея Паперного – прорыв в сценическое запределье, где местом действия становится всё вокруг – человеческая жизнь в её общих и частных проявлениях. Здесь всё не понарошку и не условно, а взаправду. Здесь разыгрываются судьбы и делается главный нравственный выбор – остаться всего лишь актёром или сделать шаг в сторону истины.

Можно ли в этой связи назвать Паперного новатором? Да, безусловно. Его пьесы, сотканные из парадоксов и антиномий, выводят читателя из зоны комфорта – постмодернистские по сути своей, они либо шокируют, отталкивают, либо заставляют кардинально поменять угол зрения на мир и его законы. Но традиция здесь тоже присутствует, хотя и весьма своеобразно. Не стремясь ни на что навешивать ярлыки, отметим, что художественный замысел произведений современного драматурга «вырастает из Чехова», но в процессе своего развития и становления преобразуется в чеховский антимир. Герои Алексея Паперного нередко совершают путь «из футляра в бесконечность» – им это удаётся, в отличие от персонажей «Вишнёвого сада» или «Трёх сестёр».

Амбивалентная организация художественного пространства, в котором сталкиваются обыденное и незаурядное, привычное и непривычное, вселенское и сиюминутное, работает на преодоление инерции самой жизни, в которой трудно не обмещаниться и не утратить истинное лицо. «Ружье в конце обязательно должно выстрелить», – энергично вступает в полемику с Чеховым создатель китайского лётчика Джао Да. Поэтому всё может начинаться по-чеховски – с заурядного разговора, в котором каждый слышит только себя, с горестных раздумий о несостоявшемся счастье, с тривиальной ссоры двух любовников – но заканчивается внезапным мистическим прозрением. Так, в пьесе «Август», название которой никак не связано с сюжетом, герои А и В, говорящие о чём угодно, кроме того, что их действительно волнует, наглядно демонстрируют приём десемантизированного, лишённого смысла диалога, отражающего абсурдность жизни. Но логический акцент у Паперного смещается в сторону авторских ремарок – именно здесь в действие экзистенциально врывается голос истины. Достаточно одного жеста, одной манипуляции с предметом, чтобы сработал чеховский приём «подводного течения» и открылась дверца в другой портал – своего рода зазеркалье, где персонажи живут и действуют уже совсем по иным законам, а логика развития действия перестаёт быть очевидной. Истина где-то рядом, хотя и едва уловима – например, в навязчиво упоминаемом предмете, с которым постоянно происходят какие-то манипуляции. В пьесе «Август» это обычный стул, на котором сначала сидит загадочный М.Ч. (маленький человек с воющим волком в кармане) и который впоследствии то разбивает об пол, то приобретает за 300 долларов страдающий от недовысказанности чувств герой А.

И чем бессмысленней диалог, происходящей перед этим, тем ощутимее внутренняя эмоциональная напряжённость действия:

В. Эти бусы я купила в Генуе. Короче, я надену серое платье и синие туфли. (Переодевается.)

А. Красиво.

В. Это ужасно, когда так много платков. Мне нравится этот, этот и этот. Выбрать невозможно, я надену все три. Нет, лучше два. Красиво?

А. Да, очень.

В. Всё, я пошла.

А. Пока.
В. Пока (выходит).

А. берет стул и разбивает его об пол.

Паперный намеренно запутывает своего читателя, создавая для отвода глаз внешне хаотичный сюжет. Но чтобы понять внутреннюю логику этого хаоса, надо научиться улавливать голос мистических озарений. А он «разлит» по всей книге в виде причудливых, неожиданных образов и метаморфоз, которые становятся смысловыми скрепами как внутри каждой пьесы, так и между ними. В сущности, каждая рассказанная автором история – это трагедия несоответствия видимой, кажущейся и подлинной жизни человека. «Мы – не то, что есть на самом деле, а то, чем бы мы хотели быть», – такова, пожалуй, главная мысль Паперного. Не случайно уже в первой пьесе заявлен тезис, который становится сквозным мотивом всех последующих произведений:

Джао Да подумал, что этот странный человек не решается рассказать хоть кому-нибудь историю, как из русского лётчика, служившего в Африке, вышел французский заправщик, живущий в мираже. Наверное, произошло что-то очень важное, и он думает об этом не переставая уже много-много лет.

Главная мысль звучит в начале книги, но вслед за этим, следуя за весьма неочевидной логикой авторской мысли, читатель начинает чувствовать некий дискомфорт. Происходит кардинальная подмена понятий: театр и жизнь, мираж и реальность как будто меняются местами. Герои ведут себя нетипично, несоответственно своему статусу, национальности, положению в обществе, но это почему-то никого не удивляет. Африканец, свободно владеющий русским языком, да ещё и пушкинским слогом, возникающие посреди пустыни Лермонтов и Мартынов, разбойники-кочевники, пасующие перед «умным человеком», говорящие грачи – всё это кажется абсурдным лишь поначалу. Но постепенно приходит осознание того, что автор бросает вызов чеховскому футляру, миру устоявшихся законов и предписаний, где не остаётся места свободе, любви и счастью.

Пьесы Паперного – эффект дребезжания струны, той самой, заветной, в которой подлинное, но не всегда востребованное звучание нашей жизни. Здесь за абсурдом происходящего стоит нечто иное – какой-то невидимый персонаж, и знакомый и незнакомый. Он проявляется в неожиданных, шокирующих откровенностью монологах действующих лиц, в образах теософски настроенных, говорящих мотыльков и комариков, в звуке баяна. Он же управляет поступками людей, поступающих весьма странно и непредсказуемо, с наивной, но намеренной прямотой. Изо дня в день разыгрывая одну и ту же бессмысленную драму с бесконечно повторяемым набором ситуаций, персонажи пьес в конечном итоге решаются на создание альтернативного сценария собственной жизни. Всё становится возможным и уместным.

Традиционное представление о театре рушится навсегда. Сценическое действие кардинально меняет свою функцию – оно перестаёт быть формой лицедейства и становится способом личностной самоидентификации. Герои для того и сбегают в мир сценической условности, чтобы, прикрываясь ею, сказать о том, что их действительно волнует, сделать то, что для них действительно важно.

В пьесе «Река» бывший следователь решает *«бросить это всё, взять кошку Риму и отправиться в путешествие»*. Менты Коля и Петя из той же пьесы сначала ссорятся из-за убийства паука, а потом становятся баянистами. Даже шляпа, слетевшая с головы Человека в Шляпе, летит по воздуху, представляя себя птицей.

И причиной всему – любовь, которая и есть прорыв к истине, к подлинности бытия. Квинтэссенцией этой мысли становятся пьесы «Август» и «Байрон». Потребность в любви заставляет героев «обнажаться» духовно и физически и поступать так, как велит им внутренний голос. Героиня «Байрона», учительница Елена Олеговна рассказывает детям о вечности, музыке и мечте, её монологи экзистенциальны и не обязательно предполагают слушателя – это просто форма подсознательной провокации, выстрел по внешним приличиям, убивающим природу подлинных желаний:

Дети! Между собакой и волком, когда уже началось, но ещё не случилось, когда вот-вот, но ещё не, самое короткое время во Вселенной, когда только коснулась краем платья, когда закрываешь глаза и сквозь ресницы перед темнотой не там и не там летишь и падаешь, и неясные очертания, когда только начинаешь открывать глаза – это и есть настоящая жизнь…

Настоящая жизнь случается на сцене, во время спектакля «Ромео и Джульетта», когда влюблённые друг в друга Виолетта и Борис зачинают сына прямо на глазах изумлённой и возмущённой публики.

Настоящая жизнь начинается также в тот момент, когда *«в душе Олега Антоновича соединились в одно целое Елена Олеговна и Вечность. В голове Игоря Борисовича соединились в одно целое Музыка, Мечта и Елена Олеговна. А в сердце Елены Олеговны соединились в одно целое Олег Антонович, Игорь Борисович и Любовь!!!»*.

Крах условностей происходит и в сюжетно-композиционной организации пьес. Они лишь внешне разделены между собой, но, по сути, развивают и дополняют одну и ту же тему. Отсюда «кочующие» из одной истории в другую баянисты, говорящие объекты природы, таинственные незнакомцы. Параллельные сюжетные линии, в которых действуют герои из разных географических мест и даже эпох, в конечном итоге, сливаются в единое повествование – и вот уже мсье Антуан, приятель Моцарта, с упоением слушает минорную песню об одинокой рыбке, исполняемую Игорем Борисовичем под аккомпанемент баяна и очень напоминающую моцартовскую сороковую симфонию.

И в этом разрушении временных и пространственных границ есть нечто созидательное. Это первый шаг к осуществлению грандиозного плана – освоить межпланетное космическое пространство и пристегнуть *«сто семьдесят четыре ящика по сто двадцать ракет с ядерными боеголовками сверхкосмической дальности… к… „Вечности“»…*

Как же актуально это звучит именно сейчас, когда необходимо выбраться из своих персональных «сундуков» – они же футляры предрассудков, предубеждений, ложных истин. Но для этого надо стать чуточку безумным, чуточку гениальным и способным самому себе признаться в очень сложных и трудно постижимых вещах: *«Мы все знаем, что бесконечность существует, но вот засада, знаем, а представить не можем. Некоторые могут. Но не я. У меня есть немного времени, а потом стенка, за которой ничего нет. Когда я помру, я просто помру. И снег в июне не пойдёт…*

Кто живёт не в сундуке? Сумасшедшая старушка, Моцарт… Кто ещё?.. Зато я могу ходить по лесу, шуршать листьями… кататься на коньках…».

В пьесах Паперного присутствует некий парадокс: они о вечности, но при этом есть в них что-то едва уловимое – тонкое и хрупкое, как полёт бабочки. Что-то настоящее, что есть в каждом из нас, но о чём мы почему-то всё время забываем – или делаем вид, что не помним.

Возможно, это свобода, которой обычные люди чаще всего противопоставляют правила, *«потому что они не слышат ангелов и не могут принять то, что нельзя объяснить»*. Та свобода, которая позволит понять, что в мире вообще нет никаких правил, кроме необъяснимого, невыразимого чувства правды и красоты.

СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ В НОВОМ ОБЛИЧЬЕ

(Рейбо Марианна. Письмо с этого света / Марианна Рейбо. Роман. – М.: «Вест-Консалтинг», 2015. – 200 с.)

Как превратить заурядный бытовой роман в настоящую феерию с философским подтекстом, инфернальной составляющей и гротескным соединением явлений разного порядка? Об этом стоит спросить у молодого писателя и журналиста Марианны Рейбо.

Уже название её книги, «Письмо с этого света», предполагает некую двуплановость повествования, где за первым, поверхностным слоем скрывается нечто совсем иное, напрямую связанное с подлинной авторской задумкой. И задумка эта, как представляется, предполагает столкновение простой житейской истории с историей общечеловеческой, библейской – воплощённой в универсальном мотиве нарушения запрета и последующего покаяния. Для чего тривиальную драму девушки-подростка необходимо было помещать в контекст глобального противостояния добра и зла, становится более-менее ясно, если следовать логике сюжета и образной системы. Все события, происходящие с главной героиней, чьё земное существование является одной из реинкарнаций дьявола, поэтапно воссоздают ключевые сюжеты Ветхого и Нового завета. Глобальное скрыто в малом, а рассказанная Марианной Рейбо история – частное проявление общечеловеческого, микромодель сценария о бунте, грехе и покаянии.

То, что о случившемся нельзя рассуждать в категориях повседневности, заявлено в самом начале романа, когда к читателю в довольно циничной форме обращается инфернальная, потусторонняя сущность героини. Именно от лица этой сущности (мужского лица, хотя героиня – женщина, что в высшей степени необычно) описаны все события. Но до конца остаётся неясным, что же первично – чувства одинокого подростка, породившего дьявольскую ипостась болезненным воображением, или же чувства дьявола, постепенно припоминающего свою истинную природу. Грани реальности размыты, да и существуют ли они вообще? С присущей ей журналистской дерзостью Рейбо утверждает, что явления, не допускаемые традиционной логикой, даже более закономерны, чем вещи очевидные. Просто очевидность – видимая сторона человеческого бытия, а доверять тому, что видишь, гораздо проще, чем скрытому. Между тем, наше подсознание гораздо мудрее разума:

«Я знаю, в детстве мама говорила вам, что дьявола не существует. Это она так, лгала во благо, а сама не раз поминала меня недобрым словом, пропустив очередь к терапевту или застряв каблуком в гармошке эскалатора…».

Интуитивное прозревание вечного сюжета в заурядных перипетиях бытовой драмы – такова работа вдумчивого читателя этой книги. Не следует доверять тому, что лежит на поверхности замысла – то, что происходит на самом деле, тщательно замаскировано. Художественный мир романа полон намёков и аллюзий, герои – совсем не те, за кого себя выдают, но их «разоблачение» становится возможным благодаря относительно небольшой по объёму главе «Тот свет». Эффект здесь такой же, как в романе Булгакова «Мастер и Маргарита», на который, кстати, неоднократно ссылается автор книги. Земные личины сброшены – остаётся игра добра и зла в чистом виде.

Но пойдём по порядку. Начинается всё с обычной истории, в который каждый образ, равно как и его роль в раскрытии основной идеи, тщательно продуман. Сюжет многослоен и предполагает несколько уровней прочтения. Что мы можем увидеть неподготовленным взглядом? Историю девушки, которая взрослеет, жаждет любви, находит её в лице юноши Андрея, но потом разочаровывается, совершает дерзкий поступок и уезжает в другой город, чтобы начать там новую жизнь и освободиться от прошлого. Однако от прошлого освободиться не получается, да и в новой жизни уже наделана куча ошибок – настолько серьёзных, что исправить их, по мысли героини, можно только смертью.

Между тем всё не так просто и очевидно, и по мере введения новых персонажей и сюжетных подробностей повествование становится всё более аллегорическим и библейским. Перед нашими глазами – очередное повторение извечной истории духовного бунта, отказа от смиренной покорности в поисках запретного плода с последующим грехопадением и покаянием. Для раскрытия этой идеи создаётся универсальный хронотоп, переводящий частные, временные понятия во вневременную плоскость, где активизируются общечеловеческие категории.

Художественное пространство книги организовано так, чтобы продемонстрировать амбивалентность ценностной шкалы героини, чьи нравственные метания материально выражены в непрерывном курсировании между двумя столицами – двумя крайними точками пространственной ориентации. Тайный отъезд из Петербурга с целью поступления в московский литературный институт и приобщения к миру богемы – своеобразная модификация универсального мотива мировоззренческого бунта. «Земному раю», сулящему радости спокойной семейной жизни, девушка, эдакий блудный сын в юбке, предпочитает сомнительное место искушений и соблазнов, позволяющих выйти за пределы дозволенного и преодолеть инертность предопределённости. Символичен в этой связи и образ поезда – условного пространства, в котором можно ненадолго отдохнуть от нравственного выбора:

«меня снова ждал поезд – короткая передышка от жизни, возможность на миг забыться в межвременьи».

Всё, что находится за пределами поезда, становится ареной символической борьбы сил добра и зла за душу героини, но эти силы неравны. Ревностно оберегая своё личное, экзистенциальное «я» от любого влияния социума и коллективного разума, как то и подобает дьяволу, девушка почти не сопротивляется олицетворяющим свободу духа соблазнам. Силы добра в лице матери и жениха Андрея до определённого момента сдерживают её внутренний бунт, однако выбор уже предопределён, и тяга к запретному перевешивает всё остальное. Вторая часть романа – настоящая мистерия греха во всём многообразии его проявлений, берущих начало от книг Ветхого и Нового Завета. Сначала было совершено прелюбодеяние, подарившее героине чувство свободы и вседозволенности. Так в человеке, «помеси Духа и Зверя», в очередной раз побеждает Зверь, и с каждым разом его голос становится всё громче, и внутренний дьявол торжествует:

«Говорят, достаточно один раз переступить некую черту, и ты уже не можешь остановиться. Запутываешься всё больше и больше, всё ниже опускаешься, и каждый следующий шаг вниз даётся легче предыдущего. Не берусь говорить за всех, но про себя могу с уверенностью сказать – да, это правда».

Окончательное грехопадение завершается двумя символическими сценами, отсылающими читателя к магистральным мотивам мировой культуры. Так, об оргии в столичном ресторане в своей статье, посвящённой книге Марианны Рейбо, упоминает критик Евгений Мелешин. Циничность ситуации в том, что присутствие в месте события двенадцати «небожителей», студентов старших курсов литинститута, делает её перевёрнутой картиной тайной вечери, после которой, как известно, был предан Иисус Христос. Здесь этим самым тринадцатым, принесённым в жертву, становится Андрей – жених героини, ставший свидетелем её непристойного поведения и совершивший акт самоубийства. В итоге прелюбодеяние перерастает в грех, куда более страшный по меркам христианской этики – предательство, хоть и невольное.

Масштабность содеянного подчёркивается образом вавилонской блудницы, сидящей на семиглавом и десятирогом звере. У этого библейского сюжета множество трактовок, но все они так или иначе сводятся к идее апокалипсиса и падения «в мерзости земные» с принесением кровавых жертв. Именно такая ассоциация приходит в голову героине при воспоминании о событиях того рокового вечера:

«Запах близкой крови извещает Зверя о появлении тринадцатого. Главная жертва, мелькнув привидением пред глазами участников действа, устремляется навстречу своей гибели…».

Вторая сцена страшна степенью святотатства и отречения от Бога – грех, близкий к первородному, связанный с нарушением строжайшего запрета на неприкосновенность, совершается на фоне чтения глав из Библии. В системе образов романа таким сорванным запретным плодом для героини становится приютившиё её старшекурсник Михаил – мужчина нетрадиционной ориентации. Соитие с ним, предвосхищаемое словами *«Да святится имя Твое, да приидет царствие Твоё»*, привело к окончательному саморазрушению земной ипостаси дьявола и освобождению его подлинной метафизической сущности. В коротенькой главе «Тот свет», отсылающей нас сразу к нескольким культурным источникам, автор со свойственной ему иронией рассказывает историю Адама и Евы. Эти «духи, заключённые в плоть», были соблазнены Люцифером и с позором изгнаны из рая, а сам соблазнитель, подаривший первым на земле людям свободу выбора, утратил доверие Бога и получил наказание в виде бесконечного прохождения *«круга рождения и смерти, короткого счастья и долгого страдания, редких минут просветления и ежедневного греха»*.

Этот извечный сюжет мировой литературы, повторяемый не только в искусстве, но и в каждой частной жизни, и в каждом индивидуальном сознании – подлинная основа человеческого существования, на фоне которой оставшиеся 11 сюжетов (война, любовь, путешествие, власть, деньги и т.д.) кажутся вторичными. Таково литературоведческое открытие Марианны Рейбо, чья героиня похожа одновременно на многих хорошо известных классических персонажей – это и несчастный Раскольников, свободолюбивая теория которого приводит к целому ряду случайных смертей, и герой Булгакова Иван Николаевич Понырев, осознающий собственную бездарность, и жаждущий познаний Фауст, и сам Люцифер – переживший ряд трансформаций культурный образ-архетип.

И всё же есть ещё одна тема, которая для автора становится и закономерным завершением романа, и ответом на вопрос: «Во имя чего все эти страдания и неизбежный путь греха с последующим покаянием?». Это тема творчества, делающего человека равным создателю, дающего ему право на бессмертие в своих творениях и возможность «наполнять свою жизнь смыслом по собственному усмотрению».

Роман, вопреки его мрачной интонации, оптимистичен. Если вспомнить – главная героиня связывает свою жизнь с литературой, пишет стихи и пробует себя в роли критика. После неудачной попытки самоубийства она получает шанс на возрождение – и в прямом, и в переносном смысле слова. Возможно, именно теперь, когда ошибки осознаны и сделан путь к покаянию, свободу выбора можно будет употребить во благо и в целях созидания. Возвращение в Петербург символизирует новое обретение утраченных ценностей, создание более прочных духовных связей с миром.

Хочется вслед за автором убедить читателя в том, что зла бояться не стоит – постижение его подлинной природы необходимо и для осознанного выбора добра. Кто знает? Возможно, путь к свету начинается в тот момент, когда мы в зеркале начинаем видеть того, о ком раньше и не вспоминали – старого знакомого в новом обличье.

БАБОЧКА, ЗАПРЯТАННАЯ В ГУСЕНИЦУ

(Савушкина Нина. Небесный лыжник. Книга стихов (Серия «Петроградская сторона») – Санкт-Петербург, СПб ОО «Союз писателей Санкт-Петербурга»/ «Геликон Плюс», 2015. – 256 с.)

Для всех любителей изящной словесности и возвышенного поэтического слога знакомство с творчеством питерского поэта Нины Савушкиной станет настоящим потрясением, культурным шоком. Ни восторженного умиления от увиденной картины, ни «слюнявых» поэтических интонаций, ни вселенского катарсиса у этого поэта нет и в помине – зато в изрядном количестве присутствует язвительно-иронический взгляд на мир и воспевание его изнаночной, неприглядной стороны.

Отсюда тяготение к таким жанрам, как пародия, памфлет, стихотворный фельетон – но всё это на добротной постмодернистской закваске в сочетании с классической литературной традицией. В частности, сама Нина своим гуру считает известного уроженца Санкт-Петербурга Вячеслава Лейкина. Но о каких бы литературных влияниях мы ни говорили – главным достоинством поэзии Нины Савушкиной остаётся её самобытность, совершенно особенный (не каждым принимаемый) взгляд на мир. Впрочем, поэт и не должен нравиться всем – напротив, он должен иногда привносить в общество некий диссонанс, неожиданную кислинку на фоне господствующей щелочной среды. Не беда, если у некоторых неподготовленных читателей от этой кислоты начнётся несварение желудка. Зато потом выработается иммунитет, и опыт второго прочтения станет более удачным.

Если проводить литературные аналогии, то невольно всплывает имя знаменитого героя Ганса Христиана Андерсена. Нина Савушкина очень похожа на мальчика Кая, которому в глаз попал осколок льда, и от этого он всё начинает видеть в несколько искажённом свете. На её «свалке воспоминаний» мечутся

птицы, «морды цветов скалятся по-собачьи», а небеса, подобно панталонам, сушатся на мёрзлых проводах. Но феномен в том, что эта вывернутая наизнанку вселенная со слегка уже гнилостным вкусом совсем не лишена изящества и по-своему притягательна. Возможно, дело в правде жизни и в искренности интонации, которую невозможно не ощутить.

Впрочем, было бы ошибочным приклеивать к Нине ярлык насмешницы и пересмешницы. Её книга «Небесный лыжник», получившая в 2015 году премию Анны Ахматовой, включает в себя избранные произведения, написанные за несколько десятилетий творческой жизни. Стихи первого раздела «Внутри часов» можно отнести к ранней лирике – тому периоду творчества, когда поэтесса была ещё «молодой и доброй», не обозлённой жизнью. Несмотря на то, что свойственные её художественному сознанию сквозные мотивы и характерные интонации ощутимы уже здесь, эту поэзию можно назвать утончённой, философской, глубоко прочувствованной.

И всё же именно в этом разделе надо искать истоки той ироничности и бравадности, которые станут неотъемлемыми спутниками строптивой музы Нины Савушкиной. Возможно, это просто обратная сторона медали – попытка примириться с недостижимостью идеала, в который реальность неизменно вносит свои коррективы. Так, нередко в ранних стихах Нины возникает тема ограниченного пространства, нереализованной яркой жизни, вынужденной выживать в затхлой среде: бабочка в застенке часов, закупоренная бутыль, гусеница, так и не ставшая бабочкой… Всё это вызывает не улыбку, а щемящее чувство чего-то напрасно ожидаемого – как в пьесах Сэмюэля Беккета:

Мне кажется, я в этот мир попала,
как бабочка в настенные часы,
где стрелок заострённые усы
слегка дрожат в предчувствии обвала…

А мне осталось, зацепившись тут –
внутри часов, как в избранном застенке,
разглядывать узор пыльцы на стенке,
где мои крылья также отцветут.

Разглядывание «запылённого узора» становится главным предметом изображения в художественной антисказке Нины Савушкиной. Её поэзия, едкая, хлёсткая, местами нарочито-циничная, насквозь пронизана декадентской эстетикой распада. Кажется, автор наслаждается лицезрением моральных нечистот и духовных задворок жизни, подкрепляя читательский интерес весьма самобытными, материально-вещными метафорами и сравнениями, стилистически снижающими лирическую интонацию (если, не дай бог, она где-то проскользнёт). Второй раздел – «Осенний сад» – самый настоящий разгул авторского своеволия, превращающего любую романтическую историю в непристойный пасквиль с комически-трагическим концом. Лица, обезображенные любовью, повар, красномордый как закат, лунный свет, блестящий в компостной яме, солнце, плывущее погребальным венком – таковы образы – краеугольные камни художественного пространства питерской поэтессы. Это тоже своеобразное мифотворчество, в котором нарочито грубая лексика и сарказм, созданные с целью психологической защиты, становятся частью идиостиля. Художественные определения у Нины Савушкиной всегда предельно остры и способны поразить читателя не только своей оригинальностью, но и неожиданной точностью, адекватностью ассоциативного сближения отдалённых понятий. Помимо всего прочего, они говорят об особом складе ума их создателя, ненавидящего всяческую сопливую лирику и сентиментальную вторичность. Кажется, эти строки из стихотворения «Манифест» в полной мере отражают особенность авторской эстетической позиции:

Я не терплю пасторалей, идиллий,
Сентиментально-слюнявых лобзаний.
Бескомпромиссный оскал крокодилий
с яростью я сочетаю фазаньей.

Эта избыточная ярость, с которой Савушкина иногда как будто даже перебарщивает, создаёт эффект зарвавшегося Маяковского, превращающего мир вокруг себя в гротеск и буффонаду. Так в разгар ностальгического воспоминания – описания романтической прогулки – эдаким бревном в глазу у читателя вспыхивает совсем неромантическая, поражающая своим циничным натурализмом фраза: *«и вот его лицо – внезапное, как рвота, / блеснув из-за кустов, запачкало пейзаж»*. Это может вызвать и смех, и шок, и удивление авторской дерзостью, способной низвести до комического уровня высокие понятия. Но в этом – основа авторской самоиронии, не допускающей упоения трагизмом бытия. Там, где можно было бы расплакать-

ся, Нина Савушкина смеётся – немного демоническим, нарочитым смехом, но почему-то искренности это не отменяет. А гастрономические аналогии просто выше всяких похвал – иногда они отталкивают, но по большей части становятся находкой для истинных гурманов: наряду с «заплесневелым черносливом» глаз и набухающей печенью чайной розы – «взбитые сливки штор» и «желток витража», «отвары арий», «седые шампиньоны куполов». А стих «Лидо ди Езоло» по метафоричности может сравниться разве что с Венецией-баранкой Пастернака:

В супнице бухты, приливом облизанной,
плещет медуза прозрачною лысиной,
в зеленоватом растворе всплывая
клёцкой морской из солёного теста.
И нескончаемо, словно сиеста,
тянется линия береговая.

Третий раздел книги – «Персонажи» – раскрывает ещё одну грань поэтического таланта Нины Савушкиной – она мастер сатирического портрета. Нередко это пародия на конкретных литературных деятелей, знакомых автора – и этим людям точно не позавидуешь. Каждая описанная деталь характера или внешнего облика попадает точно в цель, и даже возникает опасность, что незадачливого адресата подобных посланий запомнят в истории именно по этим язвительно подмеченным штрихам:

Ты слышишь, как стих декламирует femm fatale?
Приталенный лиф, в глазах ледяная сталь.
Духовное мясо – дичь весьма дорогая.
В ней детский наив, а рядом – дамский надрыв.
Сплошной креатив! Вместительный рот открыв,
Красиво кричит, истерику исторгая.

Склонностью к сатирическому восприятию мира объясняется и тяготение к центону – стиху, состоящему из хорошо известных цитат других авторов. При этом никакого намёка на плагиат и художественную несамостоятельность здесь нет. Есть удачное и весьма гармоничное соединение строк, из которого рождается оригинальный, пародийно искромётный художественный замысел. Порой это даже и не центон, а изящно вкраплённый в канву стиха интертекст, фоновый намёк на чужое высказывание. У Савушкиной эти инородные элементы всегда уместны и становятся украшением стиха, только оттеняя художественный замысел.

Стихотворение «Поэзия замечательных домохозяек», к сожалению, не вошло в книгу, но всё же хочется привести из него небольшой отрывок – в качестве образца идеально выверенного центона:

Известно мне – поэтов тесен строй.
Но в том строю есть промежуток малый…
Скорей моё чувствилище настрой,
и мы под ручку, словно брат с сестрой,
войдём в анналы.

Темница кухни рухнет, и тогда
редакций сонных распахнутся двери:
«Ну, здравствуй, „Новый мир“! Гори, „Звезда“!
Я к вам пришла – навеки, навсегда.
Умри, Сальери!»

Казалось бы, ничего не мешает закрепить за Ниной статус выдающегося поэта-памфлетиста. Однако последний раздел книги заставляет задуматься о другом – изящная червоточина в текстуре стиха неожиданно сменяется ностальгической, щемящей ноткой, с трудом скрываемой нежностью. Возникает тема детства, лирическая героиня Савушкиной уже без всякой иронии вспоминает о времени, проведённом с мамой, школьной подругой, поклонником-одноклассником, вздыхает над альбомом, где «потерянным раем будут казаться вчерашние фото». И внезапно перед читателем возникает совсем другой образ – не изрыгающей желчь свободолюбивой салонной дивы, а женщины, чья «жизни шестерёнка» начала ломаться. Образ небесного лыжника, положенный в основу названия книги, наводит также на мысль о конечности бытия, о том, что любой творец боится быть однажды преданным забвению, навсегда потерянным «теми, что внизу».

И Нине Савушкиной не чуждо это постоянное ощущение тревоги и отсутствия удовлетворённости собственным творчеством. Поэтессе как будто безмерно наскучило собственное амплуа язвительной травести – пора бы уже играть драматические роли, тем более что степень таланта вполне это позволяет. *«Замолчать бы, но имидж ко мне прилип, / надоев, как струп на подсохшей ранке»,* – горестно-иронически вздыхает автор и продолжает выполнять свою непростую миссию: высмеивать и обличать, язвить и самоиронизировать.

И становится совсем не до смеха – потому что чрезвычайно трудно добровольно избрать для себя участь бабочки, запрятанной в тело гусеницы. И всё же выбор этот более чем понятен – когда кругом полно бабочек-однодневок, легкомысленно и поверхностно порхающих над поэтическим омутом, гораздо полезнее «ползать» по дну и наблюдать мир изнутри. Тогда его реальный облик, отображённый в художественном образе, станет живым и настоящим:

С ажурного листа *слетев на дно оврага,*
ползу упорно ввысь, проталкивая слизь,
туда, где в облаках вальсируют имаго,
которые *давно на небо вознеслись…*

за то, что не постичь курсирующим *в кущах,*
сосущим *задарма нектар иных миров,*
как чешутся во мне осколки крыл растущих,
скребущих изнутри непродранный покров.

НА ЦИФЕРБЛАТЕ ВЕЧНОСТИ

(Костинский Андрей Ll / Андрей Костинский. – М.: ЛитГОСТ, 2022. – 66 с.)

С какого момента поэт преобразуется в творца и первооткрывателя? Думаю, это происходит тогда, когда ему становится тесно в границах заданных формы и смысла. Начинается усиленное преодоление инерции языка, стремление «взорвать» его изнутри неожиданными значениями и логическими связями. А в итоге – открытие новой вселенной, за пределами общепринятых законов лексического и грамматического строя.

С подобной задачей успешно справляется Андрей Костинский – поэт авангардного толка, издатель журнала «Лава», автор книги «Ll». Само название приглашает вдумчивого читателя к непростому диалогу с элементами математической шарады. Об этом в предисловии пишет российско-австралийский филолог, переводчица и литературный критик Татьяна Бонч-Осмоловская. «Ll» она расшифровывает как возраст автора (51). В ребусе эпиграфа к первому стихотворению слог «li» дорастает до «live» (жить), и это задаёт общую тональность поэтического сборника, обнажая ключевую философскую его тему – человека и времени:

ну вот и пятьдесят
один я разменял вторую элку
ходил в детсад в сто тысяч пят
и не в США Америк
<…>
встречаю ночью новый день
зажж'нною свечою
отбрасывая рифмой тень
прировненный собою

Столкновение вечного и сиюминутного, попытка примирить эти разновеликие начала, страх перед смертью как олицетворением физического распада и попытка примириться со смертью, даже полюбить её – вот ключевая тема этой книги. А непрерывное мелькание стрелок на вселенском циферблате и неуловимость человеческой жизни передаётся различными средствами. Прежде всего, средствами самого языка. Эклектика жанров и стилей – характерная особенность книги. Предпочтительная для выражения авторской мысли форма верлибра сочетается в содержательном плане с хокку – коротенькой философской зарисовкой текущего момента бытия, неизменно ускользающего от взгляда созерцателя:

новый год
найденная алфавитница
вместо гудков –
дождь по ржавому подоконнику

Постепенное убывание реальности, сведение её к минимуму – краеугольный камень импрессионистской эстетики Костинского. Его художественный мир подобен рисунку на песке – важно успеть прочесть до того, как смоет волна. А если не успеешь – другой возможности уже не будет, рисунок никогда не повторяется:

пусть всегда будет небо
так отразившее где пусть всегда буду я
пусть всегда будет берег
пусть все.....
пуст....

Всё зыбко и призрачно, абсолютно неуловимо – и как непредсказуема логика соединения песчинок мироздания, так непредсказуема и сама жизнь. Лирический герой, голос которого всегда слышен читателю, убеждён, что миром правят не вещи, а ментальные ореолы вещей, их колеблющиеся смыслы. Эта идея чётко выражена в образно-грамматическом строе языка книги. Внутри свободной формы – безграничное поле эксперимента, царство неологизмов, анаграмм и лингвистических аномальных зон, в которые, как в воронку, засасывает читателя. Мгновечность, тишинерв, плюновенье – существование этих логических тяни-толкаев возможно в границах той реальности, где подлинное бытование предметов заменено их голограммами, фантомными отпечатками – скриншотом голоса из разрыва лунного луча, тенью, проявленной в фотолаборатории, пеной в чашке луны, губами, вылепленными из вздоха.

Чем призрачнее отпечаток бытия, тем больше в нём подлинности, поскольку всё, что имеет материальную форму, разрушается временем. Можно уничтожить вещь, но память о ней останется. Автор, рассказывающий читателю свою глубоко личную историю, живёт воспоминаниями о самом дорогом, значимом, непреходящем. Рефреном через всю книгу проходит мотив материнской любви – абсолютной ценности, которая наполняет смыслом пустую вселенную, делает её очеловеченной:

на клочке тишины детской рукой выведено:
я слышу через семьмиллиардов лет
солнце.....
.....землю
<…>
после третьей скорой:
я слышу:
молитва мамы
обволакивает
тишину

Конкретные явления, оторванные от своих материальных воплощений, перестают быть герметически замкнутыми и становятся частью недискретного пространства. Здесь остаются только их бессмертные сущности, непередаваемые традиционными средствами языка. Поэтому автор немногословен и активно использует приём умолчания. Он никогда не описывает понятие напрямую, но создаёт его ассоциативно-смысловое поле, передаёт содержание на уровне своих впечатлений и случайных ассоциаций:

пунктиры голоса
из разбивающегося зеркала
проваливаюсь в их пробелах
будто завод настенных часов
вы
хо
дит
<…>
пробелы заглушают пунктиры
тишина заглушает следующий бой

Тяготея к непрямому высказыванию, автор идеально описывает смерть, даже не называя это слово, заменяя его намёками и неочевидными зонами смыслов. Импрессионистская манера письма отражается в малом количестве глагольных форм, описательных частей речи и личных местоимений. По большей части преобладают номинативные односоставные предложения с существительным в именительном падеже.

Вещь не должна быть объяснена, но должна быть названа. Поиск её имени равнозначен поиску взаимосвязи со всем окружающим. Язык, воспринимаемый Костинским как графическая проекция мироздания,

призван отражать неделимость предметного мира, его непрерывное саморазвитие в нескончаемом временном потоке. Поэтому словам-анаграммам в границах художественного текста так легко обмениваться своими значениями и разрушать очевидные ассоциативно-смысловые связи, заменяя их сближением отдалённых, подчас даже противоположных понятий. Так вход одновременно становится выходом, а одно слово плавно перетекает в другое, не встречая на своём пути никаких видимых препятствий:

здравствуй ночь
досидим до ут/ра/зве
день переждём и снова встретимся

Живая, дышащая субстанция авторской речи превращает любое высказывание в самостоятельного героя, который рождаётся, живёт и умирает, распадается до уровня слов, слогов и звуков и в конечном итоге достигает абсолютной зоны молчания – той довербальной зоны, где словотворчество заменяется живописью:

0
тветы
Где ты?
IIщи
Где?
II
?
0
пол в истекающем точками вопросов времени
???
…

Иногда автор даже доходит до крайностей дадаизма и футуризма, заменяя линейность языка парадигматикой графического рисунка:

небо в трещинах-разломах
_-/
-\/_|__\|//-
-_|\|_||//-_
—_\|||/-_-
ветви мертвого дерева
огненный закат
разливается вспять

Всё это можно было бы считать языковой игрой, если бы не целостность художественного замысла, не натянутый «тишинерв» мысли, от начала и до конца держащей читателя в напряжении и ожидании развязки драматического действия, в котором человек боится времени и смерти, борется и в итоге примиряется с ними. И всё же не он – главное действующее лицо этой пьесы, а непрерывное мелькание стрелок на циферблате вечности:

на циферблате вечности
залипание стрелок
каждое деление –
пол
ночь
пол
день
<…>
Бог приставляет к виску револьвер
и знает –
выстрел вечен
если будет слышен
хоть кем-то

ПЫЛЬ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

(Вадим Муратханов. Цветы и зола. – М.: Воймега, 2019. – 68 с.)

Книга Вадима Муратханова, начиная уже с названия, соткана из противоречий. «Цветы и зола» – довольно необычное, пугающее сочетание живого и отжившего. Отсыл к Бодлеру с его «Цветами зла» возникает сам собой, хотя, казалось бы, никакого типологического сходства с творчеством одного из основоположников французского символизма здесь не наблюдается.

Однако это едва уловимое сходство отмечает в предисловии к сборнику поэт, прозаик и переводчик Ольга Сульчинская, считая, что связано оно с намерением автора говорить с читателем «о вещах некрасивых, неромантичных». Действительно, многие стихи напоминают скупые бытовые зарисовки, в которых фигурируют обычные люди и вещи. Между тем, форма подачи поэтического материала и предельная концентрация внимания на предметной стороне окружающего мира делают поэзию Вадима Муратханова немного наивной и по-детски упрощённой. Но это только видимость – более того, в этом кроется главное противоречие. Книга «Цветы и зола» – это «детские» стихи, написанные взрослым человеком. Отсюда и весьма ощутимая нотка грусти и ностальгии, и совсем не жизнерадостные выводы умудрённого жизнью автора:

С каждым годом всё трудней
возвращаться в детство.
В шортики и маечку
больше не одеться.
[…]
Помогите слезть назад:
закололо в сердце.
Старость начинается
сразу после детства…

Безобидное, даже немного весёлое начало текста завершается грустным выводом в конце, философским экзистенциальным прозрением. И всё потому, что это не реальный, живой мир детских ощущений, а его реконструкция – взгляд сквозь призму воспоминаний и прожитых лет.

Категория настоящего здесь практически отсутствует, зато прошлое представлено во всём многообразии ощущений лирического героя. И они имеют своё внутреннее развитие – это путь инициации, постепенного приобщения ребёнка к печальному опыту реальной жизни и неизбежное взросление.

Стихи и разделы книги организованы таким образом, чтобы подчеркнуть логику авторской мысли. Мир для каждого из нас начинается с удивления и бесконечных вопросов обо всём на свете – потому что всё интересно и важно. Ребёнку свойственно ощущать себя в контексте особого, сказочного пространства, где добро всегда побеждает зло, а он сам наделён исключительными способностями, дающими ему власть над окружающими. Вера в свою исключительность и в совершенство мира – доминанта детского мышления:

Я кощей стареющий
с тридевятой улицы,
вороньём и воробьём
гимны мне поются.

Под небесным куполом,
под зелёным луком
во дворе зарыт сундук
с моим волшебным духом.

Образ кощея, хоть и стареющего, гораздо сильнее образа какого-нибудь богатыря – ребёнку тяжело представить конечность существования, своего или своих близких, поэтому он живёт вне времени и мнит себя бессмертным. Но постепенно, с каждым новым событием в своей жизни, он вынужден открывать для себя иную истину, другую сторону медали. Так рождается идея амбивалентности бытия, радостного и трагического одновременно, и в этом смысле две части названия книги – «цветы» и «зола» – соотносятся как магистральные противоположности: жизнь и смерть, встреча и расставание, настоящее и прошлое. Эта черта также сближает художественные миры Муратханова и Бодлера, поскольку в книге французского символиста смерть и распад становятся главными эстетическими категориями.

Этапы взросления маленького человека связаны с опытом его приобщения к смерти. Причём не обязательно в книге говорится об этом прямо – достаточно передать отдельными штрихами неумолимое движение времени и связанную с этим внутреннюю тревогу. В этом смысле очень показательно стихотворение «Динозавр». Игровая форма подачи только усиливает общее впечатление контраста между царственной медлительностью доисторического существа и прорывающегося сквозь толщу эпох научно-технического прогресса:

В розовеющей дали
папоротники цвели.
Время медленней бежало
вкруг нетронутой земли.
[…]
Но, стальных не видя тел,
пред собою он смотрел
и ложился на дорогу,
смутно чувствуя тревогу.

Но настоящим взрослым испытанием становится не предчувствие смерти, а прямое с ней столкновение, её трагическое узнавание в неизбежном и развенчание мифа о бессмертии тех, кого мы любим *(дождь – родоначальник слёз – / именно это сегодня оплакивал: / я наконец убедился всерьёз, / что нет у меня собаки).*

Для внутреннего ребёнка Муратханова крайне важно извлечь из этого печального опыта правильные уроки. В частности, научиться ценить всё живое и всех живущих – хотя бы потому, что век каждого живого существа недолог. Поэтому лирический герой автора этой книги добр и милосерден, способен к состраданию и жалости. Ему жаль не только собаку, но и пойманного сазана, который «скоро навек перестанет по-рыбьему помнить о нас», и даже неодушевлённые предметы. Например, дом, у которого нет близких, способных «описать его необлицованное детство».

А ещё воспоминания о прошлом становятся для Муратханова самым надёжным средством от серости и пошлости, заурядности бытия – от того мира, где действуют чистые предписания, где умирают водопроводчики и во все стороны размахивают дубинками милиционеры. С высоты памяти о детстве, которое является хранилищем бесценной «пыли прошедшего времени», как с высоты ёлочки, гораздо проще увидеть не только свою прежнюю жизнь, но и жизнь будущую: более чистую и совершенную:

В заброшенном корпусе ржавчина, сырость,
разбитые стекла и грязь.
Но прямо на крыше загадочный вырос
росток, никого не спросясь.

Он будет тянуться ещё много лет,
рассеивая семена, –
и значит, там скоро появится лес
на будущие времена…

«КНИЖНАЯ ПОЛКА» АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

«НЕ ОТСТУПАЕТ МУЗЫКА»

(Герман Гецевич, Свой космос. Избранная лирика. – М., Издательство «У Никитских ворот», 2021. – 196 с.)

Книги у Германа Гецевича выходили скудно и нечасто. В основном – тоненькие брошюрки вроде «Скальпеля», переводы и детские стихи. А к юбилею поэта вышло сразу две книги – помимо «Своего космоса», ещё и «Геометрия судьбы», в том же издательстве. Только сам автор до своего юбилея не дожил – оторвался тромб, и юбилейное в одночасье стало посмертным. Я выступал вместе с Германом незадолго до его ухода в Доме Поэтов, на вечере памяти Елены Кацюбы. И тогда, на слух, стихи Гецевича показались мне крепкими и мастеровитыми. Книга «Свой космос» подтверждает моё первое впечатление.

Не чернокнижник я и не безбожник,
Уже не молод, но ещё не стар.
Я – просто одинокий подорожник,
Ладонь земли, зелёный санитар.

Это строки из первого стихотворения, написанного Гецевичем в 15 лет. Юноша пишет о себе, что он «уже не молод, но ещё не стар». Есть люди, рождённые с «блоковским» мгновенным знанием жизни. Таким до Блока был Михаил Лермонтов. Раннее знание, видимо, было присуще и Герману Гецевичу. Составительница «Своего космоса» Ольга Чугина провела смелый эксперимент. Она поместила на сопредельных страницах первое и одно из последних стихотворений поэта, «Не заметил, как жизнь прошла…». Первое слово поэта не сильно отличается по качеству от последнего. Словно бы Гецевич явился в мир уже готовым мастером стихосложения, которому не нужно было развиваться от дилетантского – к совершенному. Название книги цепляет простой и безыскусной глубиной. Космос, но свой. Тот, который внутри. Внутренний космос поэта.

Приятно средь занятья косного
Вдруг осознать, припав к судьбе,
Что ты, являясь частью космоса,
Свой космос вырастил в себе.

Тему внешнего и внутреннего космоса, как пространства, продолжает в этом стихотворении тема космоса мужчины и женщины. Именно женщина ассоциируется у автора с внешним космосом. Стихотворение так и называется – «Ты и я». В большинстве произведений Германа присутствует стремление к многомерности, второму дну, разнообразным пластам понимания. В книге много стихов о неразделённой любви. Есть некая неустроенность судьбы, неприкаянность в произведениях Гецевича: незавершённость, непонимание, скитания, отсутствие конечного результата.

Снова сердце колотится,
Каждый шаг торопя,
Вижу церковь в Коломенском –
Вспоминаю тебя.

Ты, конечно же, грешница,
Да и я – не святой,
Но так хочется встретиться
В этом храме с тобой.

Многие стихотворения Гецевича песенны. И это не удивительно: музыкальных дисков у него вышло больше, чем поэтических книг – семь против четырёх. Гецевичу присуща ритмическая и музыкальная одаренность, и он использует эти таланты на полную мощность. Среди стихов просто хороших в книге есть стихотворения необыкновенной лирической силы. Поэт пишет вроде бы просто, но есть во многих его стихах что-то такое, что цепляет читателя до слёз. Характерное качество лирики Гецевича – «оркестровость» любви и смерти, встреч и расставаний.

Из партитуры тишины
Я вырвал тему длинную,
Где ноты смерти сведены
В одну прямую линию.

Где неподвижен дирижёр,
Но с тишиной той самою
Вступают звуки в дерзкий спор
Над оркестровой ямою.

Но есть другая тишина,
И в ней слились неистово
Всего два слова: Ты ушла»,
И в этом – доля истины.

Умчалась вслед за тишиной,
Хоть знала ты, наверное,
Какой оплачено ценой
Затишье сокровенное.

Молчат отчётливо басы
Про счастье бесполезное,
Ведь вместо слёзной железы
Есть железа железная.

Пусть напряженья тяжелы
Для мысли и для мускула,
Но с наступленьем тишины –
Не отступает музыка.

Нет ничего страшней в тиши,
Когда сверкает молния,
Чем тишина пустой души
И пустота безмолвия.

О Гецевиче, несомненно, можно говорить как о поэте Москвы. Количество стихов, где так или иначе присутствует столица, не поддаётся исчислению. «Ночной аккордеон», «Не говори», «Коломенское», «Московский дождь», «Красный вагон», «Москва на закате», «Измайлово» и многие другие. Неизменным фоном всей поэзии Германа Гецевича проходит его родной город. И есть ещё одно место, куда поэт постоянно возвращается мыслями – это Переделкино. Друзья рассказывают, что Герман постоянно брал туда писательские путёвки и проводил там много времени, общаясь с обитателями писательского городка. А ещё туда к нему приезжала любимая женщина. Может быть, именно потому в стихах Гецевича так много электричек. Для дачников электричка – самый важный вид транспорта. И сквозная тема всей книги – транзитность жизни человека – лучше всего проявляется у поэта в образе поезда.

Ночь вагонной дверцей дребезжит.
У тоски – зелёная изнанка.
Мимо жизни пролетает жизнь,
Будто ветер мимо полустанка.

Известен Гецевич и как детский писатель, и как переводчик. Он переводил таких значительных поэтов, как Рембо («Пьяный корабль»), Рильке, Фрост, Оден, Сильвия Плат. Перевёл все сонеты Шекспира. Один из них – 66-й – представлен и в «Своём космосе». Что любопытно, иностранных язы-

ков поэт не знал, переводя исключительно по подстрочникам. Переводы Германа включены Евгением Витковским в антологию «Строфы века-2».

Гецевичу хорошо удавались стихи, написанные короткой строкой:

Паденье – одна
Из
Минувших моих
Вех:
Летел я всегда
Вниз,
А падал всегда
Вверх.

Герман владел многими стилями письма, не чурался он и авангарда:

ТЫ расчёсываешь ЛОВОСЫ
красишь честные ЛГАЗА
за спиной расправив ЛОПОСТИ
словно РКЫЛЬЯ ТРЕСКОЗА

«Свой космос» демонстрирует нам всю палитру красок самобытного мастера. Есть в книге и верлибры:

появление в стихах
ПОЭЗИИ
удивляет
порой пугает
как
первая сперма
в ладонях
как
первая менструальная кровь

«Свой космос» поэта обширен и разнообразен:

гармония рождается из хаоса
между словами затесалась пауза
и в густоте иного вещества
тратили значение слова

плотней чем воздух и длинней чем Яуза
исчадье МХАТа – чеховская пауза
есть спазмы слов и смыслов закрома
но в паузе – Поэзия сама

и если юность – алый призрак паруса
то смерть и старость – безусловно – пауза
не затянулся б только их постой
чтоб пауза не стала пустотой

О Гецевиче оставили тёплые отзывы Андрей Вознесенский. Евгений Евтушенко, Юрий Ряшенцев, Евгений Рейн и многие другие поэты. Вот что рассказала о нём Нина Краснова: «Герман Гецевич – единичное, штучное, универсальное явление нашей поэзии. Он и авангардист, и традиционалист. В детстве на него оказал своё влияние мой великий земляк Есенин, потом и другие классики русской и зарубежной литературы, и поэты Лианозовской школы Генрих Сапгир, Игорь Холин, и наши шестидесятники, и Евгений Рейн, который назвал его «полистилистом». Все они стали его учителями. «Учителя – это не те, кто учат и поучают тебя чему-то, а те, у кого ты учишься», – говорил Герман. Но он никогда не хотел быть ни вторым Есениным, ни вторым Вознесенским, ни – тем более – Беллой Ахмадулиной, ни вторым кем-то ещё из своих учителей. «Если быть, – то быть первым», – любил говорить Валерий Чкалов, а за ним Юрий Гагарин. И когда Вознесенский написал, обращаясь к Господу: «Пошли мне,

Господь, второго…», – Герман сказал: *«Вторых в искусстве не бывает. / В искусстве правят только первые»*, то есть единственные в своём роде, кем и был, и есть, и будет и сам Герман Гецевич, посвятивший свою жизнь святому делу – поэзии».

Интересно, что из двух фамилий – матери и отца – поэт выбрал фамилию матери. По отцу он – Коган, а Павел Коган приходился ему дядей, и. видимо, вторым Коганом Герман быть не захотел. От единственной встречи с Гецевичем в Доме Поэтов у меня осталось ощущение недоговорённости: у нас было много общего, общие друзья и интересы. Увы! *«Но с наступленьем тишины – / Не отступает музыка»*.

МУШКЕТЁР ПОЭЗИИ

(Константин Кедров-Челищев. Де Тревиль метаметафоры. – М., Издательство РСП, 2021. – 168 с.)

Поэт не сам придумывает для себя тернии. Об этом неустанно хлопочет его судьба. В противодействии терниям судьбы выковывается характер, необходимый для творчества. У поэта Константина Кедрова первая подборка стихов была опубликована в 1957 году. Но власти быстро сообразили, что его метаметафора не соответствует канонам социалистического реализма и в дальнейшем препятствовали публикациям его стихов, вплоть до горбачёвской перестройки.

Все мы подлинники в источнике
Даниилы читай Заточники
Заточили нас заточили
От поэзии отлучили

Я и сам Даниил Заточник
Бесконечной любви источник
Молвлю – Княже мой Господине
Помоги мне в лихой године

Константин Кедров всегда отличался нестандартностью мышления. Скажем, когда мы говорим о мушкетёрах, какое имя у всех на слуху? Правильно, д'Артаньян. Ну, может быть, ещё Сирано де Бержерак. Так думает большинство людей. Но для поэта очевидное – как минимум, не оригинально. Поэтому новая книга Кедрова-Челищева называется «Де Тревиль метаметафоры». Здесь заложен дополнительный смысл. Если мы вспомним «Трёх мушкетёров», именно де Тревиль был учителем д'Артаньяна по фехтованию на шпагах. Как и де Тревиль, Константин Кедров является учителем целой группы метаметафористов. Он крупный филолог, философ, учёный. Парадоксально, но поэзию он всё равно ставит выше: *«Поэзия умнее, чем наука. / Она живёт, ютясь в извивах звука»*, – говорит он. Таковы пути истинной поэзии: *«Птиц не видно, а крылья летят»*.

В творчестве Константина Кедрова читатель неизбежно сталкивается с полистилистикой. В его арсенале есть и лирика, и эпос, и палиндромы, и верлибры, и юмор, и сложные стихи, и простые – всё богатство современной русской поэзии. Павел Флоренский называл такую широту применений таланта «философией бесконечных зачатий». Многие почему-то до сих пор думают, что метаметафора – это непременно длинные верлибры. Но это не так. Метаметафора – образ мышления, а не поэтический стиль. Самое интересное в поэтике Кедрова – его образное мышление, парадоксальное, нетривиальное, изыскивающее новые углы измерений: *«Бессмертие мираж. И смерть – мираж. / Жизнь книги, вышедшей в тираж»*.

У каждого поэта есть своя внутренняя логика творческой свободы. Практически весь «Де Тревиль» написан интонационными рифмованными стихами, с заглавными буквами в начале каждой строки, но без знаков препинания.

Приобщаясь к нездешнему миру,
Я забросил в созвездия лиру
Пусть нежнее любого клавира
Всем играет созвездие Лира

У современного, постоянно обновляющего свой язык поэта в руках не просто лира, а «смартфонолира». Константин Кедров щедро использует в поэтической речи изобретённые им неологизмы. Он никогда не отделывает до блеска строку и, кажется, вообще предпочитает содержание форме. Ему без разницы, верлибром писать или рифмованным стихом. Главное для него – свобода самовыражения, а она может быть где угодно. Часто это неожиданные словесные находки: *«Неуда лось / Не уд а лось / Не удалось / Не удал лось / Не удалось»*. Одно слово, вибрируя, растягивается в бесконечность смыслов.

Высекается даже юмористический смысл о размере мужского достоинства. Кедров – эрудит, он использует энциклопедическую начитанность и в стихах. Например, его «Зеркальный паровоз» – супрематичен. Супрематистское зеркало родственно «мнимостям в геометрии» упомянутого выше Павла Флоренского. Кедров исповедует в своём творчестве эстетику вечного обновления. Одна из глав новой книги – стихи, написанные в ковидном госпитале в Крылатском в июне 2021 года. К счастью, всё обошлось, и переход поэта в «волновое тело» не состоялся.

Вот говорят антитела
Что за дела что за дела
Куда родное антитело
В какую вечность залетело

А я навеки залетел
Весь состою из антител
Влетело тело в антитело
И улетело улетело

О Господи что за дела
Кругом одни антитела

Впечатляет бесстрашие почти восьмидесятилетнего патриарха метаметафоры: *«Средь земных человеческих кар / Я дикарь я словесный Икар / Я на крыльях распахнутых слов / Улетаю в основы основ»*. Как и в предыдущей книге, в «Де Тревиле» много стихов, посвящённых Елене Кацюбе:

За всё тебе я благодарен
За жизнь и за твою любовь
Рай гениален ад бездарен
Смерть графомания богов

Поэзия Кедрова – зеркало его философии. Автор «Де Тревиля» пишет о том, что любовь и понимание – сёстры-близнецы: без понимания и любви не бывает. *«Обласканный стихами / Как в небе Саваоф / Пишу и не стихаю / И выдох тоже вдох / Таков удел поэта / Быть богом на земле / И выпить чашу эту / И быть огнём в золе»*.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ ЗРЕНИЕ ЛИДИИ ГРИГОРЬЕВОЙ

(Лидия Григорьева, Термитник-2. Роман в штрихах, книга вторая. – СПб, Алетейя, 2022. – 248 с.)

Спокойствие океана – не более чем иллюзия. Даже если долго плывёшь в штиль, рано или поздно поднимаются волны. Так и с жизнью человека: как бы мы ни убеждали себя и других, что всё хорошо, в действительности мы живём у подножия потухшего, но вечно действующего вулкана. Лидия Григорьева в «Термитнике-2» наглядно демонстрирует нам неспокойствие моря жизни. Читатель всё время настороже: кажется, вот-вот в жизни героев что-то случится, детектив или фильм ужасов. Предчувствуешь непоправимое. Мы живём в очень непрочном мире, в котором счастье – призрачно и конечно. Человек устроен так, что не хочет верить в плохое, не берёт его в голову, и крушение надежд застигает его врасплох. Напряжённость повествования придаёт малой прозе Григорьевой экзистенциальный характер. Напряжение нарастает (рассказы «Родная вода», «Гнездо охотника»). Однако тревога не всегда заканчивается у писательницы фатально (как, например, в рассказе «Вулканический пепел»). Порой это внезапно нахлынувшие тучи, которые, разразившись ливнем под аккомпанемент грома и молнии, возвращают нам вскоре привычное солнечное небо.

Вторая книга «Термитника» не только заимствует идею предыдущей книги, но и вариативно её развивает. Непохожесть заключается, в первую очередь, в большем объёме рассказов. Их, как и в первой книге, 120, но они чуть длиннее. Это уже практически «борхесовский» стандарт рассказа. При увеличении размера рассказов, безусловно, меняется их оптика. Всего у писательницы задумано три «Термитника» (третий ещё не издан). «Горю желанием продлить тернистый путь термитов», – сказала Григорьева в интервью «Независимой газете». Это огромный «театр гражданских действий» в 360 сюжетов. Метаморфозы бытия самых разных людей земного шара. Литературные сериалы Лидии Григорьевой не копируют успех предыдущих книг. Желание продолжить полюбившийся проект зависит, в первую очередь, от самого автора. Это, прежде всего, богатство тем и идей, недоговорённость, ищущая реализации. Жизнь, не-

смотря на некоторые ограничения, продолжается, и писателю нужно за ней поспевать. «Знаешь, бывает, когда всё молчит и затаилось. Не хочет тебе открыться. А то вдруг каждая вещь, каждый предмет, каждая оброненная кем-то нечаянно фраза вступает с тобой в диалог, начинает стучаться в твоё подсознание и стремится прорваться, пролиться на экранную телефонную страничку», – так Лидия Григорьева говорит о своём творчестве в рассказе «Ожерелье».

Появлению «Термитников» предшествовало повсеместное распространение в мире «клипового сознания». Однако новое – это хорошо забытое старое. Если обратить взор в глубину веков, и Священное писание учит нас объёмной краткости. «Клиповость» свойственна также другим древним текстам. Всё важное – возвращается; Ницше называл это «вечным возвращением». Когда писатель уже внутренне готов, созрел, идеи сами приходят к нему в голову. «Бывает, они приходят ко мне во сне, как таблица Менделеева», – говорит Лидия Григорьева.

Изнутри новая книга писательницы – сериал в сериале, по аналогии с «театром в театре». Дело в том, что в «Термитнике-2», и в этом его отличие от первой книги, появляются «многосерийные» рассказы – «Чужое кино», «Открытый гараж», «Солнечные батареи», а также «Игнат и Надя». Четыре «серии» одного фильма. А вот другие две серии – «Прототип» и «Из жизни троллей». Вот ещё две – «Ария Германа» и «Пора валить». И ещё – «Летучие фанаты» и «Китайская грамота». Тенденция, однако. Пульсации многоликого бытия, переходы от ролей второстепенных к главным в кинематографе жизни – сквозная тема «Термитника-2». А ещё – это книга о неожиданностях, подстерегающих нас на каждом шагу. О том, что делает нашу жизнь интересной, насыщенной и подчас драматичной.

Лидия Григорьева накопила огромный жизненный опыт, и это очень помогает ей в мини-прозе. Если смотреть на сюжеты Григорьевой сверху вниз, открывается широкая панорама жизни разных стран на рубеже тысячелетий. Писательница родилась в Луганске, раннее детство провела на Крайнем Севере, училась в Казани, жила в Москве, выращивает цветы в Лондоне – её жизненный путь впечатляет. Это огромный пласт событий, свидетелей, судеб, утрат и обретений. А ещё у неё поразительная память. «Прошло сорок лет, а я это помню», – говорит она об одном из своих сюжетов. Всё это Лидия использует в своей прозе. «Термитник» – это, прежде всего, опыт. Как житейский, так и духовный. Опыт – квинтэссенция жизни, которая изобилует испытаниями. Порой удача зависит от случайностей (рассказ «Статус Скво»). «Термитник» – книга не развлекательная. Она несёт в себе нравственный заряд: верность идеалам, преданность наследию отцов и дедов (рассказ «Таёжная рапсодия»).

Динамичные истории, рассказанные в «Термитнике-2» напоминают мне то, чем мы делимся с друзьями при встрече: «А помнишь такую-то? С ней приключилось то-то и то-то». Рассказы Григорьевой объединяет житейская правда и сильнейшее эмоциональное воздействие на читателей. Порой судьбы героев невидимо управляются… отсутствием терпения, раздражением на какие-то бытовые мелочи. Это необъявленная война человеческих привычек против святыни любви. Особенно ярко это проявляется в семейной жизни или в планировании семейного очага (рассказ «Тюремный психолог»). Незначительные недостатки близкого человека способны вызвать у героев неспровоцированную агрессию («Нежная Жанна»). Как говорил Сократ, «характер человека – его демон».

Многие рассказы, вошедшие в книгу, посвящены влиянию фамилии (иногда изменённой) на жизнь человека («Фамильное клеймо», «Лев Мокрицын»). А ещё в «Термитнике-2» много сюжетов, так или иначе связанных с ковидом («Чистая химия», «Китайская грамота» и др.). Много юмора, иногда с элементами эротики: например, эрекция – это, оказывается, «самостояние плоти». Язык автора великолепен и помогает читать на одном дыхании. Формат книги очень современен: эти рассказы удобно читать с телефона или планшета. Параллельно, читая Григорьеву, пополняешь свой культурный и языковой багаж.

Порой автор, казалось бы, нарушает единство времени и места: например, мы слышим монолог человека, который уже мёртв и говорить вроде бы не должен (рассказ «Амстердам»). Однако такие отклонения от правил были присущи даже Вильяму нашему с вами Шекспиру. Вспомним, как подробно рассказывает Гертруда в «Гамлете» об обстоятельствах гибели Офелии, которую она на самом деле не могла видеть. Непрямая речь подаётся как прямая, это поток сознания, перемещающийся от одного персонажа к другому. Такой приём позволяет Лидии Григорьевой осветить событие с разных точек зрения. Это, по выражению Ольги Ильницкой, «фасеточный взгляд писателя», как в природе у стрекозы и других насекомых и птиц.

Рассказы Лидии наполнены житейской мудростью («Большая квартира»). Как живёт человек? За счёт чего (кого) существует? Люди часто используют друг друга для достижения намеченных жизненных целей. В некоторых новых работах Григорьевой можно увидеть и мистический след. Нет, Голем у неё не материализуется, но персонажи могут уходить в иные измерения (рассказы «Полнолуние», «Звуки дрели»). Удивляет широчайший разброс героев по профессиям. Впечатляет и география происходящих событий. Писательницу интересует абсолютно всё! «Термитник-2» – это поэзия судеб. Это взгляд на мир одновременно изнутри и сверху.

Часто писательница не знает, что будет делать в следующую секунду её герой (рассказ «Прототип»). Иногда герои начинают вытворять совершенно неожиданные для автора вещи. И в этом Григорьева –

наследница по прямой таких классиков, как Чехов и Лев Толстой. Некоторые рассказы в «Термитнике-2» вызывают катарсис, и хочется, замирая с увлажнёнными глазами, воскликнуть что-то вроде «Ай да Пушкин, ай да молодец!». Это, без преувеличения, уровень мировой новеллистики. «Мимо Вены», «Монашек Исидор» – маленькие шедевры, украшающие книгу. Короткие рассказы Лидии Григорьевой можно слушать и «с голоса». Ведь она – поэт, а поэт даже в прозе подсознательно пишет так, что текст звучит как Истинная Речь.

О драматизме жизни писательница знает не понаслышке, и её рассказы правдиво его отображают. Но когда можно избежать трагедии – лучше воспользоваться такой возможностью. «Сотри случайные черты – и ты увидишь: мир прекрасен», – писал Блок. Симптоматично, что книга Лидии Григорьевой заканчивается рассказом «Морозная луна», где герой прячет от глаз жены и детей дорогую, но ужасную находку. Писательница словно бы посылает нам, читателям, сигнал: будем бережны к окружающим. Нам это по силам. Экология отношений между людьми становится важным лейтмотивом нашей жизни. «Любовь спасет мир», – полагает писательница. Как эстафетная палочка, она передаётся от одного человека к другому. «Человек подсознательно ищет в жизни повторение», – то, что раньше доставляло ему радость, – писал датский экзистенциалист Кьеркегор. Таким повторением и становится у персонажей Григорьевой любовь. Вдова находит «цветок любви», который воскрешает её к жизни. Внешне он в точности повторяет умирающее растение, бывшее некогда талисманом и свидетелем её счастья. Визуальная реинкарнация прекрасного цветка спасает женщину от депрессии. Удивительно, но Лидия Григорьева, «лирическая героиня» и «Литературная газета» сокращённо звучат одинаково – ЛГ.

НЕШАПОЧНЫЕ ЗНАКОМСТВА ПОЭТА ВИКТОРА ЕСИПОВА

(Виктор Есипов, Встречи и прощания. Воспоминания о Василии Аксёнове, Белле Ахмадулиной, Владимире Войновиче… – М.; СПб, Нестор-История, 2020. – 336 с., ил.)

Виктор Есипов – поэт и учёный в одном лице. Конечно, говорить в данном случае о «физиках и лириках» было бы преувеличением – как учёный Виктор тоже занимается литературой, исследуя жизнь и творчество Пушкина. Между его учёными и поэтическими занятиями дистанция не столь большая. Однако есть любопытная деталь – свои научные труды Виктор подписывает фамилией отца – Вогман, а стихи фамилией матери – Есипов. Я вначале даже не сразу понял, в чём тут дело, столкнувшись с трудами одного и того же человека, изданными под разными фамилиями. Во «Встречах и прощаниях» Виктор раскрывает тайну, почему это произошло. В самом начале его творческого пути стихи, уже отобранные к публикации, три года пролежали в редакции «Юности». Тогда двоюродный брат поэта, писатель Борис Балтер, автор известной повести о войне «До свиданья, мальчики», порекомендовал ему подписать стихи фамилией матери. Это сработало, и под фамилией Есипов стихи сразу же были опубликованы. Такие были тогда времена.

У Виктора – длинная, интересная и насыщенная событиями жизнь. Он побывал во время войны в эвакуации в Ташкенте и в Самарканде. Мы узнаём подробности быта в городах, где он жил, узнаём о человеческих пристрастиях автора – заядлого автомобилиста, шахматиста, игравшего на уровне первого разряда. Есипов изумительно разбирается в живописи, что не удивительно, поскольку папа у него – художник. Выпускник московского рыбного института, Виктор «матросил» на рыболовецких траулерах и оставил яркие воспоминания о ранних годах своей жизни в рассказе «Факультет промышленного рыболовства». Врезалась в память, пусть и в отрицательном смысле, с сожалением, сцена охоты моряков на дельфинов.

«Встречи и прощания» – классическая книга мемуаров, мозаика, где автобиографические главы перемешаны с сюжетами, посвящёнными жизни известных писателей. Книга подкупает искренностью и даёт глубокий временной срез конца XX-го – начала XXI-го века. Есипов – свидетель времени. Говоря преимущественно о других людях, автор одновременно что-то важное сообщает и о себе. Драматург Александр Володин, один из героев книги мемуаров, называет Есипова «скромным, умным, деликатным человеком». Во «Встречах и прощаниях» у нас есть возможность по достоинству оценить деликатность писателя. Персонажам книги не чуждо было и «человеческое, слишком человеческое»: выпивка, романы на стороне, даже ксенофобия. О каких-то важных эпизодах писателю было сложно говорить при живых свидетелях. Искренность деликатного человека не бывает избыточной. Не даёт поблажек автор и самому себе, рассказывая о спорных своих поступках. Поскольку мемуарист – известный поэт, нам интересны его стихи, посвящённые героям воспоминаний. Вот строки, посвящённые драматургу Александру Володину, автору «Пяти вечеров»:

Бескорыстно и честно работать, чураясь наград,
О себе не вздыхать, не искать обольстительной славы…
У Володина в окна зелёные липы глядят,
И звучит под иглою солдатская песнь Окуджавы.
На Пушкарскую улицу смотрят четыре окна,
И троллейбус шуршит, и кричат воробьи громогласно…
Будем счастливы тем, что не допита чаша до дна,
И, покуда сюжет не исчерпан, надежда прекрасна.

Для Виктора Есипова одинаково важны все люди, независимо от того, нравятся ему их сочинения или нет. Ведь прихоти судьбы часто доминируют над личностными пристрастиями писателя: судьба сталкивает нас не только с теми людьми, чьё творчество нам безоговорочно нравится.

Живым и запоминающимся получился у поэта портрет Надежды Яковлевны Мандельштам. Виктор много раз играл с нею в шахматы и был удивлён уровнем её игры. Он просмотрел иностранный трёхтомник сочинений Осипа Мандельштама, испещрённый пометками Надежды, и там оказалось много интересного. Например, третья и четвёртая строка стихотворения «Мы живём, под собою не чуя страны» звучали так: *«Только слышно кремлёвского горца, / Душегубца и мужикоборца»*. Тот вариант, к которому мы привыкли, был, как ни странно, более «мягким». Но рифма «полразговорца-горца» нравится мне больше, чем «горца-мужикоборца».

Надежда Мандельштам, как свидетельствует Виктор Есипов, выкуривала в день по 50 папирос «Беломора». Надо полагать, курила она безостановочно. Биографов Осипа – Георгия Иванова и Всеволода Рождественского – она охарактеризовала нелестным и непечатным словом. Интересна и её запись о Есенине – «он не был антисемитом, но употреблял слово «жид». Для меня, как читателя, глава о Надежде Мандельштам ценна вдвойне, поскольку Надежда – это ещё поколение Серебряного века. А, скажем, с Беллой Ахмадулиной доводилось встречаться и моим друзьям, и мне самому.

Мемуары Виктора Есипова – больше, чем просто литературные портреты. Есть в книге и чисто авторская эссеистика, посвящённая путчу 1991 года, и главы о родителях. Особняком стоит очерк, посвящённый болезни жены Виктора Ирины и борьбе за её жизнь («И сердце на клочки не разорвалось…»). «Стоическое противостояние смерти», «хождение по мукам» – эту главу невозможно читать без острого сочувствия. «В нашей несчастной России нужно бороться даже за то, чтобы самый дорогой, самый близкий тебе человек мог умереть в человеческих условиях!» – просто крик души поэта. Тёплые слова посвятил Виктор и Валентину Непомнящему, благодаря которому он состоялся как пушкинист. В то же время автор с сожалением сообщает о ксенофобии этого незаурядного человека.

Книга «Встречи и прощения» одновременно и центростремительна, и центробежна в ракурсе «я и другие». Амбивалентность её направленности создаёт необходимый объём бытия, в котором растворён дух эпохи. Это «всеохватность через фрагментарность» – такое определение Виктор Есипов дал творчеству французского писателя Жоржа Перека, произведения которого переводила его супруга. То же самое можно сказать о его собственной книге. В рассказах Есипова много непосредственной жизни: так, например, мы узнаём, что у Василия Аксёнова был пёс пекинес, которого он назвал Пушкиным. Присутствует в книге и сквозное повествование, когда одно и то же событие мы видим глазами разных героев. «Через одно рукопожатие» Виктор рассказывает также о людях, с которыми лично не встречался – например, о художнике Марке Шагале. А ещё в книге много редких, эксклюзивных фотографий, вызывающих неподдельный интерес.

По каждому из рассказов, вошедших в книгу «Встречи и прощания», можно понять степень близости автору их героев. Особая близость установилась у Есипова с семьёй Василия Аксёнова: он долго вёл литературные дела этого знаменитого писателя. Интересна и глава о критике Бенедикте Сарнове. Я читал его книгу «Трон Люцифера», и она мне, скажу честно, не понравилась. Прежде всего, с этической точки зрения, хотя автор демонстрирует при этом феноменальную эрудицию. Виктор Есипов рассказывает о нестандартности мнений Сарнова об агитационных стихах Маяковского и о творчестве Высоцкого. Бенедикт очень хвалил стихотворение «Товарищу Нетте, пароходу и человеку», которое раньше изучалось в школе. А Высоцкого, наоборот, считал средним поэтом, но выдающимся бардом.

О Владимире Войновиче из книги Есипова мы узнаём, что автор «Чонкина» был талантливым художником-примитивистом. Бенедикт Сарнов и Наум Коржавин, Семён Липкин и Инна Лиснянская, Владимир Войнович и Борис Балтер, Борис Мессерер и Белла Ахмадулина – одного перечисления этих имён достаточно, чтобы понять, насколько интересной может быть для любителей литературы книга Виктора Есипова. А ведь в рассказах упоминаются и другие персонажи эпохи – политики, артисты, писатели. Собеседники Виктора высказывают порой нешаблонные, острые мысли. Например, цепляет и не отпускает мысль о том, что государство у нас основано на лжи. Персонажи книги интересны своей человеческой

составляющей: привычками, пристрастиями, взаимовыручкой в сложных жизненных ситуациях, непохожестью характеров. Ты словно бы входишь в дом к этим людям и прикасаешься к их живой жизни. И в этом, на мой взгляд, ценность «Встреч и прощаний».

НЕИСТОВЫЙ НЕИСПРАВИКИНГ

(Вилли Р. Мельников, Штурман железнодорожного плавания. Поэзоландшафты неисправикинга. – Киев, Интерсервис, 2016. – 222 с.)

Невзирая на большую популярность Вилли Мельникова при жизни как человека с паранормальными способностями, вышла только первая книга его стихотворений. Поэт писал на клочках бумаги, щедро раздаривал свои «драконографии», и, вероятно, собрать все его тексты – задача непростая. В стихах Вилли, конечно, прежде всего – словотворец. *«Я – неисправикинг, словообразоварвар, неукротигр, непредсказубр, ускользаяц, произволк, потрястреб и в чём-то – изящерица. Зодиак – сопротивлев. Склад ума – мультименталист. Социальное происхождение – творянин, но из разночтинцев. Национальность – идеец. Род занятий – вездельник».*

Наверное, все люди, живущие на земле, в той или иной степени не похожи друг на друга. Но когда мы говорим о Вилли Мельникове, это непохожесть в квадрате, а то и в кубе. Мельников был человеком с удивительными способностями, открывшимися после тяжёлого ранения на войне. Осколок мины, случайно попавший ему в голову, воспламенил в нём Божий дар. Да так, что он сделался не инвалидом, а Моцартом космолингвистики! Конечно, для чего-то Господь оставил его жить на земле в то время, когда боевые товарищи погибли. И вложил в него дар языкознания. «И угль, пылающий огнём, во грудь отверстую водвинул», – вспоминается пушкинский «Пророк». Сам Вилли Мельников как-то обмолвился, что не он владеет языками, а, наоборот, языки владеют им. Нечто подобное говорил в своей Нобелевской лекции Бродский, с той лишь разницей, что у прославленного нобелиата речь шла об одном языке – русском, а у Вилли Мельникова счёт языков шёл уже на вторую сотню. Но и в своём родном русском языке, в авангардной поэзии, безусловно, Мельников оставил ярчайший след.

Гомерлин, Элюарагон
и Вознесенин!», –
зевнул котом из-под погон
жутнікъ Катенин.
ПрисПущин флаг: рифмітъ нет сил.
II, слог улучшив,
певец конФет не поступил
в литинстиТютчев!
СниМая-ковского поправ,
рвут на иконки
кордебалетопись приправ
для Евтушёнки.
Растаял Гумилёд, раскрыв
на завистъ сутрам
Ахматадулинский надрыв
ОБЭРIIУтром.
По пятиБальмонтной шкале
огнями Эльма
в разорВолошинской скале
жгут Коктебельма,

Вилли как-то рассказывал мне, что был лично знаком с Надеждой Яковлевной Мандельштам, а ещё – с такими известными в нашей культуре личностями, как Лиля Брик и Фаина Раневская. «Не может этого быть!» – возразите вы, намекая на юный возраст поэта (Надежда Мандельштам ушла из жизни в 1980 году, а Лиля Брик – и того раньше, в 1978). Я тоже долго не мог поверить, что Мережковский лично встречался с Достоевским. Тем не менее, это факт. Со всеми тремя этими почтенными женщинами юного Вилли познакомила его бабушка. Очевидно, это было годы его «октябряцанья комсомолотом по пионервам». Не исключено, что и стихотворение, посвящённое Осипу Мандельштаму, появилось у поэта благодаря встречам с Надеждой.

Осипу Мандельштаму

«Попробуйте меня от века оторвать –
ручаюсь вам: себе свернёте шею!».
Устав вино виною разбавлять,
Из луж шипучеглазых «Ив-Роше» пью.

Попробуйте на мне пронзённо выпасать
безглазерных прицелов наготочья:
их ствольно-нарезную гипностать
принять как краснотворное не прочь я!

Попробуйте меня подковой подкупить,
пробелам прописав прополоскачки,
преторианцев приторную прыть –
Нероновым нейронам (в счёт подачки!).

Заточено за-тучье. День шестой.
Исподнебестий, что так звал Енох, нет.
Попробуйте меня кормить капустотой –
пресыщий издевакуум издохнет.

Предчудствия – мои предотвратчи.
Лечитесь, граф бесцеремонте-Кристо!
Мой дикобразум сном попробуй, помрачи,
сдав кубики на степень кругочиста!

Высокий обольститул ищет знать.
Сквозь смех колодца небо плачет сухо.
Попробуйте меня в двадцатый век вогнать –
ручаюсь вам: ему взорвёте брюхо!

Познакомившись с Вилли в одном из московских поэтических салонов, я с удивлением обнаружил сходство наших судеб. Меня тоже «шандарахнуло» в Афганистане – до потери сознания и зависания между жизнью и смертью. И тоже очевидцы этого события твердили о «втором рождении». Очевидно, такому рождению предшествует «непорочное зачатие» – человек рождается сам из себя, подобно тому, как Афина Паллада родилась из головы Зевса. Из войны вообще сложно выйти таким же, каким вошёл. И большая удача – выйти не с чувством вины, а с чувством миссии. Это устремляет последующую жизнь не назад, а вперёд. Внебрачный ребёнок войны, Вилли Мельников вынес из огня полезную для жизни мысль, что, раз ему посчастливилось выжить, значит, это кому-то нужно. Так зажглась его звезда. Именно тогда и открылся у него космический канал лингвоведения.

Грёзно-горек на горе Кармель
Недозревший плод самообманго…
Посадил ковчег на кара-мель
Капитан второго бумеранга.

Раздробилье неделишных глав, –
И строй(цели)бат – почти у цели;
И в утопке не горит фри-лав,
Если маки рвал Макиавелли.

Год кобылы любит ход конём,
Ветербург – надменная Коломна.
...Что в гостеприимени моём,
Раз пророчеств отчество бездомно?

И на озаревности скачок
Подсознахарь не даёт отсрочки.
В оболочке радужной – зрачок;
Радуга ж не знает оболочки.

Извержерло вырвало слегка
Пики из-под облачной опеки…
Эпизодчий строит на века
Плоско-пластилиновые мекки.

Казалось бы, сколько ты знаешь языков, столько раз ты человек. Правда, сам Вилли признавался, что далеко не все языки постоянно находятся у него в «активном» состоянии. И всё-таки сколько нужно прожить жизней, чтобы реализовать себя хотя бы в десятке языков? Написать стихи на исчезающем языке, стать «народным поэтом» народа, о котором все давно забыли. Но Вилли Мельников интересен нам прежде всего как человек-ВОЗМОЖНОСТЬ. Бог не случайно смешал языки. Потому что у каждого языка есть свои козыри. В этом убеждает нас опыт такого космолингвиста, как Вилли Мельников. Сын гармонии, Вилли приветствовал цветущую сложность многомирья. Это его среда обитания, в которой он себя чувствовал как рыба в воде. Безусловно, его корни, как писателя, следует искать среди обэриутов и Велимира Хлебникова. Хлебников первым заговорил на поэтичном, но непонятном непосвящённым языке: «Бобэоби пелись губы, / Вээоми пелись взоры, / Пиээо пелись брови, / Лиэээй – пелся облик, / Гзи-гзи-гзэо пелась цепь. / Так на холсте каких-то соответствий / Вне протяжения жило Лицо». Вилли Мельников, несомненно, наследник по прямой «председателя земного шара».

Далеко не всякая новорождевочка
вырастает заглядевушкой,
становится головокруженщиной,
доживает до неувядамы
и достигает мудрости улыбабушки!..

Когда Вилли Мельников, грохочущий чужеземной дикцией, начинал читать стихи, написанные на исчезнувших языках, словно бы воскресали страницы древних скандинавских эпосов. Наверное, Велимиру такое и не снилось. Было достаточно много случаев по всему миру, когда после удара молнией или другого стресса, связанного с опасностью для жизни, люди начинали говорить на неизвестных им ранее языках. Но чтобы человек заговорил сразу на сотне языков – такого точно не было. Я достаточно скептично отношусь к знанию диалектов английского или немецкого языков. Но что касается воскрешения ушедших от нас языков, это действительно впечатляет. Представляете, народ уже давно вымер, а его образная речь носится где-то в космосе и транслируется эзотерическими каналами связи! Это как свет далёкой звезды, которая давно погасла. Звезды уже нет, а её свет дошёл до нас только сейчас, через миллионы световых лет.

Чтобы пробраться к себе настоящему,
мне пришлось
срезать острия пиков ещё не родившихся гор
и сделать из них отвар целебный, чтобы
напоить так и не созревшие глубины,
дабы излечить эти глубины
от возможности захлебнуться
в самих себе.
Чтобы пробраться к себе настоящему,
мне пришлось
приручить глубоководных птиц, которые
настолько излетали собственные крылья,
что обменяли их на плавники,
воспринимая занебесное безвоздушье
как глубину давным-давно высохшего озера.
Чтобы пробраться к себе настоящему, мне пришлось
изрезать берега убийственно прямого канала
и доказать ему, что он
может быть одной из артерий моего тела,
а он стал одной из вен
моего разума.

Прозу, тяготеющую к поэзии, поэт-полиглот называл «проэзия». В 2022 году Вилли Мельникову исполнилось бы 60 лет. Помним и любим. Хочется, чтобы молодые авторы продолжали это редкое направление в авангардной русской поэзии.

«ВРЕМЯ ЧИСТЫХ»

(В братстве зажжённой искры. Альманах. Выпуск 8. Сост. И. Горич. – М., Водолей, 2022. – 284 с.)

При огромном многообразии выходящих ежегодно поэтических антологий «Братство зажжённой искры» стоит, пожалуй, особняком. Хотя бы потому, что это издание не является корпоративным и отличается некоторой «первобытностью». Здесь можно увидеть под одной обложкой таких разных поэтов, как Евгений Витковский, Дмитрий Артис, Александр Воловик, Саша Ирбе, Бахыт Кенжеев, Андрей Коровин, Лада Пузыревская, Илья Будницкий, Ярослав Пичугин, Амирам Григоров, Тейт Эш. А объединяет этих и других авторов – любовь к их творчеству составителя антологии Игоря Горича (Чернова). Горич, известный шахматист и стихотворец, издаёт эту антологию за свой счёт. Это его посильный вклад в нашу культуру. В одном из своих стихотворений он говорит о «времени чистых». Так вот, его авторский альманах и представляется мне развёрнутым на бумажных страницах «временем чистых».

Помимо просветительских задач и популяризации творчества участников, в альманахе неизменно присутствует мемориальная страничка. Из ушедших поэтов, представленных в новом издании, многих я знал лично – Евгения Витковского, Вячеслава Михайлина, Алексея Ефимова и, конечно же, Вилли Мельникова, с которым постоянно пересекался на различных московских мероприятиях. В этом году Вилли исполнилось бы 60 лет. Публикаций о нём очень мало: его «квантовая лингвистика» трудна для восприятия и не всякому рецензенту-аналитику «по зубам». А в «Братстве искры» о нём, с подачи Елены Коро – обширный, с любовью написанный материал: Дмитрий Макаров рассказывает о нескольких приездах Вилли Мельникова в родной город Сергея Есенина – Рязань. Вот что говорит о нём Макаров: «Все, кто с ним общался, сразу же ощущали его открытость, и не сказать – наивность, но какую-то беззащитность, что ли. Никакой звёздности, и какая-то простота в общении и обхождении. Уверенность, но простота. О нём абсолютно честно можно сказать – уникальный, незазвездившийся феномен». Ценное мнение!

Важно, что авторы «Братства искры» охотно вовлекаются в мемориальную деятельность альманаха. Издание полезно бывает просмотреть от корки до корки, хотя бы бегло. Стоит ограничиться друзьями и знакомыми – непременно пропустишь что-то важное. Благодаря «Братству» я познакомился с творчеством Юрия Грунина, включённого Евгением Евтушенко в «Строфы века». Я был, можно сказать, шокирован биографией поэта и качеством его стихов. Даже если бы в «Братстве искры» больше ничего не было, кроме очерка Владимира Мощенко о Грунине, полагаю, издание себя бы оправдало. Мне доводилось бывать в Джезказгане, где провёл большую часть своей жизни Юрий Грунин. Это дыра, откуда сложно бывает выбраться. Поэт отбывал там наказание за немецкий плен, да так и остался в Казахстане до конца своих дней. Трудно поверить, но великий и ужасный Дмитрий Быков лично навестил Грунина в этом богом забытом городе. Позже он написал о жизни поэта очерк «Непрощённый». Фрагменты из поэмы Юрия Грунина «Фантасмагория бытия» представлены в «Братстве зажжённой искры»:

…Вы меня поймите, не осмейте,
я юрок-вьюрок из дальних мест –
верещу о жизни, не о смерти,
лишь в себе самом несу свой крест.
Не погиб меж Сциллой и Харибдой,
столько повидав смертей одних!
Не поник меж Правдою и Кривдой, –
уцелел, чтобы страдать от них.

Ах, война и плен, мой ад кромешный.
В море – тишь. Но где же в мире тишь?..
Жизнь моя – крест четырёхконечный,
мне судьбой навязанный фетиш.

Поэма большая, она требует внимательного чтения. Строк такой силы и убедительности о плене и ГУЛАГе в русской поэзии немного. Автор после трёх лет немецких лагерей десять провёл в сталинских (Соликамск, Джезказган). Свои строки Юрий запоминал наизусть, потому что писать было не на чем, да и могли отобрать рукопись. Поэзия тоже была компроматом. Такие наши корифеи, как Межиров, Твардовский, Сельвинский высоко оценили мастерство поэта, но помочь ему с публикациями никто

из них не сумел. Только Евгению Евтушенко удалось опубликовать одно стихотворение в «Строфах века». Дмитрий Быков пишет: «Его место – пусть не рядом с богами вроде Маяковского или Мандельштама, но с титанами – Слуцким, Твардовским, Окуджавой, Самойловым». А вот ещё одно лирическое стихотворение Грунина:

Я шёл на войне сквозь кусты
чужими глухими местами,
чтоб к счастью разведать мосты.
А счастье лежит за мостами.

Копал я породы пласты,
чертил я листы за листами,
чтоб к счастью построить мосты.
А счастье лежит за мостами.

Но слева и справа, пусты,
застыли погосты с крестами,
и взорваны кем-то мосты.
А счастье лежит за мостами.

И я не твержу про мечты
потрескавшимися устами –
в душе сожжены все мосты.
Да было ли что за мостами?

Быков, по аналогии с французской литературой 19-го века, записывает Грунина в «проклятые» поэты. И это сущая правда: его творчество нам ещё только предстоит для себя открыть. Вернёмся, однако, к нашему альманаху. Важным представляется мне то, что даже очень известные поэты представлены в сборнике одним-двумя стихотворениями, не больше. Это укрупняет оптику их творчества и улучшает качество альманаха.

К недостаткам «Братства зажжённой искры» я бы отнёс отсутствие электронной версии альманаха. В результате некоторые тексты приходится набирать для комментирования вручную. У меня сложилось впечатление, что весь альманах – не только материалы об ушедших поэтах – пронизан нотой грусти. Время такое сейчас – пасмурное. Но на бумаге оно, как мне кажется, успешно конвертируется в творчество, во «время чистых». И стихотворение Бахыта Кенжеева, представленное в альманахе, как нельзя лучше вписывается в эту эмоциональную гамму.

Не говори, что нем могильный холм,
любая жизнь закончится стихом,
любую смерть за трёшку воспоёт
кладбищенский весёлый доброхот.
А мастер эту надпись поместит
на твой цемент, а может, на гранит,
и две надломленных гвоздики на
него положит скорбная жена…

Не уверяй, что скучен путь земной, –
дай руку мне, поговори со мной,
как Аполлон Григорьев у цыган
угар страстей цветастых постигал,
солдатскую гитару допоздна
терзая в плеске хлебного вина, –
и Фет рыдал, и ничего не ждал,
и хриплый хор его сопровождал.

О если б смог когда-нибудь и я,
в трёхмерный храм украдкою пройдя,
всю утварь мира перепрятать – так,
чтоб лишь в узоре окон тайный знак

просвечивал – не пеной, не волной,
паучьей сетью, бабочкой ночной,
и всякий век, куда бы он ни вёл,
заклятием и: заговором цвёл!

То сердце барахлит, то возле рта
морщина, будто жирная: черта
под уравненьем – только давний звук,
бескровным рокотом взрываясь из-под рук,
снует, как стон, в просторе мировом…
Ворочаться и слышать перед сном:
очнись – засни – прости за всё – терпи,
струной в тумане, голосом в степи…

«ШКАФ»

ВЛАДИСЛАВ КИТИК

ВЫЙТИ ЗА ГРАНИЦЫ ЯЗЫКА

(Янковская Т.В. Границы языка. Статьи, очерки, рецензии, интервью – СПб.: Алетейя, 2022. – 282 с.: ил.)

Книга Татьяны Янковской, представляющая сборник статей под общим названием «Границы языка», развернута как панорама лингвистических проблем, обострённых необходимостью защищать родной язык от деградации.

Энергетическим ядром данного исследования можно считать статьи «О языке». Вариации этой темы проходят лейтмотивом через все очерки, интервью, репортажи, рецензии, собранные под одной обложкой, образуя цикл, объединённый их актуальностью и стремлением расширить границы языка, чтобы вернуть его в полноценное русло. Исследование, обращённое, казалось бы, к филологам и людям, связавшим своё творчество со словесностью, в одинаковой степени адресовано каждому человеку, не чуждающемуся культуры русского языка.

Указания на причины регрессивной трансформации языковых процессов в сочетании с прогнозированием их последствий выводит тему «О языке» за пределы монографии. Татьяна Янковская считает, что язык определяет «границу понимания людьми друг друга». Поэтому сохранение словарной точности каждого слова является залогом взаимопонимания в общении. Отсюда же и родительское желание, как ребёнка от дурного влияния улицы, оберегать язык от фривольных чужеземных заимствований, от хакерского жаргона, от лингвистического эпатажа, упрощающего художественную словесность. Снижение роли языка как способа мышления и взаимное непонимание поколений размывает критерии нравственности, отрывает от культурных традиций. Таким образом, вопрос о языке равносилен беспокойству о перспективах общества.

В качестве меры противодействия распаду Татьяна Янковская выводит заботу о языке из круга интересов отдельных граждан и предлагает придать ей государственный статус. По крайней мере, обязать хотя бы чиновников и дикторов официального телевидения разговаривать образцово.

Критический взгляд усиливается в главке «Культура шока и скандала». Там говорится об использовании всех методов вплоть до брутальности, чтобы только привлечь внимание потребителей к рекламе. Для стимуляции интереса к товару или социальному явлению нередко обращение к низменным инстинктам, разным видам насилия, наркомании, сексуальным и психическим извращениям.

И всё же более глубоко на сознание воздействует мера, обозначенная автором как «дегуманизация искусства». Проявляясь на всех уровнях, она заразила и детскую литературу, проникла в песенки, считалки, стала типичной ошибкой воспитания. Новая эстетика отвергает привычные понятия духовности и морали, выводит за границы добра и зла. Противоядием может служить перестройка громоздкой и малоэффективной системы преподавания словесности в школах. В частности, указывается на необходимость сочетать язык с языковым воспитанием, процесс чтения – с грамматикой. Иначе недолго до абсурда, когда «ёжик» на письме превращается в «йожика».

В главке «Искусство в потребительском обществе» автор затрагивает проблему функциональности литературы, зачастую превращающую произведение в коммерческую агитку. Метастазы явления настолько ветвисты, что впору поставить вопрос, не исчерпала ли русская литература свой потенциал (главка «О культе формата»)? Потому что нормы конъюнктуры, отражая вкусы и установки спонсоров, жёстко ограничивают авторов. По приведённым здесь словам Борхеса, это приводит к тому, что в оценке писательского творчества критерием становится не впечатление от «силы

авторских убеждений и чувств», а степень их подчинённости «общепринятому этикету».

Следуя только этой линии, сборник «Границы языка» мог бы превратиться в критическое назидание. Но он уравновешен примерами литературы, которая знает образцы, достойные внимания, чтения и проникновения. Отсюда серия исследовательских заметок о корифеях творчества. Среди них воспоминания Татьяны о встречах с актёром Вениамином Смеховым, красноречиво озаглавленные «Категория восторга», и репортаж с фестиваля, посвящённого композитору Шостаковичу, на котором присутствовали его сын Максим и поэт Евгений Евтушенко. На фоне биографических фактов Татьяна Янковская подчёркивает значение органичного сплава музыки и слова. Потому что погружение в музыку делает человека свободным. Вот только правящие круги не могут мириться с тем, что человек живёт этой свободой. Здесь рассмотрение факта не обходится без иронии, приводя к выводу, что каждый хочет правды, но лучше пусть бы её сказал другой. Таковым, на примере Евтушенко, оказывается тот, кто готов за неё пострадать!

Вообще Татьяну Янковскую интересуют личности неординарные, не укладывающиеся в стереотип. Именно такие «нарушители» самобытны в творчестве. Сопоставить их можно только с учётом таких феноменов, как, например, высочайшая, буквально камертонная чуткость к нюансам своего времени, звучащая в песнях Высоцкого и американского исполнителя Тома Уэйтса. И, конечно, – чистоты языка как базового материала творчества. Особенно литературного, неотъемлемого от языка в целом. Эта идея продолжается в зарисовках из книги «Уроки эмиграции». Заявленная тема раскрывается в рецензиях на стихи современных поэтов, близких автору книги по духу.

Несколькими мощными штрихами обозначены «Стихи и стихии Веры Зубаревой». Перелистывая её сборник «Гавань», Янковская приглашает в лабораторию создания стиха, к разговору «о творчестве и о познании мира через творчество». Проистекая из глубин подсознания, оно свободно от «швов формальных приёмов». Образная система Зубаревой представляет собой органичное переплетение классических традиций, на которые обратила внимание ещё Белла Ахмадулина, и современных тенденций. Зубарева работает в той знаковой системе, когда повествование проявляется через образы, логические связи замещаются эмоциональным рисунком и подкрепляются ассоциациями. Такой сложный узор составляет эстетику её поэтической действительности. Конечно, знание русского языка здесь непреложно!

Так же интересны и читателю, и исследователю стихи Елены Литинской, вошедшие в автобиографическую повесть и дополняющие её эмоциональными оттенками (главка «Любовь с препятствиями»). Ирония, проскальзывающая в них, – отрезвляет. Лирика – поднимает над циничностью жизни.

Добрые слова адресуются барду Кате Яровой (главка «Не поставив последнюю точку»). Строка из её стихов: «Ведь любовь не кончается, просто кончается жизнь», – взята в качестве эпиграфа к статье о книге Литинской. Это практически афоризм, в котором спрессовано поэтическое кредо. Янковская словно восполняет недооценённость таланта Яровой при её жизни и пишет посвящение последней её песне. Видя каждую деталь существенной, автор прослеживает, как символически «пять слов, шаг за шагом, описывают путь духовного роста, внутреннего очищения, освобождения от всего земного». И это достигается средствами языка, аллитерацией в первых двух строках, состоящей «в пятикратном повторении звуков *б* и *л*, вторая – в игре с корнями… Постепенное усложнение грамматических конструкций отражает развитие смыслового ряда: в цепочке *была – обличье – облик – оболочка – облако».* И в этом «заключён переход от бренного и суетного к вечному».

Так в книге «Границы языка» показано, что литература и, в частности, поэзия, искусно пользуясь им, выводит его за границы утилитарности. Нам же важно не только тютчевское «как слово наше отзовётся». Но и как отзовётся на него каждый из нас. Неизвестно, что спасёт мир, но как способ преображения сознания языковая культура бесспорно способна продлить его полнокровную жизнь.

АЛЕКСАНДР РУДНЕВ

«ПРЕВРАТИТЬ СВОЮ ПЛАНЕТУ ВАРВАРОВ В ПЛАНЕТУ БОГОВ»

(Григор Апоян. «Благовест от тебя. Твои вопросы, твои ответы» – М., ЗАО «Мануфактура», 2020 – 218 с.)

Не совсем обычная книга Григора Апояна под названием «Благовест, от тебя. Твои вопросы, твои ответы» представляет собой особый эссеистический жанр, который кто-то может принимать, а кто-то и нет. В определённой, созерцательной мере эта книга в нашем восприятии в «обратной перспективе» связана, например, с известными «Кругом чтения» и «Мыслями мудрых людей на каждый день» Л.Н. Толстого, разумеется, в современной огласовке, применительно к проблемам

современной жизни и современного человеческого сознания. В то же время мысли и идеи, высказанные в этой книге, которая сейчас перед нами, актуальны для всех времён. И читать нам было её небезынтересно.

Здесь представлено в определённой мере – неоницшеанство. Причём от Ницше здесь как трагичность темы – несовершенство человека и человечества, так и напоминающий Библию пророческий тон (что видно и в названии), и поэтичность и даже некоторая местами музыкальность избранных фраз. Книга отмечена явной печатью индивидуализма, заставляющей наряду с Толстым вспомнить и В.В. Розанова с его «коробами» «Опавших листьев», а также – отчасти и более отдалённо – дневниковые записи М.М. Пришвина.

На первой же странице книги читаем: «Более всего ты любишь бегать наперегонки и чаще всего потому, что не знаешь сам, не имеешь понятия, в каком направлении следует бежать. Жалкое зрелище!.. Бегущий всегда кричащий, бег его – это крик его. Бег – неуверенность. Любой гон – неуверенность. Пусть это даже поднятие тяжестей. Попытка преодоления комплексов. Безнадёжная попытка. За вершиной – вершина. Только одна – монопольно, исключительно твоя, неведомая, недосягаемая для других. Но и тебе не поддаётся, неподвластна. Путь твой тернист. Она не вовне. Это даже не Бог. Точнее: это Бог, который ты и есть, должен быть, стать. Формы несущественны.

У тебя нет иных врагов, кроме самого себя». (с. 7)

И далее там же: «Бог – это всегда только то, что внутри».

Мы видим и чувствуем, что тут звучит камертон провиденциальной тревоги, что это своеобразная, резко индивидуальная философская попытка посмотреть на мир, на человека «со своей стороны», осознать, осмыслить на основе своего жизненного опыта суть проживания в видимом, физическом мире.

Проповедническое, исповедальное начало, которое насквозь пронизывает эту книгу, представлено всё же не в чисто литературном, а в сугубо индивидуально-умственном и личностном аспекте. Потому литературные влияния и реминисценции здесь почти не проявляются. Однако мысли и суждения Апояна всё же связаны во многом именно с Толстым, как нам представляется, пожалуй, в первую очередь в сфере утверждении идеи Бога в нас самих как некой нравственной, моральной субстанции – вне какой бы то ни было традиционной религии или церковной обрядности. Одним словом, с тем, что Толстой называл – «Царство божие внутри вас».

Апоян со своей стороны полагает, что и такие категории, как *свобода* и *независимость*, тоже вызревают внутри нас.

Поэтому автор настойчиво, на самые разные лады утверждает тезис о том, что настоящая вера – это не вера в Бога, а вера в себя – единственная вера, которая не предполагает альтернативы. Он пишет: «Выразить веру – всегда означает выразить озабоченность, сомнение. Ведь верить можно только в то, что далеко не бесспорно; то, что не может быть подвергнуто сомнению, не может быть и предметом веры – это голый факт, не нуждающийся в молитвах о нём. Мы не верим в воздух – мы дышим им, мы не верим в хлеб – мы едим его. Но мы должны верить в Бога, потому что можно и не верить.

Вера в себя – единственная вера, которая не предполагает альтернативы, не знает, не может иметь сомнений. *Верь в себя!*

Ведь большинство людей веруют не потому, что понимают или чувствуют, а потому только, что нужна им сама вера. Но есть ли у них бо́льшая потребность, чем вера в самих себя!

Религия – это и готовность принять наказание, даже жажда его. Но это религия цивилизованного человека, постигшего своё несовершенство, порочность» (с.161).

Как видим, у автора есть довольно чёткое и строгое «требование» к истинным последователям религии – это «готовность принять наказание, даже жажда его». Очевидно, что это требование актуально не только по отношению к христианству, но и к буддизму, к исламу, иудаизму – любой искренней вере.

Говоря о разных аспектах религиозного мировоззрения, Апоян во многом отходит от традиционных представлений в этой сфере, поэтому образ Христа под его пером выглядит далеко не таким, каким мы привыкли представлять себе Его – с точки зрения ортодоксально верующих людей, возможно, его образ подан даже на грани кощунства. В этом, как нам кажется, проявляется и абсолютно определённый атеизм Г. Апояна. Однако он стремится найти и выразить своё видение давно всем известных, даже тривиальных истин – иногда это получается весьма убедительно и интересно.

Идее о *Боге внутри нас*, о том, что мы все являем в себе Бога, оказываются подчинены все тезисы, положения и размышления автора, которые, очевидно, представляют собой его жизненную позицию и жизненную философию. Нельзя при этом не отметить, что в этом можно разглядеть немало софистики довольно «линейного» свойства, которая делает эту книгу местами несколько монотонной. Тому же способствуют и многочисленные повторения, когда автор настаивает на понимании читателем какого-либо его утверждения.

Наряду с этим у Г. Апояна есть и очень здравые и резонные суждения – о богатстве и бедности, о деньгах, о любви (прежде всего, плотской, иными словами о сексе, как он сам это и называет), о красоте, которая вопреки распространённому мнению одного из героев Ф. Достоевского всё же

не всегда спасает мир, о гармонии и дисгармонии в нашем грешном мире, о сострадании, гуманности, о смерти, о пороке и преступлении – о всех тех извечных жизненно-философских категориях, которые волнуют человека, можно сказать, со времени сотворения мира и будут волновать его всегда вне зависимости от технологических и прочих достижений.

Отголоском гуманистической мысли, рождённой в древней Армении, воспринимаются читателем проникновенные слова: «Мудрость – это только умение, способность понимать чужую боль, даже если это кусок кирпича. Умом постигнутая боль. Она приходит только к чистым душой» (с. 212).

В том, что написано Апояном, есть что-то определённо такое, что заставляет нас задуматься о том, кто мы такие и зачем живём на этом свете – это, как сказал однажды А.П. Чехов по поводу разного рода морализаторских суждений Л.Н. Толстого, своего рода особая «манера выражаться», определённая стилистика всех этих многоликих суждений, которые, впрочем, надо признать, бывают и очень убедительными и диалектичными. В этом, пожалуй, и заключена «изюминка» книги, о которой мы взялись написать несколько слов.

В кратком послесловии к книге сказано следующее: «Философ ввёл понятие „вещи в себе“; я говорю: „ты – вещь во всём и надо всем“. Но только не в смысле подавления, а в смысле слияния, гармонии. Эту благую весть, которую ты сам всегда знал, но хотел отгородиться от неё пустыми делами, попытался извлечь из глубин твоей души Григор Апоян, мыслитель, который торгует колбасками на углу» (с. 218).

Во многом, как мы уже сказали, это получилось убедительно и любопытно, и иронично, а в чём-то тавтологично и теоретично – но таков, ничего не поделаешь, авторский способ подачи материала, создающий несколько противоречивое ощущение у «свежего» читателя, на непредвзятый свободный взгляд.

ВАЛЕРИЙ БАЙДИН

ЛИТЕРАТУРА КРИЗИСА

мнение

Мир вступает в состояние хаоса – в политике, экономике, медицине, образовании, повседневной жизни и художественном творчестве.

Хаос парадоксален. Он отменяет все правила, каноны и законы, сжигает смыслы и ценности. Хаос – это разрыв в развитии, период потерь и обретений. Он опустошает сознание художника перед тем, как наполнить новыми смыслами. В нём таятся безумие и озарение, соединяются слепота и прозрение, глухота и внутренний голос. Чтобы противостоять его натиску, требуется самоотречение. Открытию предшествуют творческое молчание и предельная сосредоточенность. В хаосе обнажаются древнейшие основы жизни, всплывают культурные архетипы. Истинный художник способен к их постижению. Он вдохновляет, воодушевляет, открывает в обществе «второе дыхание». Он обладает острой реакцией на неопределённость и раньше других видит будущее.

В эпоху кризиса писатель должен вспомнить о своём высоком призвании: словом исцелять, соболезновать больным, врачевать врачей. Современная культура заражена всеми болезнями общества, превратилась в источник порока и насилия. Словно в ответ вокруг вспыхивает злоба, жизнь захлёстывает жестокость, медицина становится карательной, журналистика лживой, власть бесчеловечной. Общество задыхается.

Почему современная русская литература всё больше вызывает отчуждение? Может быть, потому что её давно подмял под себя рынок? Читателя завалили книгами-пустышками, книгами-издёвками, книгами-убийцами. Литературный процесс последних десятилетий определяет изначально вторичный псевдоавангард. Борясь против наследия «совка», он предлагал лишь симулякры новизны, менял самоназвания с помощью приставок «пост-», «транс-», «пара-», «мета-», паразитировал на открытиях классического модерна и повторял идеологемы западной посткультуры. Иосиф Бродский в 1990-х годах заметил: «авангард – термин рыночный». Не без влияния рынка литература превратилась постмодернистское кладбище смыслов, красоты, человечности.

Как вернуть её художественность? В наши дни написать и издать за свой счёт «авторскую книгу» может любая посредственность, любой графоман может выложить свои тексты в интернет. Нет никакого смысла бороться с этим кризисом перепроизводства. Следует создавать «литературу высоких достижений», подобно тому, как в массовом спорте находят будущих чемпионов. Рынок стремится к прибыли, делает ставки на известные «имена», молодые авторы, особенно из провинции, с трудом пробиваются к читателю. Издательства и журналы могли бы теснее сотрудничать с литературны-

ми кружками и студиями, публиковать авторов по их рекомендациям. Среда талантливых мастеров – национальное достояние литературы – в ещё большей мере создаётся усилиями независимой критики. Литературный процесс неуправляем с помощью денежных премий, которые давно стоило бы заменить безденежными конкурсами. «Большая книга» и великая книга – несопоставимые явления. Может быть, лучше отказаться от материального стимулирования «раскрученных» писателей и направить эти средства руководителям лучших литературных студий?

В добрые старые дореволюционные времена роль просвещённых меценатов играли общественные организации и даже государство. Стоило бы возродить Литературный фонд взаимопомощи литераторов, созданный критиками, писателями и журналистами в 1859 году, вернуть к жизни государственные издательства, наделённые штатом профессиональных редакторов и корректоров.

Литературный процесс требует преодоления болезни «непризнанных гениев» – ревнивой разобщённости, вражды всех против всех, усиленной рыночным соперничеством. «Литература одиночек» ведёт к худосочию. Выдающиеся результаты приносит творческая синергия, та, что возникала в литературно-художественных объединениях Золотого и Серебряного веков. Их деятельности была присуща уважительная интеллигентность. Слово «интеллигент» (от латинского *intellego* со значением «понимать») отличается по смыслу от европейского *интеллектуал* («многознающий, критически мыслящий человек»). Интеллигент способен оценить талант художника, даже чуждого по духу.

В наши дни убедить человека купить и прочесть книгу стало головоломной задачей. Её не решить без возрождения семейной культуры, воссоздания действенной системы всеобщего образования и разумной культурной политики. Рядового читателя легко обмануть дешёвкой, интеллектуала можно утопить в грязевых потоках постлитературы и навсегда отвадить от чтения тех любителей острых ощущений, кто ринется за ними в бездны интернета. Результаты длительного зарабатывания на дурновкусии очевидны. Пустеют книжные ярмарки, магазины и библиотеки, исчезают литературные журналы, падают до уровня самиздата тиражи нераспроданных и непрочитанных книг. Всё это свидетельствуют не о пресыщенности читателей, а о духовном голоде. Народ безмолвствует. Ждёт встречи с Мастером.

От внутреннего выбора художника зависит будет ли он творить свободно или талантом лишь зарабатывать на жизнь, пребывать в Большом времени или в исчезающей повседневности. Знаменитые слова Пушкина «не продаётся вдохновенье, но можно рукопись продать» – закон творческой свободы. Продавать дар, значит предавать себя. Александр Чижевский, учёный и поэт, чьи лучшие стихотворения были написаны в Гулаге, выразил этот закон в чеканном афоризме: «Великое равняется свободе». Кризис художественности связан с кризисом сознания, мировоззрения и жизненных ценностей. Лишь преодолев рыночное проклятье, русская литература сможет вернуть себе высокое достоинство, глубину и человечность.